Новый Журнал

135

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать восьмой год издания

Кн. 135 НЬЮ ЙОРК 1979

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. MARCH 1979

Quarterly No. 135
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price $24 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Вейдле — Вдвоем друг без друга 5
А. Величковский — Стихи 30
М. Моргулис — Благослови, Господи, раба Даниила 31
К. Пестрово — Стихи 43
Е. Любин — Гоша 44
Т. Филановская Стихи 54
Н. Натова — Проблема свободного выбора у Достоевского 55
В. Вейдле — Стихи 86
В. Перелешин — Стихи 87
Р. Гуль — Я унес Россию 88
Л. Владимирова — Стихи 98

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Переписка М. Чехова и Ю. Елагина 99
Ю. Кротков — Роковой шаг 115
О. Толстая — Дождь и солнце 135

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

М. Бернштам — Упадок ремесла историка в новейшей западной историографии СССР 156
И. Яхот — Оправдание зла 185
В. Розанов — Революционная Обломовка 204

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: *Протоп. А. Князев* — И.В. Морозов ... 213

БИБЛИОГРАФИЯ: *Ю. Иваск.* А. Ремизов. Кукха. *В. Перелешин.* А. Величковский. С бору по сосенке. *С. Крыжицкий.* С. Войцеховский. Эпизоды. *Е. Климов.* Тибетские и амурские сказки. *В. Завалишин.* З. Шаховская. Рассказы, статьи, стихи. *В. Завалишин.* К. Вагинов. Козлиная песнь 221

Книги для отзыва. Указатель содержания "Нового Журнала" с 114-й до 135-й книги.

Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave, Clifton, N.J. 07011

ВДВОЕМ ДРУГ БЕЗ ДРУГА

РОМАН В ПЯТИ ЧАСТЯХ

Известный историк права, символики его и символизирующего мышления вообще, Андрей Алексеевич Градовский, в 1924 году уехал из России, прожил несколько лет в Париже, а затем профессорствовал в Соединенных Штатах, — сперва в Колумбийском университете, потом занял кафедру в Принстоне. Оттуда, незадолго до его кончины, я и получил печатаемую нынче рукопись. Предоставляя мне право, если я сочту это желательным, посмертно ее опубликовать, он писал:

"В таком случае, назови эту историю двух жизней, и еще трех, романом. Так нам будет спокойней, некогда живым. Я разделил все написанное, как и только переписанное мною, на пять больших глав или частей. Заглавие книги прямее относится к первым трем частям, но не теряет смысла и для последних. Радуюсь, что все мы тут вместе, неразлучно: две старших, третья помоложе, двое совсем молодых и другие еще, из тех, кто мне были близки и дороги на свете. Где же всем нам пребывать, когда не будет и меня? Верую: вне места и времени, у Бога. Ну, а здесь, на земле, как и зря и не зря говорят, "в памяти читателя", — пусть в одной, покуда ты жив, твоей".

Copyright by the author.
Copyright by The New Review, New York, 1979.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Взамен смерти

I

Сегодня 21-е августа, и год у нас 76-й. Прошло с того петербургского 21-го августа 1918 г. почти полвека. Никогда я этого дня не забывал, но вспоминается он мне теперь и чаще и ярче, чем даже всего два-три года назад, — то ли потому, что я бездетен, вдов, одинок, то ли (это верней, ведь один я давно), что я сам приближаюсь к смерти. Думая о дне, когда так она была близка, я думаю о ней; но вместе с тем о чем, ожидая ее, мне и вспоминать, как не о самом живом дне всей моей жизни? И твоей, неправда ли, Верочка? Нет тебя, давно тебя нет. Но ты навсегда со мною.

Мы все родились в Петербурге, в том же году — 1894 — я, жена моя Люба и двойняжка-сестра ее Верочка. Познакомился я с их семейством, когда Верочка уже два года была женой Николая Николаевича Нератова, лицейского одноклассника и друга ее брата Сергея. За два года моего ухаживанья и жениховства, совпавших с первыми двумя годами войны, видел я ее довольно редко. Она даже не присутствовала на моей свадьбе весной 16-го года: как раз в это время рожала сына своего Котика.

Сестры были очень похожи друг на друга. До пяти лет, как мне рассказывала жена, никто, кроме матери, не мог их различить иначе, как по ленточке в волосах — голубой у Любы, розовой у Верочки. Когда подросли, сходство осталось, но уже к путанице привести не могло. Верочка была чуть ниже ростом, немножко тоньше и чуточку смуглее Любы. Черты лица ее были правильней и обрисовывались четче. Обе были привлекательны, изящны, женственны, но игривой и волнующей женскости было в Любе намного больше. Пленяли меня — и не одного меня — ее густые, шелковистые, темно-каштановые волосы в соотношении с темно-синими глазами. Верочкины волосы, того же цвета, были менее шелковы, менее волнисты. Совсем необыкновенными зато были ее глаза: большие, с длинными ресницами, весьма трудно определимого цвета: гелиотроп с резедой, причем резеда могла

исчезать, а гелиотроп становиться совсем черно-фиолетовым.

Характеры двойняжек были очень разные. У Любы — переменчивый, экспансивный, своевольный, но и сговорчивый. У Веры — твердый, настойчивый, замкнутый и упрямый. После нашей женитьбы, Люба мне рассказывала, что Верочка в детстве бывала временами очень злой. Когда они рядом сидели на парте в гимназии кн. Оболенской, случалось, что Верочка, чуть что-нибудь не по ней, пребольно колола сестру стальным пером между лопаток, а с подругами по классу, чем-либо не угодившими ей, переставала здороваться и разговаривать, невозмутимо делая вид, что она их вовсе не замечает. Четырнадцати лет влюбилась в упомянутого уже товарища своего брата, часто бывавшего в их доме. С тех пор, кроме Коли, не существовало для нее никого и ничего. Перед его приходом, она каждый раз натирала себе для красы щеки головною щеткой, а то и платяной и, вероятно, убила бы Любу, если б та вознамерилась стать ее соперницей. Все сделала, чтоб его на себе женить; обручилась в шестнадцать лет, обвенчалась в восемнадцать. Верна была мужу, по любиным словам, абсолютно. "Ни малейшего флёрта. Не кокетничала решительно ни с кем. Наряжалась, прихорашивалась только для него". Николай Николаевич был высок и строен; лицом, на мой вкус, даже и чересчур пригож; неизменно имел успех у женщин, и ненасытное к ним питал влечение. Разве лишь в первый год брака остепенился, а затем изменял жене постоянно, на что Верочка никогда не жаловалась, но что было ей хорошо известно и, по словам Любы, сильно ее мучило.

Отец их и Сережи, Иосиф Казимирович Комовский, член Государственного Совета, бывший товарищ министра юстиции, умер за месяц до февральского мятежа. Сын его, уже в мае, уехал за границу, а его вдова, Софья Игнатьевна, вместе с Верочкой и ее мужем, продолжала жить и после "октября" в их просторной квартире, на Сергиевской, которую я хорошо знал — особенно ту уютную лиловую гостиную, где я постоянно любезничал или ссорился с Любой до того, как стала она моей женой. Часто бывал я там и позже: вся эта семья — польская, в сущности, но где никто не говорил по-польски и все были православные, кроме отца, — очень мне нравилась, особенно Любина мать, а также и другая Софья, кухарка, рослая, полная,

рано овдовевшая и давно у них служившая женщина, которая мне благоволила и приготовляла для меня самые любимые мои блюда. Поселился я с Любой в доме моих родителей на Каменноостровском. В конце 17-го и в 18-м году ездили мы с ней на Сергиевскую довольно часто, но с Верочкой и ее мужем близости у меня не получилось. Ее я находил и прелестной и милой, а к ее мужу — неизвестно почему — приязни не питал.

Летом 18-го года мы никуда из Петербурга не уезжали, боясь лишиться собственных квартир. Но в июне я (хоть и был оставлен при университете лишь за три года до того) получил кафедру во вновь основанном Саратовском. В начале августа туда уехала Люба, чтобы заняться нашим будущим жильем. К концу месяца и я должен был последовать за ней. Накануне отъезда, 21-го, я завтракал на Сергиевской, а после завтрака Верочка решила поехать со мной на Каменноостровский, чтобы распорядиться насчет некоторых Любиных вещей, ознакомиться с квартирой, где она еще ни разу не была, и заодно отвезти к нам пакет каких-то бумаг, которые, по ее мнению, лучше было хранить на нашей, чем на их квартире. Можно было поехать туда на трамвае, но тогда пришлось бы довольно объемистый пакет тащить на Литейный, и мы предпочли нанять извозчика, тем более что день был прекрасный — жаркий, но не душный — и Верочке захотелось прокатиться, воздухом подышать, повидать Неву.

Была Верочка в тот день веселей и задорней, чем обычно. Темно-розовое платье, все на пуговках спереди и в продольных узких складочках, было ей удивительно к лицу. Сидя с ней рядом в пролетке, я любовался им, а также тупоносыми ее башмачками, думая, что ноги ее, вероятно, похожи на ее руки, с пальцами вполне достаточной длины, но не узкие, а квадратненькие какие-то, что в своем роде было очень хорошо.

— Вы кажется меня оглядываете не без одобренья, — сказала она, когда мы выехали на Литейный. — Чрезвычайно польщена. Не знаю уж чему и приписать такое внимание. Хорошей погоде? Или, может быть, отъезду Любы?

— Разве я когда-нибудь неодобрительно на вас смотрел?

— О нет, mon cher beau-frère. Вы на меня вовсе не смотрели.

Смотрел, любовался; но ведь в чужой огород слишком часто заглядывать не следует.

— Огород? Que vous êtes galant! Что ж я баклажан какой-то, что ли? Скажите уж лучше, что вы любуетесь георгинами только вашего собственного сада.

— Да нет же, Верочка. Я...

— Ну вот, так я и знала! Значит, я действительно для вас похожа на самый скучный в мире цветок!

Тут она рассмеялась вполне, однако, дружелюбно, коснулась ладонью моей руки и сказала:

— Не сердитесь! Кого люблю, того и бью — или дразню.

— Это вы и с бедным Колей так разговаривали, когда были его невестой?

— Нет. Злей. Но ведь за вас я во всяком случае замуж выйти не могу, так что нечего и стараться. А не глядите вы на меня просто потому, что и глядеть не на что. Та же Люба. Один махаон у вас на булавке; можно обойтись и без второго.

Тут подковы нашей лошадки зацокали по Троицкому мосту. Мы взглянули на Крепость, оглянулись на сиротливые набережные. Но говорить *об этом* нам не хотелось. Глаза наши встретились и я сказал:

— Сходства, в сущности, мало. Да и Люба вся, как на ладони, а вы спрятаны. И потом...

— Пожалуйста, очень прошу, не говорите о моих глазах. В пословицу у нас вошло. Оскомину набило. Глаза, как глаза. Глаза всегда у дурнушек хвалят.

— Ну нет. Я таких не видывал; не перестаю им удивляться. Но кроме красы и тому дивлюсь, что не прочтешь в них ничего. Если на одни глаза смотреть, нельзя понять, радостны они или грустны, дружественны или враждебны...

— Вот, вот! "Проблематические натуры". Как у Шпильгагена. Но кто ж теперь эти его романы читает?

При этом глаза ее засияли, почти что засмеялись.

— Что вы с ними делаете, Верочка. Вы прямо фокусник какой-то.

— Фокусник, верно. Только глаза тут ни при чем. Вот отгадайте-ка что в узелке, который я из дому несла, а не вы?

— Понятия не имею.

— А я имею. Котлетки, изготовленные для вас Софьей, qui a un faible pour vous, с тех пор, как вы амуры разводили с Любой в лиловой комнате. А телятину кто для них достал? Я. Разве это не фокус?

— Верочка, вы — ангел, хоть и склонны притворяться дьяволенком.

Мы давно ехали по Каменноостровскому, и номер 27 был уже недалек. Извозчик решил приблизиться к тротуару, для чего требовалось пересечь трамвайные рельсы. Но получилось прескверно. Правое заднее колесо пролетки ввернулось в рельсовый желобок и застряло там прочно. Пролетка остановилась во всю ширину рельс и оказалась под ударом настигавшего нас сзади трамвая. Извозчик зачертыхался и стал нещадно стегать лошадь кнутом. Она рвалась изо всех сил вперед, тщетно стараясь вызволить колесо из желобка. Двухвагонный трамвай приближался к нам на всем ходу. Водитель отчаянно звонил; тормоз его, по-видимому, не действовал; остановить вагон он не мог. Верочка оглянулась, зажала себе рот правой рукой, чтобы не крикнуть, а левой схватила мою правую пониже локтя, головой упала ко мне на грудь и прижалась к ней лицом. Я повернулся всем телом к Верочке, обнял ее крепко: погибать, так вдвоем. Звонок звонил, водитель таращил на нас глаза. Трамвай был в двух аршинах от кузова пролетки, когда лошадь последним усилием вырвала колесо и вынесла пролетку вперед и вправо. Трамвай пронесся мимо, лишь слегка ее задев. Пассажиры повскакали со своих мест, глазея с ужасом на нас. Извозчик снял свою черную твердую шляпу и перекрестился. Верочка прошептала что-то вроде "цел, цел, жив", схватила мою голову обеими руками и горячо поцеловала меня в губы. Так горячо, мелькнуло в моей одурманенной голове, как будто я — Коля, а не Андрей. Но в ту же секунду и я сам, с не меньшим жаром впился в ее губы и едва оторвался от них, чтобы крикнуть извозчику: "Стоп. Приехали".

Извозчик сказал: "Ну, барин, спас нас всех Господь!"

— И добрая твоя лошадка, — ответил я, суя ему в руку втрое больше бумажек, чем следовало.

У Верочки нашелся в сумке кусок сахара, который она и скормила коню на плоской ладони. Мы забрали пакеты и вошли

в подъезд. Швейцары перевелись. Вестибюль был пуст.

Верочка, с узелком в одной руке и с сумкой в другой, подняла ко мне свои широко раскрытые, словно все еще от страха, глаза и прошептала: "Цел, цел, целуй". Я нагнулся и мы поцеловались опять таким же непозволительно жарким поцелуем, да еще столь долгим, что я, сам себя не понимая, стал глазами искать чего-то похожего на кресло или диван, и помышлять о том, чего — только что еще — никак не могло прийти мне в голову. Но я все-таки справился с собой. Сказал:

— Верочка, мы не туда вошли. Я совсем одурел. Тут, на первом этаже — квартира моих родителей, где я прежде жил. Но они теперь в Финляндии. Ключа у меня от нее нет. Нам надо войти во двор.

— А вы одурели от чего?

— От страха, и от вас.

— Вот и хорошо. Так и я. Идем.

Теперь мы ехали в лифте на четвертый этаж, где была наша с Любой квартира, Верочке незнакомая. Она не отрываясь глядела то мне в глаза, то на мои губы своими сомнабулическими, как мне теперь казалось, неподвижными глазами. Да и я, как во сне, помог ей выйти из лифта, нажал кнопку, чтоб его спустить, достал ключ, отворил дверь, ввел Верочку в прихожую, взял у нее узелок, отнес его на кухню, пакет отнес в кабинет. Она стояла неподвижно в прихожей. Спросила:

— У вас тут образок где-нибудь есть?

— В спальне, над кроватью. Вот сюда.

Над двуспальной нашей с Любой кроватью была прикреплена к ее высокому верху небольшая круглая икона. Верочка взглянула:

— Пресвятой живоначальной Троицы. Очень хорошо. Теперь станем на колени. Нет, погодите. Посмотрю сперва на что похожа постель, а то вы тут один, без Любы, неизвестно как управляетесь.

Она откинула пикейное одеяло, потом шерстяное с пододеяльником на пуговицах, осмотрела простыню:

— Молодец! Все чисто и почти даже не смято. Теперь становитесь на колени и повторяйте за мной...

Она стала на колени у самой кровати и, глядя на икону, начала импровизировать:

— Отец наш небесный, Вседержитель, Творец неба и земли, и жизни на земле! Творец и Хранитель всех человеческих жизней... Ну!

Я повторил, и далее покорно, хоть и со все возраставшим изумлением вторил ее моленьям.

— Хвалу Тебе, Боже, и благодарение воссылаем за то, что восхотел Ты сохранить жизнь Веры для мужа ее Николая и сына Николая, и жизнь Андрея для жены его Любы, а также — тут она покосилась на меня — жизнь Веры для Андрея и Андрея для Веры... Дальше не знаю как сказать по-русски...

Я чуть не повторил и это...

— Et daignez bénir, Seigneur, l'oeuvre de chair qui sera accomplie en ce lieu. А если это грех, прости нам грех! Хвала Тебе и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Креститесь. Кладите земной поклон.

Все исполнив и совершенно потеряв рассудок, я тут же, не поднимаясь с колен, хотел обнять ее. Но она вскочила на ноги и весело сказала:

— Ну, теперь смотрите — хуже я Любы или нет.

С невероятной быстротой разделась, даже чулки стянула, и легла посреди постели на спину. Я бросился к ней.

— Нет! Сперва смотрите. Если я — та же Люба, для вас тем лучше. Как будто и не изменяли ей.

— Ты совсем другая, Верочка. Ты совсем, совсем...

— Говорить мне "ты" не обязательно. Мы еще на брудершафт не пили. Чем же я другая?

С величайшим трудом вспомнив, что я — по Аристотелю — живое существо, наделенное (тем не менее) разумом и словом, я начал, как с кафедры:

— Во-первых, и телом вы смуглее, солнечней. На этой белой простыне — загорелая купальщица. А затем, вся суть в пропорциях. У Любы грудь щедрее, бедра шире, плечи поцелуйней. Но у вас грудь — само совершенство, и так, как вы сейчас лежите, она образует круги, диаметр которых служит основой всех ваших измерений; прежде всего живота, который просто божество, а не живот. Пропорциональна всякая красота, но у вас

свои, особенные пропорции. Ваши ступни, кисти ваших рук...

— Профессор, да и только! Но не права, а уж не знаю чего... Пожалуй, эстетики скорее, чем эротики. Но не скрою: мне очень нравится, что я вам нравлюсь. Ну! Закрываю глаза. Раздевайтесь, и поживей! Жду!

Я повиновался, ощущая ярость желания, еще не испытанную мной; но и какой-то восторг, превыше ярости, который и вовсе был мне нов.

Когда я подошел, она, не открывая глаз, приподняла голову и протянула мне губы для поцелуя. Но я стал целовать ее всю, каждый вершок теплой, нежной, душистой ее плоти. Она только поеживалась и улыбалась, не открывая глаз. Но вдруг изменившимся голосом спросила:

Вы так и с Любой?

— Целую все милые несходства с ней.

— Ну, довольно. Обнять! Хочу! Хочу! Хочу обнять...

И в самом деле, когда слились мы воедино, она меня так крепко обняла, что на спине и пояснице я ощущал в отдельности все ее десять пальцев. Чередуя с поцелуями слова, она шептала.

— Prends-moi. Prends-moi. Вот так. Совсем. Без обмана. Совсем. Хочу! Хочу зачать. Мы живы. Мы даем жизнь. Вот так. Еще. Вот так, вот так, вот так, вот так...

Голова ее упала на подушку. Она спала. Лицо ее стало безмятежно счастливым, новым, совсем неизвестным мне лицом. Я смотрел на нее не с той любовью, какую знал и до тех пор, а с той, от которой можно разрыдаться счастливыми слезами, но и тут же, сейчас, и тоже от счастья, застрелиться, выброситься из окна.

Длинные реснички ее пошевелились. Она открыла глаза — совсем зеленые, в золотых крапинках — и со счастливой улыбкой поглядела на меня:

— Снять бы вас теперь. Похорошели. Не узнать. Даже на влюбленного стали похожи.

— Верочка, не шутите. Я вас люблю.

Поморщилась немного, но поцеловала очень нежно.

— Объяснения потом. Надо радоваться и веселиться. Мы живы. Теперь-то уж знаем, что живы. И быть может дали жизнь. Чувство это обманчиво, но, мне кажется, я зачала. А вы, что *вы*

об этом думаете?

— Пока, ничего не думаю. Верочка, я вас люблю.

— Несерьезный вы человек. А впрочем, нечего и думать о серьезном. Хоть и смотрите вы на меня так, что сердце мое из груди хочет выскочить от радости. Который час? Три с немногим. Думала, долго спала, а полчаса всего, как мы здесь. Чудно, прекрасно! Нам хорошо, у нас много времени впереди. А если б там, под трамваем, — и каша изо всех этих телес и костей? Подкрепимся теперь. У вас есть чем?

Есть печенье, яблоки. Есть херес в недопитой бутылке.

— Можно и хересу выпить, а яблоки — чудно.

— Недаром сказано: "Освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви".

— Vos citations bibliques sont parfaitement déplacées. Nous avons fait l'amour, но это не любовь. Я люблю моего мужа, а не вас. Вы — не меня, а Любу.

— Верочка, не надо. Я никого сейчас не люблю, кроме Верочки.

Сейчас! Сейчас! А я не хочу и завтра вас любить.

— Какому же Богу мы с вами молились, Верочка?

— Как? Вы не поняли? Я Христа не поминала. Богу молилась. Богу жизни, а не Богу святости. Бог создал жизнь и ее хранит; не может Он осуждать то, что мы тут с вами делали, если плутовства в этом нет, если нет того, за что осужден был Онан.

— Хоть ни подрясника на вас, ни сюртука, но вы, Верочка, настоящий богослов.

— Богословских книг не читала, их бы не поняла. Но разве Люба вам не говорила? Мы обе учились в гимназии неважно, но я всегда была первой по катехизису.

— Это вас, однако, от ереси не уберегло. Как же можно в такой мере разделять лица Пресвятой Троицы?

— А вы не разделяете? Небось стыдно бы вам было, вот сейчас, нагишом, молиться Христу или Приснодеве, Его Матери? А Богу никогда не стыдно. И сейчас мы могли бы воздать Ему хвалу за то, что нам тут вдвоем так хорошо.

— Верочка! Я вас люблю.

— Довольно мне этих верочек. Несите яблоки. Изнемогаю

— отчего бы это? От амура. Да и натяните, по крайней мере, штаны. Неудобно в таком виде с дамой разговаривать.

Я повиновался. Также и насчет штанов. Принес большое яблоко на тарелке с ножиком.

— Правильно, — сказала она, — мы с вами не Адам и Ева, чтоб зубами в него въедаться. Ишь какое большое, румяное. Дайте его сюда.

Она быстро очистила яблоко, разрезала его на восемь частей, расположила восьмушки кружком у себя на животе и сказала:

— Теперь взапуски! Я буду брать пальцами, а вы чем хотите.

Я перегнал. Ей только три досталось. Поцелуями съел пять.

— Принести еще?

Она отрицательно помотала головой. Тогда я стал вновь целовать яблочные следы, и вдруг слезы у меня брызнули — полились, полились — на мягкий ее живот...

— Что с вами, — услышал я вновь фальцетный какой-то ее голос, — Любу вспомнили?

Слезы мои тотчас остановились. Я поднял голову, прямо посмотрел в потемневшие ее глаза:

— Который раз вы о Любе. Я о Коле ни разу. Ни секунды о ней не думал, как и о нем. Просто не умею любить, как вы того хотите. Не могу бессердечно любить. Не выучился. И учиться не хочу.

Тут она приподнялась, села на постели, нежно-нежно меня обняла, голову мне, как маленькому, погладила, руку мою взяла и поцеловала.

— Si vous le prenez ainsi ... Если ты так... Может быть и я не могу. — Она прижалась щекой к моей руке, подняла голову, чудные глаза ее были полны слез. — И я не могу, Андрик мой, Андрик!

Никто меня никогда этим именем, этим милым именем не звал. Она никогда не звала и Андрюшей. Я ее радостно обнял, стал руки ее целовать;

— Это ты сейчас придумала? И с изумлением услышал:

— Не произнесла ни разу этого имени вслух. Но молча тебя так звала с тех пор, как ты женился на Любе.

— Разве я не был тебе совершенно безразличен?

— Не судите по себе, мраморное изваяние. А теперь отодвиньтесь. Можете и рубашку накинуть. Я пойду в ванную, с живота отмывать смесь яблочного сока и слез.

— Яблоки — жизнь; а слезы, ты знаешь, — любовь.

Она соскочила с кровати и пошла босиком по ковру квадратненькими своими ступнями. Я слышал, как она открыла краны ванны. Горячая вода еще была у нас. Я подошел к двери:

— Там есть все, что тебе нужно? Чистое полотенце, мохнатое, на палочке слева.

Хорошо, хорошо. Все беззаконные ваши поцелуи с себя смою.

Был умывальник и на кухне. Я вымыл руки и лицо. Причесался. Убрал свое белье и костюм. Надел пижаму. В квартире было очень жарко. Я поднял белую штору в спальне и отворил окно. Прошел в кабинет и сел в глубокое кресло.

Вскоре раздался ее голос: — Андрик, принеси мне платье. Белья не надо.

Я взял платье, подошел к двери и сказал:

— Может быть принести...

— Нет, — оборвала она, — вы хотите мне дать какой-нибудь Любин пенюар или капот. Вы мне еще лифчик ее суньте! Велик будет, велик!

Она приоткрыла дверь. Взяла платье. Глаза ее исчерна сверкали. Она захлопнула дверь. Но через минуту вошла ко мне, села на табуретик возле кресла, показала свои ноги, продетые в перекладины моих купальных туфель, положила мне голову на колени и сказала:!

— Андрик, прости. Я ревнива, я страшно ревнива. Видишь, я и туфли *твои* надела, а не ее. Андрик, прости. Какая у тебя красивая пижама! А домашние туфли — лакированные! Барчук барчуком! И кабинет как хорошо обставлен! Письменный стол какой большой! И сколько книг на шведских этих полках! Пойдем, покажи мне столовую. Буфетик какой милый! Неужели ты все это на Александровском рынке купил, как Люба говорит? А горка с фарфором и стеклом! Что это за стаканы такие пузатенькие, с незабудками у края и блюдечками к ним? Это

Мальцевские и есть? Люба о них говорила. Душеньки какие! Кто же теперь чай пить будет из них? Ты уедешь. Что со всем этим будет? Разграбят. И мы ничем не сможем помочь: сами на примете.

— Книги, что мне там понадобятся, два ящика, я уже послал. Остальное конечно разграбят. Возьми себе на память, что хочешь. Вот две чашечки Гарднера, кофейные...

— Лучше книжку. Мне одной будет. Под подушку можно положить.

Она вернулась в кабинет, стала на цыпочки, подняла стекло и сняла с верхней полки белый томик: "Доминик" Фромантена.

— Люблю. А мой пропал. Там есть что-то твое, похожее на тебя. Это я давно уже подумала, — когда за Любой ты бегал. Давай выпьем немножко хересу, поедим печенья. Скоро мне и уходить. Но не раньше, чем... Да?

Я принес в столовую печенье, херес и Софьин узелок, где кроме дюжины котлет оказались две превкусные ватрушки. Верочка протестовала, но съела две котлеты и ватрушку; я тоже; мы запили это хересом; потом поели печенья и выпили еще по рюмке. Верочка сияла:

— Андрик, мы живы. Ты меня любишь, а я — тебя. Мы пьем, едим, и ты сейчас опять меня обнимешь... Ты взгрустнул?

— А ты не думаешь, что травмай-то нас все-таки раздавил? Как же мы будем теперь друг без друга?

— Ох, целуй, возьми, обними меня скорей...

Она побежала в спальню, села на кровать. Но я не обнял ее. Стал на колени, вынул ее ножки из моих гигантских по сравнению с ними туфель и принялся целовать их — снизу, сверху, сбоку. Целовал, целовал, никогда бы не перестал... Поднял голову и увидел, что она друг в дружку сложила, крепко сжала ладони, прижала их к шее у подбородка и глядит на меня какими-то — не могу иначе сказать — молитвенными глазами. Увидев мой взгляд, залепетала:

— Ты меня любишь? Ты *так* меня любишь? Когда ты успел? Это все трамвай? Вот скажи мне, скажи. Обнял ты меня там, на дрожках, за секунду до смерти, отчего, отчего?

— Хотел с тобой. Чтоб сердца, чтоб глаза, чтоб кости...

— Уже любил?

— Должно быть. Не знаю.

— А ты понял, что я шептала?

— И не понял, и больше, чем понял. Радость спасенья совсем новой, совсем бешеной от этого стала.

— Господи Боже, значит дурой я только что была. Нельзя Богу без Христа. Не может быть жизни, огня, сожжения жизни без любви, без счастья и муки любви. Разве что у морских свинок. Андрик, ведь мы себе райскую радость и горькое горе нажили в тот же миг. Вместо смерти. Взамен смерти! Ведь я бормотала "цел, цел, жив", жизни твоей дивилась, счастливилась ею больше, чем своей. А почему ты так ноги мои целуешь, и теперь руки, которых я вовсе не люблю, которых не любит никто?

— Потому что квадратненькие они. Понимаешь? Не квадратные — это было бы уродство — а заигрывающие с квадратом. Квадратненькие. Они — ты сама. Таких нет ни у кого. Целуя их, Верочку, Верочку, Верочку целую. Верочку люблю. Никогда не разлюблю.

— Ну перестань. Не целуй. А то умру. Сейчас, сию минуту. От твоей любви и от своей.

Она отняла у меня руки, вскочила, вмиг стянула с себя через голову платье, легла на бок, не спуская с меня лазорево-черных, жгуче-сияющих глаз, и позвала меня к себе, тут же с головой уйдя под одеяло. К себе позвала, в свою норку. Скинув пижаму, я туда нырнул, в ее норку, крепко прижал ее всю к себе. Долго мы лежали, не двигаясь, только головы высунув из-под одеяла. Все ее позвоночки ладонями я осязал, и шептал:

— Чем же я скажу тебе, *как* тебя люблю, что жизнь твою люблю больше жизни, что душу твою осязаю в каждой косточке твоей.

И она шептала:

— Тихонько, тихонько, войди, возьми. В душу мою войди, душу мою возьми. Тесно, тесно, неразлучно. Ты это, ты, это ты. Где мы? Когда? Времени нет. "Времени больше не будет". Сейчас умрем. Вместе. Вдвоем. Любя. Любя. Любя.

И опять она уснула. На несколько минут. Голова ее лежала на моем плече; а на сердце — квадратненькая ее ручка.

Когда я почувствовал, что она сейчас проснется, я поцело-

вал ее глаза. Она их открыла. Влажные они были; сияли сквозь слезы. Вместо руки, она ушко свое мне положила на сердце и слушала долго. Приподнялась на локте. Поцеловала. Шепнула чуть слышно.

— Всё. Всё.

Протянула мне пижаму. Стала одеваться.

— Провожать меня не надо. Сяду в тот трамвай, что нас раздавил. Только наоборот. От тебя. Навыворот. Еще совсем светло. Вовремя буду дома.

Я был так опустошен мыслью о разлуке с ней, о ее уходе, что говорить не мог. Вместо пижамы накинул халат, пошел в кабинет, сел в кресло. В своем темно-розовом платье и тупых башмачках она примостилась возле меня на табуретке, поцеловала мое высунувшееся из-под халата колено и сказала:

— Андрик, мы расстаемся надолго. Может быть, очень надолго. Да и Бог весть, что нас всех ждет. Знаю: это всерьез. Мы друг друга не разлюбим. Где бы мы ни были, мы теперь вдвоем. Если сын родится у нас, будет крещен Андреем. Это не удивит никого. Если девочка, как захочешь ее назвать? Верочкой? Да? Не пиши мне. Буду о тебе знать через Любу; и ты обо мне. Напишу разве что, если Люба отлучится из Саратова. Мы не... Мы увидимся. Смерть прогнали. Она так скоро за нами не придет. Помни: всё прах. Всё всё равно. Важно одно: мы вдвоем на всю жизнь. Я — твоя. Только твоя. Ты знаешь? Веришь?

Я мог только повторить:

— Моя. Вдвоем навсегда.

Она поцеловала мой лоб, левый глаз, правый, губы, словно перекрестила. Я встал, крепко обнял ее, приподнял, перекрестил, прижал губы к ее губам, и ровно на то хватило у меня сил, чтобы отворить ей дверь, выпустить ее, вызвать лифт, нажать кнопку его спуска, запереть дверь, вернуться в кабинет.

Больше часу просидел в кресле без единой мысли, без всякого, казалось мне, и чувства. Камень. Чурбан. Пошел потом на кухню, съел еще две Софьиных котлеты, поел печенья, выпил весь оставшийся херес. Охмелел. Пошел в спальню. Сбросил халат. Голый лег под одеяло: мерещилось мне, что там сохранилось душистое ее тепло. Лег на бок, протянул руки, будто ее обнимаю. Ничего не вышло: пустота. Вынул из-под головы

думку, обнял, прижал к груди, поцеловал собственную руку, и заснул почти мгновенно, мертвым сном.

Проснулся засветло в большой тревоге. Очень неопределенной и тем более мучительной. Отчего я не проводил ее? Не так мы с ней попрощались. Не договорили чего-то. Но чего? Прожил с ней часа четыре, а не хватает мне ее, точно всегда с ней жил. Верочка, ты проснулась? Хочешь я тебе кофе принесу в постель? Только она ведь спала в Колиной постели. Убей мысль! Не думай! И есть же пачкуны с игривостью пишущие об адюльтерах. Брр! А я через два дня буду спать с Любой. Она всегда умела будить мою чувственность. Самым прямым образом. Не стесняясь в средствах. Конечно, не об этом надо мне было с Верочкой поговорить... Но чего же я ей не досказал? Просто того, как я ее люблю? Что каждая ее косточка, но и каждое словечко, любое движение мысли, чувства... Значит дремало это во мне, и вспыхнуло только там, на пролетке, за секунду до того, как размолол бы ее косточки трамвай. В этот именно миг возжелал чужую жену, как свою; Любину сестру, как Любу. Или с самого начала я в Любе любил то, что было общее у Любы с ней? Удовольствовался Любой, потому что Вера уже была замужем? Но чтобы я когда-нибудь так думал, не помню. Вот и надо было о любви, о нашей любви с Верочкой поговорить.

Да ведь мы еще весь день сегодня тут, в том же городе. Отчего бы нам и не повидаться? Позвоню им в девять, когда все встанут, а Коля будет на службе.

Встал, оделся. Уложил все то, что собирался взять с собой. Ровно в девять позвонил. К телефону подошла Софья:

— Молодой барин на службе. А барыня с молодой барыней и с Котиком только что уехали за город на весь день. Вернутся не раньше чем к десяти.

— Мой поезд — 10.15. Значит не увижу. Ну кланяйтесь всем, Софья. Я ведь вчера всех видел. Хотел еще раз... А вас обнимаю и благодарю. Какие вы чудные котлеты для меня поджарили! Спасибо!

— Что вы, барин дорогой! Такие ли я прежде готовила! Помните? Когда женихом вы Любочки были. Куриные! Зимой-то я их еще за окно выставляла раньше чем жарить, чтоб сочнее были.

— Еще бы не помнить! Таких я с тех пор и не едал. Прощайте, Софьюшка. Не поминайте лихом.

— Я от вас, Андрей Алексеич, кроме хорошего, ничего не видела. А уж молодая барыня как вас любят! Счастливого пути! Возвращайтесь скорей.

Я повесил трубку с недоумением поверх отчаянья. Откуда Софье известно, что Верочка меня любит? Конечно, могут эти слова и ровно ничего не значить. Но по тону показалось мне, что значат, и что мне на радость были Софьей сказаны. А ведь полагалось бы ей Колины — да и Любины — интересы защищать. Но долго об этом думать я не мог. Пустота целого дня была предо мною. Чем ее заполнить, я не знал.

Сидеть дома без дела — с ума сойти... Но тут пришла мне в голову неглупая мысль. В чулане я нашел коробку, бумагу, веревки и даже стружки для укладки посуды. В одну коробку, стружками переложив, я уложил всё лучшее, что было в горке, в том числе и Мальцевские стаканчики; в другую, покрепче — десятка два книг, которые могли бы Верочке прийтись по вкусу. Перевязал все это должным образом, спустил вниз на лифте, нашел извозчика и отвез на Сергиевскую. Там еще не сгинул швейцар. Ему я пакеты и оставил. Хотелось мне очень подняться наверх, но я этого не сделал, чтобы не озадачивать Софью лишний раз. Пошел оттуда пешком на Михайловскую площадь. В музее Александра III-го просмотрел все женские портреты Рокотова, Левицкого и по времени близкие к ним, но не нашел ни одного лица, которое напомнило бы мне Верочку. Посидел в сквере. Вернулся домой, кончил укладку. Съел последние Софьины котлеты. Попрощался с кроватью, с тремя ангелами на иконе, которым Верочка молилась, с табуретом, на котором она сидела у моих колен. Попрощался с квартирой, запер ее дверь двойным поворотом ключа. Спустил вниз свои два чемодана и тяжелый мешок. С трудом разыскал извозчика. Явился на вокзал за два часа до отхода поезда. Заказал что-то в буфете. Так и не заметил, что я, собственно, ем. Подали поезд. Занял место в вагоне у окна. Платформа была крытая; оставалась сухой, когда стал накрапывать дождь. Стемнело. Зажглись фонари. Десять часов. Я высунулся из окна и стал смотреть на воинственно-пролетарский плакат, торчавший передо мной. Вдруг на фоне его

появилась женская фигурка, спиной ко мне, стала снимать черный дождевик. Темно-розовое платье. Боже мой! Верочка.

Она тотчас увидела меня. Подбежала к окну. Поднялась на цыпочки. Перегнувшись, мне удалось коснуться губами ее волос. Она рукой провела мне по лицу. Заговорила, торопясь:

— Это я нарочно так устроила. Знаешь Брянцевых? Дача на Неве. Я уговорила маму поехать туда со мной и с Котиком. А потом, как я и предвидела, Брянцевы нам предложили остаться ночевать. Мама с Котиком осталась, а я уехала домой. Солгала, что Коля меня ждет. Знаю от Софьи, что ты с ней говорил и две коробки привез.

— Скажи, — перебил я, — Софья мне объявила, что ты меня любишь или "очень любишь". Откуда она знает?

— Она не знает. Но все чувствует, все понимает. Она — сокровище. Не знаю, что бы мы делали без нее, мама и я. Ей одной я сказала, что увижу тебя. Она и сама угадала. Пирожков тебе испекла в дорогу. Она тебя любит больше, чем Колю. Как и я. Прости, что говорю об этом. Как и я. Господи, как и я.

Вспыхнула и вся потемнела. Нагнула голову, поднимая пакет, чтоб я не видел ее лица. Я взял пакет. Сказал, чтоб она поцеловала мать и Софью. Что еще осталось пять минут. Что люблю ее, как никогда не любил и не буду любить.

Она отошла на шаг от вагона и проговорила тихо, но очень внятно:

— Не думай ни о чем, что мучит. Я до мозга костей — твоя. Все мои косточки — твои. Все тебя любят, и я знаю: всякая твоя косточка — меня.

Опустила глаза. Прошептала, так что я едва расслышал:

— Будем счастливы этим, пока живы и потом. Андрик, я люблю тебя. Андрик, я — твоя.

Отошла еще на шаг. Подняла глаза полные слез, и теперь глядела на меня, не отрываясь.

— Верочка, Верочка, — шевелились мои губы.

Мы глядели друг на друга, как молящиеся смотрят на икону. Свисток. Тронулся поезд. Мы глядели друг на друга. Но я скоро перестал ее видеть. Дождь брызгал внутрь вагона. Сосед попросил меня поднять стекло. Я это сделал, и так сразмаху рухнул на свое место, что он раздраженно пожал плечами,

сплюнул окурок на пол и сердито раздавил его тяжелым сапогом.

II

Так началось то, чему имя: без нее. Шли годы. Что мне о них сказать? Пишу о Верочке, а Верочки со мною не было. Во мне она была, но не со мной. Со мною, на первых, по крайней мере, порах, была Люба. До сих пор не знаю, больше бы я мучился или меньше, если бы жена моя была не почти-Верочка в иные минуты, не псевдо-Верочка в другие, а попросту совсем не Верочка.

Тащился я до Саратова — от чужой жены к своей, или вернее от своей к прежней своей — с тремя или четырьмя пересадками, без малого двое суток. О Верочке думал неотрывно. Не о ней вместе с ее матерью, сыном, мужем, а только о ней одной, и себя ощущающей именно так: одинокой, одной на свете. Как же ты теперь одна, Верочка? Подразумевалось: без меня. На небесах расправились с нами жестоко: сплавили, с помощью трамвая, воедино, а сплав распилили электрической пилой. Я даже воображал ее звук, один из мерзейших, какие есть на свете. Отняли у меня Верочку, — твердил я себе в утешенье, — но ведь образ ее не отнимет у меня никто. Закрываю глаза и вижу ее такой, какою видел перед отходом поезда: руки сжаты, прижаты к груди у самой шеи, и смотрит, смотрит она мне в глаза своими чудными непонятными глазами, и я молюсь на этот ее образ, как и она молится на мой, скорбно глядящий на нее в окладе вагонного окна. Мы друг другу — иконы. Кощунства в такой мысли нет. Ведь это не полицейские снимки двух клятвопреступников, прелюбодейной жены и неверного мужа. Это — иконы нашей любви; не Веры, не Андрея, а *любящей* Веры, *любящего* Андрея. Грешных любящих. Но если та любовь, которой вся она теплилась и светилась в миг разлуки, та, что сейчас подступает мне к горлу и туманит глаза, если *эта* любовь не свята, тогда нет на свете ничего святого.

Приехал под вечер, небритый, неумытый, невыспавшийся, усталый. Был встречен Любой на вокзале с очевидной и неподдельной радостью. Щеки ее пылали, глаза сияли, шелко-

вистые волосы выбивались из-под шелкового платка. Бросилась на шею, прижалась грудью к груди, и все равно поцеловала, хоть и пугал я ее, говоря, что и грязен и колюч.

— Сейчас помоешься. Дом наш близко, у нас есть ванна, есть горячая вода. Потом я тебя вкусно накормлю, а бриться сегодня не стоит: мне и щетина твоя мила.

Она отлично все устроила в найденном ею для нас деревянном домике с садом, и обставила его четыре комнаты мебелью вполне приемлемой. В лучшей из них, отведенной под мой кабинет, книги мои уже стояли на полке возле большой оттоманки. Я сказал, что высплюсь сегодня на ней; очень, мол, устал. Люба ничуть не удивилась; послала меня мыться, постелила тем временем на оттоманке, а после ужина и двух рюмок раздобытого ею коньяка, исчезла из столовой, и когда я вошел в кабинет уже в этой свежей постели и лежала, прикрытая простыней, но больше ничем. Воспротивиться ее любовному нетерпенью я не мог, да и счел бы чем-то незаслуженно враждебным и поэтому уродливым. Ушла она от меня лишь поздней ночью.

За минуту до того, я сказал ей, что засыпаю, сейчас усну, и руку ей поцеловал, как делал и прежде, словно благодаря ее за доставленное наслаждение. О наслаждении, моем и своем, она все знала, что можно было знать; она всегда его давала и брала как нельзя лучше; дала, взяла и теперь очень хорошо. Я очень хорошо сделал, что так нежно поцеловал ей руку. Сейчас мне следует заснуть очень хорошо.

Только я все же не засыпал. Встал, неслышно открыл окно. Тишина в саду, ни листок не шелохнется. Лег, дыша ночным — неподвижным и душистым — воздухом. И вдруг мне Любу стало жаль. Как ее рука на верочкину не похожа! Пухлая немного, пропорций вполне нормальных, но суставы пальцев обозначены ямочками, а не выпуклыми морщинками. Это меня когда-то, да еще и недавно, пленяло, вернее чувственно волновало; но так ее руки целовать, как я верочкины целовал, когда Верочка сказала "не целуй, умру", мне и в голову ни разу не пришло. И ноги ее, если вообще я целовал, то лишь в зачине восходящих поцелуев. Вовсе нет и ничего в ее теле, в чем бы я осязал или видел ее всю. Однако любил же я это тело, жаждал его, наслаждался им со страстью, любовался, восхищался им. Да

и сейчас, сейчас, наслаждаясь им, разве его я не любил? Разве мог бы я правдиво сказать, что мне Люба не мила, что я ее не люблю; разлюбил, да и только? Как обманчив этот глагол! Как многосмысленно слово "любовь"! Ближе к истине будет сказать, что той любви, которой полюбил я и люблю Верочку, я прежде попросту не знал; *этой* любовью никогда Любу и не любил. Люба в этом не виновна. Но мне, против воли моей, неотвратимо, непреложно кажется, что в ней чего-то нет, что в Верочке есть, и что заставило меня полюбить Верочку. И вот мне Любу жаль, оттого что люблю я ее *не так*. Быть может только для меня, но как-то она недоделана, приблизительна. Черновик Веры. Хороши ее чарующие волосы, сапфирной синевы глаза; упоительны плечи, грудь. Но, целуя их, я именно плечи и грудь — все жарче, все ненасытнее (или нетерпеливее?) — целую. Любины? Очень женские, прежде всего. Сама женщина целуема мной. Но не знаю, сама ли это Люба.

А Верочка?.. Да я ведь душу ее, в каждом изгибе ее плоти, душу, душу в каждом биении жизни, в каждом вздохе целовал. И тут ощутил я вдруг такую боль, такую тоску по ней, не по женскости ее, а по ней самой, что вскочил с оттоманки, прокрался не шумя в столовую, нашел коньяк, налил себе полстакана, выпил залпом, вернулся в кабинет, где уже светало, подышал всей грудью у окна, лег — и канул разом в непробудное беспамятство.

Следующую ночь я уже в кабинете не спал. С Любой был очень ласков. Все жалел ее, что не Верочка она, что не стать ей Верочкой, что далеко ей до Верочки. Ласковей с ней был, чем прежде, что по началу радовало ее. Зажили мы совсем как будто по-старому, а когда карточный наш домик колебался и грозил упасть — как и случалось все чаще — я внушал себе: ведь это сестра-двойняжка ее, ищи в ней Верочку и найдешь, люби ее, Верочку в ней люби.

Вестей о Верочке не было, кроме тех, скудных и редких, которые Люба получала, чаще от матери, чем от нее. В начале следующего — 19-го — года, месяца три вовсе не было вестей, Зато в конце мая привез мне в Саратов и передал "в собственные руки" записку от Верочки добрый бородач-водопроводчик, Софьин родственник, потомственный почетный пролетарий и

лояльный член партии. Она писала по-французски:

"Наша дочка умерла, едва успев родиться. Час прожила. Не плакала, не кричала. Спеленутая, тихонько с закрытыми глазками лежала. Потом их открыла: два василька. Твои. А потом мне пришлось их закрывать. Горюю, плачу. Молюсь о ней и о нас с тобой. Целую тебя. Не пиши. Ничего не изменилось. Я твоя до мозга костей и каждой, самой маленькой кровинкой".

Летом того же года Люба съездила в Петербург и, вернувшись, сообщила о преждевременных Верочкиных родах, прибавив, что теперь она больше не сможет рожать.

Что-то такое врачи устроили, что женскости понимаешь? — ее не лишили, но материнство у нее отняли. Она похудела. Очень, очень грустна. Просила тебе кланяться и сказать, что здоровье ее вполне сносно.

И еще рассказала, что в нашу с ней квартиру кого-то уже вселили (чиновника из дворников, по ее словам, с семьей), но что она успела кое-что вывезти оттуда: столовое и постельное белье, остатки книг, часть серебра и

— Помнишь, тот образок, что висел у нас над кроватью. Хотела привести его сюда, но Верочке, никогда не видевшей его, он так понравился, что я его оставила ей. Надеюсь, ты не возражаешь? Она так обрадовалась, что заплакала, обняла меня и сказала, что он ей будет утешением в ее горе.

Месяца два спустя Люба опять из-за болезни матери (оказавшейся затем не столь опасной) съездила в Петербург. В ее отсутствие я получил от Верочки письмо. Датировано было оно 21-м августа.

"Mon cher Andre, Люба мне рассказала о вашем житье-бытье. Вы, кажется, голодаете, хоть и всерьез, но меньше нашего. Если б не Софья, нам бы уже грозила голодная смерть, как она многим угрожает в Петербурге. Люба нам привезла два кило рису и мешок ржаных сухарей. Спасибо. Котик поест рисовой кашки; а для тебя мы ей дадим немного сахару. Она говорит, что без него голова твоя отказывается работать. Побрани ее за это (голову). Вручила мне Люба и оттиск твоей работы "О некоторых особенностях уголовного законодательства и судопроизводства городов Фландрии в средние века". Выписываю целиком заглавие, чтобы дать тебе почувствовать

как оно меня испугало. Но прочла все с интересом. Да что там... С напряженнейшим вниманием и волнением. Ведь я и ум твой люблю, мысли твои целую.

Вычитала у тебя, что, по некоторым из этих городских статутов, девушка, подвергшаяся насилию, приглашалась, в случае поимки насильника, явиться в суд, для очной ставки с ним, во время которой судья предлагал ей выбрать либо меч, лежавший перед нею на столе, либо печной горшок, стоявший тут же. Если выбирала она меч, обидчику отсекали голову, если печной горшок, он должен был на ней жениться. Вот уж я бы на ее месте горшка не выбрала — суп варить злодею. Но пришло мне тут в голову, что ведь и автор работы подвергся насилию, и притом двоякому. Правда, мужчин насилуют не совсем как женщин, но различие это в данном случае не существенно. Двумя сестрами был он изнасилован. Одной многократно, в лиловой гостиной, после чего, перед судом своей совести, он выбрал печной горшок. А другой сестрой на Каменноостровском проспекте, ныне улице Красных Зорь, 21 августа 1918 года, и так как уже был женат и она была замужней женщиной, горшка выбрать не мог. Меч выбрал. Тупой, зазубренный, свирепый. Меч отсутствия. Молчания. Меч ее страшной тоски по нем.

Андрик, прости. Это прежняя злая Верка писала. Не вычеркиваю, чтоб ты знал, что не вовсе она умерла. Но почти, почти. Не писать я ведь сама тебя просила и прошу. Верочка, ребрышко твое, никогда тебя не разлюбит. А письмо сожги. Сейчас же сожги! Я его положила на одну, потом на другую грудь, и прежде чем сунуть в конверт, долго, долго целовала".

Люба мне в Саратов привезла кило хорошего кускового сахара, где-то раздобытого Софьей. О Верочке сказала, что она только и живет заботой о Котике, и что Коля донжуанствует отчаянно, перегрыз все удила уже во время беременности Веры, и теперь продолжает без удержу; но Котика очень любит. Когда на свиданье не спешит, часами играет с ним на ковре в лиловой комнате. С Верой супружески совсем, по-видимому, не живет, чему она, по ее же словам, очень рада.

— Знаешь, она ведь не то, что я: может и совсем обходиться без этого.

— А как Юра, — спросил я совершенно бесстрастно.

Юра был студент, мой слушатель, который летом тоже уехал в Петербург. Люба, однако, ход моей мысли поняла. Вспыхнула, сжала губы, изобразила глазами безоблачную синеву.

— Да, я его видела. Кстати и уговорила остаться в Петербурге, продолжать учиться там, как и ты ему советовал. Но у нас он не был.

— Отчего же? Котик и Коля совсем забрали себе лиловую гостиную?

— Какой ты злой! Ты же знаешь, что у меня с Юрой был только самый легкий флёрт.

— Такой же легкий, как у нас в той симпатичной комнате?

— Фу! Тебе не стыдно? И зачем напоминать... Ты меня тогда любил.

Мы сидели на оттоманке в кабинете. Она притянула меня к себе и расстегнула кофточку на груди. Я обнял ее, стал жадно целовать. Может быть, в память той комнаты? Нет. В нелепой надежде, что, побыв с Верочкой, она стала Верочкой.

В общем, однако, уже и до этих двух ее отлучек, отношения наши начали портиться. Я стал, жаловалась она, рассеянней, раздражительней, суше; насчет поцелуев скупей; целые дни проводил в чтении или писании. Вот и кокетничать с Юрой принялась, милым и способным юношей, на которого я возлагал немалые надежды. Смущала его этим, от работы отвлекала и наконец в себя влюбила. Бог знает, на что он теперь похож, оставшись там без нее. А Люба о нем и не вспоминала: сразу же по приезде другую канитель завела, еще куда более досадную. Окрутила умную голову моего старшего друга, блестяще одаренного историка, моего коллеги по университету, чья жена была за границей (куда через два года он и сам укатил — за два года до меня). Весной 20-го года родила она от него ребенка, приняв все меры для того, чтобы я мог счесть его своим. Она хотела и назвать его моим именем, но я настоял на том, чтобы наречен был он Борисом, в честь моего друга. Это сильно рассердило Любу, и еще сильней его. Он стал проявлять ко мне резкую неприязнь: считал, по-видимому, что я должен был либо верить, либо делать вид, что верю в мое отцовство. Я и делал вид, но не до конца. Мальчик был трогательно мил. Я бы сумел его по-

любить, если бы его мать и отец откровенно со мною объяснились. Да и, пожалуй, если б Люба теперь все еще была моей любовью. А так, по сестре ее тоскуя, сделал я все-таки рождение этого ребенка поводом для прекращения супружеских отношений с ней, что, в свою очередь, привело к нашему разводу год спустя. Получив развод, Люба уехала с маленьким Борей из Саратова, и вскоре вышла замуж, в другом городе, за своего давнишнего воздыхателя, девичьих еще времен, очень хорошего человека, немного старше нас (я его некогда встречал), но князя — и не просто, а светлейшего. Его все время сажали, выпускали, опять сажали, а за границу он не уезжал, бежать туда вовсе и не пытался.

Когда Люба меня покинула, Верочка стала мне писать — коротенькие почти всегда — письма, и я ей отвечать такими же. Мы как бы лишь удостоверяли ими друг друга, что живы и здоровы. Забыть друг друга, разлюбить, нам обоим казалось немыслимым. Стиснув зубы, жаждали друг друга. Что Люба больше не со мной, не радовало Верочку, а огорчало. Разгневала попытка Любы обмануть меня насчет младенца; но когда она сделалась светлейшею княгиней, Верочка стала бояться за нее и ее жалеть. Обо мне она тоже беспокоилась, знала, что я у властей на дурном счету, осторожно намекала в письмах, чтобы я хлопотал об отъезде за границу. В 23-м году уехала ее мать — к сыну, в Париж, тайно перейдя финскую границу. Брат предлагал тем же способом и ее переправить в Париж с мужем и сыном, но Николай Николаевич наотрез отказался уезжать или отпустить за границу Котика; насчет жены был менее категоричен. Повидаться нам хотелось все сильней. Но жалованье платили мне грошевое (Люба ездила оба раза домой на Колины деньги). Я раз только на казенный счет съездил в Москву, хлопотать о разводе и (тайком) о командировке, понимая и сам, что мне надо уезжать. Весной 24-го года, накопив деньги, я опять туда съездил; паспорт и визу получил. Позвонил оттуда Верочке. Сообщил, что еду за границу 4-го июля, а в Петербург приеду 3-го. Она сказала, что я смогу переночевать у них, и прибавила в страшном волнении, которое я тут же ощутил, как свое;

— Приезжай прямо с вокзала. Ребрышко твое ждет тебя.

Продолжение следует

В. Вейдле

*

Создатель мрака — дождик скучный,
Дробится на стекле окна.
Безгромные, глухие тучи —
Боятся пробудить от сна —
Спокойно спящую природу,
Безлиственную тишину
Гроз благотворную свободу
И неурочную весну. —
И я боюсь, мне страшно тоже—
Что вдруг во мне заговорит
Безумье и мороз по коже
От черной думы пробежит.

*

Тень ка́пель на мои тетради —
Бросает солнце сквозь окно.
На тени этих капель глядя —
Я вижу как отражено
Здесь на бумаге указанье —
На то что туча разошлась,
О, если б так в мои писанья
Иная сила ворвалась...
Слова, как тени капель этих
Могли бы оттого темнеть,
Что луч обещанного света
Прорвался сквозь густую сеть.

А. Величковский

БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ, РАБА ДАНИИЛА...

Хотите, я расскажу вам про Даньку-сапожника? Тогда мне надо перед этим обязательно рассказать о Подоле. Подол — это район в Киеве. Но это совершенно необыкновенный район. О, Боже, дай мне способность рассказать о Подоле коротко и понятно. Нетерпеливые мне могут сказать: "При чём тут Подол, рассказывай быстрее про Даньку!" Нет, нет, дорогие мои, невозможно рассказать о Даньке без Подола. Во-первых, Данька здесь жил, во-вторых, вы не почувствуете Даньку без Подола. Поверьте мне я сам вырос на Подоле и знаю, что говорю.

Так вот, что такое Подол? Это район в нижней части Киева и притом самый старый район. Испокон веков здесь живут бедняки, они жили здесь и до революции и после неё. К слову сказать, киевская знать всегда стремилась жить на Печерске — в верхней части города. И всегда так, какая-то вечная страсть: если появились власть и деньги — непреодолимое желание жить где-нибудь наверху. И в этом тщательно скрываемая мысль: "Я выше других". Когда-то на Печерске жили действительные, тайные, статские и прочие советники, а сейчас розоворожие члены украинского правительства и прочая сошка поменьше, обкомовская и райкомовская, всё больше по углам района. Насмешливые подоляне говорят, что там живёт "высшее общество", при .том заменяя в слове "общество" первую букву "о" на другую гласную, что делает слово смешным, но нецензурным. Но не про Печерск говорим сейчас. Ну вот, а еще на Подоле очень большое смешение национальностей. На улицах здесь равно почитается русский и идиш, ближе к базару растека-

ется певучей вязью украинский, но вы услышите здесь и татарский и какой-то мерцающий язык, на котором говорят таинственные и обманные цыгане. Ну, а главная ценность Подола, конечно же, Днепр. Да-да, этот синий красавец-старик, который всё видит, всё знает, но пока молчит. Много крови человеческой унёс он в глубину своих синих, по-старчески дремлющих вод, но молчит пока, а может привык. А может, мы идеализируем его, может, он вовсе не мудрый старый красавец, а злой старик, прижмуривший затянутый синей пеленой глаз, тщательно скрывающий свою тайную страсть к человеческой крови. Не знаю, во всяком случае на Подоле много названий и слов из морского-речного лексикона. Тут "Спасская пристань" и "порт" и "переправа" и "грузчики" и "дебаркадеры" и "большая вода", и весной раздаются здесь призывные гудки теплоходов, застоявшихся за зиму в мощно белых с голубыми прожилами днепровских льдах. Здесь ходят в чёрных шинелях студенты речного техникума, останавливая ритмичным топотом детей, и, главное, девушек. Я сам когда-то ходил в этих рядах, сам когда-то топтал свою морскую кепку "мичманку", так как существовало тогда мнение, что после долгого топтания "мичманка" становится более модного фасона.

Говорят, что Подол очень похож на Одессу. Я согласен, хотя в Подоле есть что-то такое, чего я ещё нигде не встречал. Рассказывают, что однажды одессит посетил Подол, целый день проходил по нему, а вечером на вопросительные взгляды своих киево-подольских родственников ответил: "Конечно, это не Одесса, но в этом что-то есть". Если уже одессит косвенно признал, что в мире есть ещё что-то заслуживающее внимания, кроме Одессы, то, наверное, "здесь что-то есть". В центре Подола, возле Константиновской улицы, находится знаменитый Житний базар, где кроме продуктов всегда несметное количество разных людей и людишек, многих из которых очень опасаются дядьки и тётки, приехавшие с мешками из окрестных сёл. Тут вы купите всё, начиная от стакана крепчайшей грузинской водки "чачи" до дефицитного японского приёмника "Сони". Вся эта продажа идёт с опаской, так как здесь часто прохаживаются милиционеры в кирзовых сапогах, с такими же лицами и с мечтательными глазами, наполненными призывом: "Дай, гад,

взятку, а то всё отыму!" А недалеко холодный кинотеатр "Колос", чаще называемый "собачий ящик". Прохудившимся старым поясом вокруг базара тянется длинный под липами скверик, с утра в нём неуютно, сидят на скамейках старые грязные проститутки с глазами, подсинёнными синяками, и мужчины разных возрастов, изломанные и исковерканные жутким дешёвым вином, "питьевым" "Тройным одеколоном", валерьянкой и, кто его знает, ещё чем.

Когда-нибудь, если Бог даст, я напишу о Подоле целую книгу, потому что Подол ходит и бродит во мне и вспоминается и живёт во мне и будет жить...

И вот здесь на Подоле, в ногах города, вокруг которых свернулся синей змеёй Днепр, и жил Данька-сапожник. У Даньки была малюсенькая сапожная будка, в которой он латал сношенную и искривленную обувь подолян. Будка стояла возле двора, где он жил, а улица эта называлась Воложская и стоит она на углу Спасской и Набережно-Крещатицкой. На Подоле ещё осталось немного улиц со старыми, неизменёнными названиями и звучат они здесь удобно. Вот, например, Константиновской улице уж сколько раз меняли название, и на фамилии писателей и на генералов, а всё равно все и даже кондукторы в трамваях называли её по-старому. "Идём на Косточку," — говорят друг другу подоляне, и в этом не только привычка, но и уважение и ласка. Так что потом опять назвали Константиновскую — Константиновской.

Даньку все уважали; и мужик он умелый, мастеровой, никакой не шкуродёр, за копейки всё сделает, да и перехватить у него всегда можно рубль, а то и трёшку, и молчит часто — не болтун, и вот что ещё важно — хоть и пьяница, но работу никогда не бросает, всегда справно снимает в 8 часов амбарный замок со своей будки. Уважали его особенно мужики, а особенно те, что без ничего жили: так как-то, без денег, без работы, без семей, в общем без ничего, а жили. К ним всегда Данька был сочувствующий — и от стакана своего отольёт и к ботинкам подошву прибьёт, а если ботинки пропил, найдёт что-то и босым дальше не пойдёшь.

Сильно прославился Данька двумя своими поступками. Жил он с женой Клавой и тремя "басурманами", это Клава так трёх

сыновей звала, как и почти все на Подоле, в коммунальной квартире, в 15-метровой комнатухе. А тут соседка бабушка Даша умерла и, значит, освободилась ещё одна клетка в 9 квадратных метров. Данька её и занял. А управдому Назару Семёновичу Мискину кто-то взятку дал, потому он и пришёл с двумя милиционерами Даньку выселять, освобождать, значит, площадь для того, кто дал ему. Вот тут-то Данька его и встретил, по-особому встретил, все улицы сбежались, даже слепой дедушка Лузанский выполз, всё щурил слепые глаза на шум. А Данька был в бушлате, а на бушлате позванивали медали и стыли расплющенными ягодами ордена. А брюки "клёш" были подкатаны выше колен, и все увидели располосованные десятками шрамов Данькины ноги. И был он выбрит, и все увидели, что он красивый. И еще все увидели, что у него дёргается выбритая щека. А сзади него стояла Клава, судорожно обхватив трёх "басурманов".

— Так вот, запомни, гнида... — выхрипел Данька Мискину. — И вы знайте, — нацелился он и на милиционеров взбешёнными щелями глаз. И у него ещё начал дёргаться один глаз. — Я не отдам эту вшивую комнату, потому что у меня трое ребят. И я не дам вам себя увезти, я кончусь здесь и вас кончу, и пусть меня потом увезут трупом. А тебя первого кончу, — резанул он уж совсем помутневшими глазами в сторону Мискина. — Я всё это заработал в штрафном батальоне. Неужто всё это, — он сабельно махнул рукой на ордена и шрамы, — не стоит 9 метров поганой комнаты.

Милиционеры, недавние парни из села, с медными ряшками, наглые, но трусливые, в общем, как и положено, отступили, хватаясь за кобуры, а жулик Мискин застыл перед всем этим непредвиденным и смелым для тех мёртвых, заячьих послевоенных годов. И все подумали, что Данька вправду убьёт, если что, потому что он никогда о таких вещах не говорил, это вот Вадик всегда, надравшись, кричал, что всех убьёт, а никто его не боялся.

И они ушли. И Мискин пятился и не обещал, что вернётся. А Даньку ещё долго никто не мог сдвинуть с места, он стоял, как бы вросши в землю исполосованными корнями ног, он просто стоял и всё, а потом слепой дедушка Лузанский подошёл к нему

и сказал: "Я хочу тебя потрогать Даня, ты ведь знаешь, мне скоро умирать, я хочу тебя потрогать..." И он перебирал дрожащими пальцами медали и ордена на бушлате Даньки.

Когда мы потом в школе проходили сказку Горького "Данко", про парня, который был очень храбрый, я сказал своей учительнице Серафиме Антоновне о том, что я знаю Данко и что он сейчас сапожник.

И та комната осталась за Данькой. И вот он на следующий день хорошо продал принесенную ему краденую кожу, продал сапожникам, что дома тайно шили обувь для базара, и повёл своих дружков в ресторан "Прибой", что на углу Константиновской и Нижнего вала, где дым по-настоящему столбом, где набыченные багровошеии грузчики с порта заглатывают тонкими стаканами водку, где воры гуляют нервно, пока не напьются до истерик, а после и поют и плачут: "Конвойный не спешит, конвойный понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда...". А в закрытой комнате заведующие магазинами пьют с работниками ОБХС армянский коньяк и деловито суют им деньги, завёрнутые в старые газеты. А в оркестре — старик Левинсон на скрипке, его жена Сарра — аккордеонистка, в минутном перерыве между песнями успевает поспать на своём аккордеоне, и племянник на барабанах, с глазами, как у игрушечного зайца с бубном, взвинченный и нервный. Старик Левинсон за заказы царственными жестами берёт троячки и пятёрки, а воры и червонцы дают, и кричит жене, как ему кажется, с цыганским надрывом: "Сарра, вставай, тональность ля минор!" После кладёт вислую щеку на скрипку и поёт в дребезжащий микрофон:

Все друзья смеются надо мною,
Разлучить хотят меня с тобою...

А подружки воров плачут и пудрятся "Лебединым пухом".

И вот Данька с друзьями занимает стол, жирная официантка с жёлтым шестимесячным перманентом и жёлтыми золотыми зубами берёт заказ, увидев, что простые лопухи и заказ большой и можно поживиться, оскалившись улыбается, называет их "мальчишечками". А Вадик, облизываясь, глядит ей в толстый вихляющий зад и сразу врёт, что спал с ней. А потом они как

следует напиваются. Тогда Данька идёт с троячкой к оркестру и старик Левинсон поёт:

Купите гойшен папиросы...
Идут солдаты, идут матросы...
Посмотрите, ноги мои босы...

Данька, неужто ты яврей? — говаривал всегда после третьего стакана Толюня Хлыст, он же по утерянному паспорту Анатолий Хлыстов. — Еврей, как есть еврей, — в растяжку отвечал Данька, глядел соломенными глазами серьёзно, после вспомнив, вытягивал паспорт, мусолил его замусоленный и, наконец, тыкал черноватым, деревянным пальцем: "Вот оно: Даниил Цимберг... еврей..."

— Вот жизнь-то какая, — вздыхал Толюня, — чего захочет, то с человеком и сделает. — И после, уже скособочившись к полу, пьяный уже во всех своих закоулках, недоверчиво повторял Толюня сам для себя: "А Данька-то — яврей, смотри ты, вот жизнь-то какая..."

Домой все шли под руки и с песнями. Вадик зачем-то спёр кофейник с кофе и нёс его под пальто. На углу Александровской, что нынче стала Жданова, на канализационном люке стоял очень пьяный меховщик Нухем и кричал, что он сын бедного крестьянина и у него нет ни копейки. Толюня крикнул ему: "Нухем, ты почему моей тёще увесь воротник спортил, собаку плохо покрасил. Верни усе деньги!"

Нухем сразу заголосил: "Милиция, милиция, крестьян грабят!"

А перед самым домом, Вадик вдруг снял шапку, опрокинул себе на голову кофе и снова надел шапку. Только он ввалился в дом, как тёща с женой не разобрав кофе, посчитав его за кровь, дружно взвыли: "Караул! Вадюню зарезали!! Кормильца забили!!!"

— А Клавка-то, тоже яврейка? — спрашивал поутру Толюня, еле втискиваясь в будку, весь издёрганный на похмелюгу.

— А кто её знает, — давил из себя Данька, тоже пригвождённый похмельем, как колом, — по паспорту она русская, да и мать с отцом русские...

А уж во второй случай прославил себя Данька в мае. У нас

май-то в Киеве, как радость зелёная, молодая. Как зелёное яблоко с розовеющим боком от нежной зари, как прекрасная женщина в белой одежде, с затуманенными глазами, вынужденная жить среди грубого семейства. А каштаны, до дырок истёртые в сотнях песен киевскими песенниками-рифмоблудами, замирают от прикосновений ещё холодных ветерков падающих синими голубями с неба на землю. Так хорошо тогда в Киеве, как ни в одной песне не споётся. И вот пришёл в мае в будку к Даньке Вова Билли Бонс. Так его звали, потому что у него не было одного глаза, как у того пирата из книги "Остров сокровищ". Вова Билли Бонс был вором, а поэтому блатным. Он жил на другом конце Подола, но и здесь про него тоже хорошо знали и некоторые повторяли злые слова его тёщи, о том, что он глаз свой не на войне потерял, а в пьяной драке. Выдумывала, часто им обижаемая тёща, выдумывала всё это, чтоб этим авторитет его военный ущемить. Правда, теперь, когда случалась драка, Вова вынимал свой новый стеклянный глаз, аккуратно заворачивал его в клетчатый платок, а уж потом дрался. И все блатные ждали всегда, пока он это сделает.

Вот по весне, по маю, притопал Вова и влез в Данькину будку. И потом, разрывая от тесноты карман вытянул "фауст-патрон". "Фауст" — это большая бутылка, странно похожая на немецкий снаряд наполненная тошнотворным дешёвым вином, после которого даже стакан трудно отмыть от красных химических разводов. Тяжело сглотнул Данька свой кадык, остервенело прихлопнул гвоздь в чью-то гнилую подошву и сказал "по-чужому": "В мастерской пить алкоголь строго запрещается". Тогда Вова вынул бережно из бокового кармана бобрикового пальто ещё и "чекушку" и одну рыжую тарань и сказал: "Знаю, где есть свежее пиво..." Никто б не устоял, ни один тебе Прометей или Антей, но Данька, торжественно выдавил: "Пока этот сандаль не доделаю — не буду!". "А на кой сейчас сандали? — удивился Билли Бонс. — Мокротище ещё, да и холодно..." Но Данька, сцепив зубы и вгрызаясь клещами в сандалий, сипел: "На шерстяной носок с базара, можно и сейчас носить..." Потом они выпили чекушку под жёлтый кусочек Данькиного сала. И тогда Вова сказал: "Ты ведь не брехун и не падаль, Даня, ты ведь честный. Скажи, тебя война мурыжит? А

вот меня мурыжит. Я ведь солдатом и в Германии был, как только туда попали, то вначале мы сильно гуляли и пили в смерть и насильничали, вроде, как и немцы у нас. И вот было нас человек десять и затащили мы в амбар двух молодых немок и изнасильничали их, как только можно. А опосля вбили им в женские места бутылки. Тогда мы очень злые были, мы мстили им за всё и потом я забыл об этом, а недавно всё это поднялось изнутри меня и торчит, душу мне разрывает, и как не гоню, всё равно, и во сне и так, девки эти, немки, вопят во мне и мурыжит меня всё это тупым ножом. И что это, а, Даня? А может это я им случайно за евреев отомстил, вон сколько ваших в Бабьем Яру они забили, говорят двести тысяч, а Даня? Может я за вас мстил, а тепереча страдаю?" И стал Вова жадно пить из "фауст-патрона" безо всякой закуси и кадык, как поршень бешеный, бегал по его шее. А Данька сказал: "Нет, евреи так не мстят, евреи не умеют мстить, они только плачут..." А потом допил "фауст" и обтёршись добавил: "А вот я, наверное, сумел бы..."

И они заперли будку, Данька подёргал замок, как трезвый, и они пошли пить пиво. У пивного ларька Вова вытащил большую пачку денег, показал их край и хитро заулыбался: "Позавчера, "мойкой" я в "звонке" у одной "гаплыхи" карман вырезал. — "Мойка" — это бритвенное лезвие, "звонок" — трамвай, а "гаплыха" — это тётка из села. — А вот я буду пить, — упрямился Данька, — только на свои трудовые! И он упрямо собирал мелочь из карманов и всё сбивался со счёта. Тут-то и набрёл на них Вадик, он нёс в авоське две порожние бутылки, чтоб сдать их за 24 копейки, а этого как раз хватает на кружку разбавленного водой пива. Долгий путь на пути к радости предстоял перед Вадиком, попробуй-ка выстоять длиннющую очередь, когда тебя колотит и подбрасывает, а ещё, если кто перед тобой посуду после свадьбы или именин сдаёт, тут уж пытка, пока он все свои мешки опорожнит. Но в тот день сатана пожалел Вадика, почему неизвестно, может сам пьёт. — Ну и нюх у тебя! — восхищенно и обрадованно закричал Данька и, губасто поцеловав Вадика, представил его обществу в лице Билли Бонса: "Это мой самый лучший друг, я его уважаю, он стихи писал..." А Билли Бонс сразу всё метко оценил и сказал: "Коли у тебя, Вадюня, денех нет, то будешь у нас "шестёркой".

"Шестери" сейчас в гастроном и принеси две бутылки "Столичной", колбасы "Дохторской" ... кило — он по-царски загибал пальцы, запнулся было, но вспомнил, — французских булок, "бычки в томате" ...", — тут он окончательно запнулся, но Данька удачно закончил за него: " И тюльки, тюльки, принеси, я люблю "весёлых ребят". И все захохотали от Данькиной старой шутки, а чего не хохотать, день только начинается, деньги есть и гастрономы открыты. Но тут смотрят, боком подкрался к ним их участковый милиционер, очень похожий на китайца, но говорят, что бурят. Ну, да всё равно нацмен, кто бы ни был. Он вроде тихий был, но уж вредный, правда, может не вреднее других, но противный, всё вынюхивает, о взрослых у детишек расспрашивает и не пьет вовсе. Боком он подошёл, а Вадик боком отошёл — и к гастроному, с оглядкой. А "китаец" начинает петь: "Что ж ты, Даня, с утра да пораньше, зачем своего авторитета портишь? А ты, Зубков Владимир, зачем Цимберга спаиваешь, ты лучше на работу устройся, вон на макаронной фабрике люди нужны, ведь по тебе-то тюрьма плачет!" Скромно опустив к земле свои разные глаза Вова Билли Бонс сказал, что он хочет что-то сделать на макаронную фабрику, и было это очень неприлично и уж точно противоречило правилам гигиены, соблюдаемым на продуктовых предприятиях. Но "китаец" не отстал и, грозно впившись, задал главный вопрос: "Где ты на водку деньги взяла?" Тогда Билли Бонс ответил ему на всё сразу. — А ты меня зоной не пугай, я пуганый, — он рванул татуированными руками ворот рубахи, оторвав с нитками пуговицу, — а деньги есть оттого, что кровь свою чистую сдал в донорский пункт для других трудящихся... — Кричал Вова, но видно было, что сейчас он боится участкового. Но тут Данька опять очень удачно вмешался, отрезвев немного: "А мы пьём на мои трудовые, вот этим горбом заработанные..." — Ну, пей, пей Цимберг, побольше пей, — ответил участковый и непонятно было, что за чувства вложил он в эти слова. — Пей, пей, Цимберг, — вглядывался он в "невыгодных клиентов", что с них возьмёшь, один мелкий карманный вор, а другой нищий. Составишь на них дело, так всё равно никто за них денег не даст, чтоб это дело закрыть. И коричневые глаза его на блинном лице шевелились узкими, хитрыми

тараканами.

Только он отошёл, сразу Вадюня подошёл, всё видевший и ждавший своего момента. Нетерпеливо подождали они, пока пропала угрюмая спина "китайца", а после всё быстро у ларька разложили и выпили, а у Вадюни сегодня это был первый стакан и он "балдел" оттого ещё, что так всё легко ему с утра улыбнулось. В "амбразуру" ларя выглянуло скудное и скучное лицо хозяйки ларя Лидии, рассечённое поперёк здоровенными вдруг губами, напомаженными бордово, густо и липко. Посмотрела она своими живыми стеклянными глазами в неживой стеклянный Вовин и спросила, зашевелив красной гусеницей рта: "Вещей нет ли на продажу?" — "Нету, — заорал Билли Бонс, нету уже, мать твою так, завсегда не даёт слова сказать, всё про шмотки..." Но Лидку не так легко было испугать, она уже этих блатных перевидала, и знала, что им нельзя её не уважать. И сказала она: "Ну, придёшь ты, Вова, когда-нибудь, без денег придёшь, я уж тебе "колотун" успокою, я уж тебе в долг налью!" И после этой страшной угрозы, она победно захлопнула и свои губы и окошко. Только они отошли немного, как Билли Бонс сказал на "китайца" и на Лидку длинную-предлинную матёрную фразу, в которой кроме мата были слова вроде бы совершенно не имеющие отношение к мату, такие, как "медного трактора", "дивизию" и "козу", но все они удачно прилепились к мату и вместе с ними этот мат сделался не только грубым, но и весёлым.

Так дошли они до Днепра, а на берегу его одиноко согнулась маленькая церковь Ильи Пророка. Над воротами, плохо нарисованный мчался куда-то на лошадях Илья Пророк вроде убегал от кого-то, а молнии, которые он бросал, вообще стёрлись. Возле церкви стояли друг напротив друга два местных сумасшедших — Андрюша и Генерал. Андрюшу тем знали, что он подбегал сзади к женщинам, целовал их слюняво и от них, орущих, перепуганных и вытирающихся, убегал, радостно блея козлом. А Генерал был без одной ноги, он прямо и резко ходил на костылях. А прохожих он иногда спрашивал: "Ты в армии служил?" и услышав положительный ответ, отвечал в рифму: "А я на тебя... ложил!". Вот сейчас они стояли друг напротив друга и Генерал безуспешно спрашивал Андрюшу про армию, а

Андрюша беззаботно смеялся в ответ и прыгал козлом, а то мяукал вдруг.

Дохнуло на Даньку духом днепровским, свежим, душу, как после ржавчины, со скрежетом провернуло, обнял он нежно Билли Бонса и Вадюню и сказал: "А ведь мы ещё не очень пьяные, а я ведь вырос здесь..." И оказалось, что все они выросли здесь. Тогда они сели на тёплые ступеньки церкви совсем уже близкими друзьями и стали рассказывать друг другу про детство, а Вадюня вспомнил, что когда-то он под лёд провалился и заплакал сейчас, совсем как мальчонка. А Билли Бонс вдруг от этого вспомнил своё, про немок, и опять разволновался: "Ой, Данька, ой, как мурыжат меня те немки, просто спасу нет, хоть бери и повешайся..." — "Уж я не знаю, — отвечал ему Данька, — у нас тоже такое делали, но я не делал, и оно меня не мурыжит. Я даже бабку одну спас, — вспомнил вдруг он, — ей Богу спас, её сержант Майсурадзе не то убить, не то изнасильничать хотел, а я её спас, так он мне за это зуб выбил". Данька только хотел открыть рот и показать то место, где зуб был, как сзади раздался вазелиновый голос: — "А кто тут Бога вспоминает?" И глядь, а перед ними поп из церкви. Посмотрел он, увидел, что с ними, и спросил: "А чего ищите, дети?" И стал ему Вова рассказывать несвязно и нехорошо свою историю про немок, а оттого, что матюкаться стеснялся, то история жуткой совсем стала. И заплакал поп. Сильно заплакал и упал на колени и крестил их всех и просил за них у Бога. И сказал им напоследок: "Не то ищите, дети мои, не то ищите, и не там ищите...."

Уходя, Билли Бонс бросил десятку в коробку для пожертвований, а Данька бросил туда всю свою мелочь, а Вадюня обтёр её рукавом от пыли. И сказал потом Данька: "Душа горит!" и они пошли в другой большой ларёк на берегу и купили там на каждого по бутылке водки и по плавленому сырку и банку севрюги, которую нечем было открыть и стали пить они без стаканов, прямо из бутылок и гасли они постепенно и все их разговоры и всё человеческое гасло, но Данька сумел подняться и сказал: "Мы пойдём ко мне спать!" И он заставил их подняться и они, взявшись под руки, пошли ко двору Даньки. Шли они, как кораблики во время дикого шторма, их бросало в разные стороны, они падали по очереди, но двигались неумолимо.

Данька уже не соображал, где они, его, как лётчика в плохую погоду вёл "автопилот" в голове, и почему-то вспоминались ему трассирующие очереди в темноте. Так они и дошли до двора и тут их встретила Клава, потому что мальчишки их заметили издали и уже доложили. Вадик сразу упал на цветочную клумбу, обнял её и уснул. Испачканного в земле, с оторванным цветком в грязных пальцах, потащили его волоком домой жена и тёща. А Даньку, враз почерневшая Клава тащила к себе на третий этаж, а за опавшую Данькину руку цеплялся, мычал и тоже тащился Вова Билли Бонс. Ввалились они на длинный балкон, Билли Бонс упал на серую разорванную раскладушку, Данька сел с ним рядом, а на него смотрела Клава. Клаве трудней их всех было. Она уже несколько лет жила с остановившимися зелёными глазами в зелёной тоске того же цвета. И в этом зелёном пруду виднелись на глубине застывшие камни её страданий. Хуже всего ей — залить тоску не могла, водку и измену не признавала. И поэтому застыла она, застывшей жила и двигалась. Посмотрела она стыло и зелено на Даньку и друга его и ушла мучаться дальше.

А Данька голову задрал, и поплыло вдруг всё и показалось ему, что стоит он на краю той могилы, где похоронен был почти весь его штрафной батальон. Встал Данька, свесился через перила балкона над своим двором, как над краем могилы, и всех мёртвых стал по именам звать и руки к ним протягивать. И тут упал Данька с балкона, с третьего этажа. Упал и замер на земле распластанный. И вдруг двор сразу ожил, закричали все, а Клава-то, Клава-то, голубицей упала на Даньку. — "Данечка, родненький, и на кого ты нас покинул и на кого ты нас оставил..." Жутко кричала Клава, и "басурманы" кричали вместе с ней. — "Ох, любила я тебя, Данечка, каждую пуговку на тебе любила, но убили меня, Данечка, и тебя убили..." — Так кричала Клава, и дедушка Лузанский плакал над ней слепыми глазами.

Тут приехала "Скорая помощь". Вышел врач и медсестра в прыщах, а шофёр даже не вышел, ел яблоко и сок языком слизывал с подбородка. Разорвал врач на Даньке рубаху, прислонился стетоскопом к сердцу, вот тут Данька от щекотки и проснулся и врача пихнул. От ужаса все закричали, а Клава сознание потеряла. Стали проверять Даньку, а у него ни одной

царапины, ничего не болит, только отрезвел. Врач головой качает, медсестра прыщи теребит, спрашивают: "Помните ли, что вы упали с 3-го этажа?" — "Врёшь, — тяжело отвечает Данька, — смешите меня, я тут и спал". — "Да нет же", — говорят ему все и тычут пальцем в балкон. — Врёте, специально все врёте", — поднимается совсем Данька. Да и всё равно ему, нет ему сейчас дела до этого. Тащит он своё лёгкое тело к воротам, выходит, доходит до своей будки, влезает в неё, берёт чью-то подошву, в правую руку бритвенный сапожный нож, режет подошву и руки, останавливается, склонился меж руками, слышит, кап-кап, ждёт Билли Бонса.

Михаил Моргулис

АКРОСТИХ.

Памяти Юрия Галанскова.

Герой он был. Красив. И молод, молод!
Алело сердце кровью тяжкой жизни —
Лихой удел: издевки, ссылки, голод...
А он — "лишь выражение" отчизны.
Нет памятника на его могиле.
Снега покрыли холмик одинокий,
Ковыль сухой торчал в снегу уныло,
Одни лишь ветры плакали и выли
В сугробах... там, в Мордовии далекой...

Клавдия Пестрово.

ГОША

Пришла Нина из тридцать седьмой комнаты и сказала, что придавило водолаза, который чинил канализацию возле кладбища. Потом сказала, что он, вроде, целый, только вылезти ему никак нельзя.

Я упрямо уставился в таблицу, из которой выписывал цифры для графика. Канализацию чистили там уже вторую неделю и раньше копали, но всё без толку.

Минут десять я еще писал,но сетка таблицы мерещилась мне решеткой люка, под которой где-то глубоко шевелится серый человек.

Пройти к кладбищу можно только в сапогах, но у меня их не было и я двинулся по дороге, стараясь ступать в глубокие чужие следы. В придорожных канавах еще лежал снег, но воздух пахнул теплой сырой землей и деревенской грязью. К оврагу добрался я по колено в жидкой глине. Только кончилась обедня и из кладбищенской церкви брели старики и старухи.

Возле спуска в овраг стояло человек десять. Старухи крестились и охали, иные наклонялись над дырой в земле и кричали туда болезными голосами.

Я подошел, когда старухи начали расходиться — из земли несся глухой, но разборчивый мат.

Вскоре возле ямы остался я, да высокий, коротко стриженый парень, стройный, с лицом правильным, даже красивым. Был он не заросший, но видно, что брился вчера. На нем была синяя блуза и брюки — очень чистые, совсем не по-рабочему. Однако я решил, что это все-таки рабочий, потому что он наклонился и сказал вниз: "Послушай, ты там целый, нет? Может что надо?"

В ответ послышался мат, потом голос:

— От Горбунова приехали?

— Нет, — тихо сказал парень. — Потерпи, братец, скоро придут — тут уж начальство все твое было. В ответ опять послышался мат и четко:

— Пойди ты на... — Парень подошел еще ближе, к самому краю колодца, присел на корточки.

— Это я, Гоша, — сказал он вниз. В ответ ни звука.

— Ты послушай, я тебе расскажу, как сейчас с дьяком сцепился. Нет, батюшка человек не плохой, а дьяк — сущий жулик, грубиян — слов нет.

Я стоял чуть поодаль и удивлялся гладкости и правильности речи, которую держал Гоша. Что-то выплыло в памяти при этом имени, но толком я вспомнить не мог. То ли это какой-то местный юродивый, то ли просто ненормальный.

Я подошел к колодцу:

— Эй, послушай, если бросить веревку — вытащить тебя сможем?

Гоша, вроде бы раньше и не видевший меня, обернулся: — Были тут инженеры, смотрели — говорят копать надо — завалило его наполовину — не вытащить. Поехали за подмогой, да экскаватор привезут.

Я потолкался еще немного и, видя, что толку от меня здесь нет, захлюпал обратно, уже не выбирая следов.

Гоша продолжал говорить с водолазом, сидя на корточках на самом краю люка.

Из комнаты коменданта, необъятной бабы с маленьким красивым лицом, стал я звонить во всякие аварийные службы, но меня обругали и сказали, что знают и что надо делается.

Я поднялся к себе на пятый этаж, разулся в коридоре и снова сел за таблицы. Но в голову ничего не шло — не по себе было от мысли, что рядом погибает человек, и непонятно, что это за Гоша и почему все считают его ненормальным, хотя говорил он превосходно. Но, может быть, это не тот Гоша? — Нет, я знал, что это он, хотя никогда его не видел.

Через час я снова пробрался к оврагу. У колодца в той же позе, на корточках сидел Гоша и размеренно говорил: — Бабы совсем перестали денег давать, я ведь и не прошу никогда, но

раньше одна подойдет, другая, третья — поговорят маленько и вежливо так предлагают — ну я и не отказываюсь. Чего же отказываться? А тут этот дьяк, видно, наговорил чего. Гоша увидел меня и замолчал.

— Ну, как там дела? — спросил я его, будто старого знакомого и он ответил мне дружелюбно, ровно и спокойно.

— Ждем вот. Что-то долго не едут — он ведь пятый час там, и мне уйти нельзя.

Я звонил — говорят знают, — сказал я. Гоша выпрямился, потянулся всем телом.

— Ноги затекли. А времени сколько, не скажете?

Я посмотрел на часы, хотя и без того знал, что уже два.

— Значит, третий час я здесь, — сказал он ровно. — И уйти нельзя.

— Пойду еще позвоню, — сказал я, чтобы уйти, хотя надо, наверное, было остаться.

— Позвоните, — согласился Гоша и я пошел.

Вернулся я только вечером. Гоша все сидел у люка.

— Не приезжали? — спросил я.

— Были, — спокойно ответил Гоша. — Повертелись чего-то, вроде бы экскаватора нет, а бульдозером нельзя.

— Как он там?

— Тяжко ему, слабнуть стал.

Гоша помолчал.

— Чего же вы начальство-то отпустили?

— Не моё это начальство. Я им чужой и его вовсе не знаю.

— Чего ж их никого не оставили, подежурили бы.

Гоша ничего не ответил, посмотрел в мою сторону, но глаз я его не видел — стемнело. Я постоял еще с полчаса, продрогший, и сказал, что опять пойду звонить. Я и в самом деле пытался звонить, но никто нигде не снимал трубку.

Я подумал, что необходимо сегодня построить графики, я и так безобразно растратил время. Но все-таки что-то делать было надо и я зашел в тридцать седьмую. Нина чертила, сидя на кровати, поставив доску на колени, а другой ее конец облокотив на спинку стула. Валя стирала в тазу на подоконнике, Надя лежала на краю кровати в мятом платье, у стены, закрыв глаза, лежал в трусиках прыщавый белобрысый парень.

Я сказал про водолаза, что его до сих пор не спасли, но девушки промолчали. Потом я сказал про Гошу и что тот уже почти восемь часов там. Они переспросили, тот ли Гоша и минут через пять Нина и Валя уже двинулись в путь.

— Потеплей одевайтесь, — сказал я в надежде, что так они побудут там подольше. Надя отвернулась к парню, тот делал вид, что спит и даже похрапывал.

Утром я поднялся рано, много раньше обычного. В овраге уже стояли два трактора, один с ковшом; суетились спасатели.

— Как он там? — спросил я у ближайшего рабочего.

— Плохо, но наверно выдержит, парень молодой, часа через два откопаем.

— А что же раньше думали?

Рабочий пожал плечами: — Начальству виднее.

Я поискал глазами Гошу, его не было.

В вестибюле Нина торопливо проскочила мимо меня с портфелем. Я окликнул ее.

— Долго вы вчера там были?

— До двенадцати!

— А Гоша?

— Спит у нас в комнате. В семь утра пришел, дождался пока спасатели приехали.

Нина задержалась в дверях.

— Послушай, откуда ты его знала?

— Гошу? — она обернулась, — не знала я его... Слышала только, так о нем все слышали...

*

Не видел я Гошу до середины лета. Вскоре после спасения водолаза — а вытащили его только к вечеру второго дня, полуживого, с поврежденными ногами — уехал я из города.

Не знаю, ходил ли туда Гоша после того, как проспался в тридцать седьмой, увидел ли человека, вдвоем с которым провел почти сутки без сна и еды, только в общежитии те три дня, что оставались до моего отъезда, я его не видел. Впрочем, это ничего не значило, он мог и не выходить от девчонок, чтобы не привлекать к себе внимания, а может и в самом деле его не было.

В конце июля — время для Урала жаркое, а для меня

особенно тяжелое, потому что работал я и днем и вечером, возвращаясь в общежитие иногда в первом часу ночи, — будучи по делам в политехническом институте, зашел я в кафе "Космос".

Кафе это отличалось от большинства столовых тем, что можно было не толкаться с подносом в очередях и не носиться в поисках вилок по залу, а сесть спокойно в удобное кресло, развернуть газету и дожидаться, пока неторопливая официантка подойдет и примет заказ.

Людей в зале было много, но не до отказа. Чем ближе к кухне, тем больше попадалось свободных мест. У самой двери, откуда официантки выносили еду, за голым, не сервированным столом я увидел Гошу. Несмотря на жару, он был в той же синей, по-прежнему чистой, только выгоревшей, спецовке. Сидел он один, лицом к залу. Перед ним стояли три стакана, до половины налитые, как подумалось мне, водкой, солонка и больше ничего. Первым мои желанием было подойти, пожать его руку, услышать его ровный, глубокий голос. Но стаканы с водкой переменили мое настроение. Как-то сразу угас интерес и то уважение, которое родилось к нему весной на кладбище. Я продолжал следить за ним, но почти без любопытства.

Он сидел поодаль от двери в кухню, но вельзя сказать, чтобы вовсе не мешал носить подносы. Однако официантки будто не замечали этого и привычным движением огибали его стул.

Гоша смотрел на стаканы, изредка поворачивая голову к новым посетителям. Если посетители проходили в глубь кафе, ближе к нему, он переставлял стаканы, менял их местами. Другой раз он медленно опускал пальцы в солонку и шевелил ими над одним из стаканов. Иногда он подносил стакан к губам, но я был уверен, что глотка он не делал. Все эти движения были удивительно спокойны и растянуты. На этом фоне даже ленивые официантки казались стремительными и бойкими.

Красивая, чуть вульгарная женщина, лет под сорок, со стройными, очень открытыми ногами, приняла у меня заказ. Она уже собралась уйти, когда я спросил:

— Не мешает вам Гоша?

Она вскинулась на меня.

— А вам-то чего? Сели и сидите, он же вас не трогает.

Я хотел было обидеться на нее, но потом спросил еще, потому что почувствовал: больше об этом с ней говорить не придется.

— За водку-то он хоть платит? — она сжала яркие, чуть вялые губы, отвернулась, бросив на ходу: "Он сроду-то ее в рот не брал".

Я стал с прежней симпатией следить за Гошей, стараясь поймать его взгляд и надеясь, что он меня узнает.

Официантка, недружелюбно глядя на меня, поставила обед, вполне съедобный по местным понятиям: мутный бульон с яйцом, белесый бифштекс с рыжей тушеной капустой и чай в заляпанном стакане. Я с аппетитом занялся едой, потому что шел пятый час, а во рту у меня с утра, кроме общежитского чая с вареньем, ничего не было. Я не заметил, как Гоша поднялся и подошел к голой, грязно-серой стене, отделяющей зал от кухни, и начал петь. Он стоял высокий, стройный, чуть заросший суточной щетиной, глядя поверх посетителей и пел:

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда;
И любят песню деревни и села,
И любят

Голос у него был чистый, но звучал неуверенно, невесело, будто он боялся, что ему не дадут допеть. Действительно, реакция зала оказалась совершенно для меня неожиданной. Несколько человек на него зашикали, я даже расслышал громкое: "Гоша, сядь", и он, прервав на полуслове куплет, неторопливо сел на свое место. Ни тени обиды или смущения не появилось на его лице и я подумал, что все это происходило уже много-много раз, будто по намеченному плану и каждый играл здесь заранее отведенную ему роль: и Гоша, и посетители кафе.

Расправившись с обедом и отсчитав рубль двадцать официантке (гривенник сдачи я не взял, что, кажется примирило ее со мной), я остался сидеть за столиком, надеясь все-таки, что Гоша меня заметит.

Вскоре к моему столу подошли новые клиенты и Гоша посмотрел на них. Наши взгляды встретились и Гоша без

улыбки, но приветливо кивнул. Я подошел к его столику, мы обменялись крепким рукопожатием.

— Вы меня помните? — спросил я.

— Да, — ответил он ровно, — вы Женя.

— А я думал, вы меня не узнаете.

— Почему же? У меня память отличная. Садитесь, — предложил он. — Вон кресло есть свободное.

Я взял кресло и пододвинул к Гошиному столу. Мы помолчали немного. Надо было как-то завязать разговор и я спросил про водолаза.

— Нет, — ответил Гоша, как его выташили не видел, проспал до вечера.

— Так и не познакомился, — сказал я.

— Не пришлось свидеться, — подтвердил он.

Опять помолчали, он сделал маленький глоток. Сказал, ставя стакан на стол:

— Воду пить надо понемногу, чуть подсоленную. Я согласно кивнул. Спросил опять про тот апрельский день, как он попал на кладбище, хотя и знал, что шел Гоша из церкви. Разговор не клеился и чувствовал я, что это из-за меня. Опять что-то повернулось в моем отношении к Гоше. Наверное, это было из-за пения. Оно нарушило мое представление о нем, вернее не нарушило, а просто повернуло иной гранью.

Может и разговорились бы мы, но времени у меня, как всегда, было в обрез. Мы все же обменялись несколькими словами о житье-бытье. Он спросил, как учеба, я пожаловался, что тяжело. Гоша посочувствовал:

— Пустое дело.

Я промолчал, но посмотрел на него вопросительно.

— Я три года отучился в политехническом, на горном, бесполезное, погибшее время, — пояснил он.

— А чего бросил?

— Причины разные были, — сказал он, делая ударение на первом слове, отчего весь смысл ответа стал таким законченным, что и спрашивать дальше вроде не о чем. Однако, сделав очередной глоток и помедлив с минуту, он добавил:

— Вот с церковью связался.

Я оживился было, но Гоша как-то необычно выпрямился,

вроде бы напрягся и стал отодвигать стакан. Я не сразу сообразил, в чем дело, но тут к столу подошла пожилая, ладно одетая женщина, с приятным, волевым лицом. Она подождала, пока я попрощался с Гошей.

— Приходите, — сказал он, пожимая руку, — я тут каждый день бываю.

Оглянувшись, я увидел, что женщина вынимает из хозяйственной сумки мисочку и пакет и ставит перед Гошей. Он наклонил круто голову и заглянул в сумку. Сказал глухо, не поднимая головы: — Это что, все, мамаша?

Дальше их разговора я не слышал, потому что остановиться было неловко, а в кафе стоял глухой шумок заведения, где не подают, но обильно потребляют спиртное.

*

Я благополучно кончил свои эксперименты, и наступила вольная жизнь. Но что может быть обременительнее этой жизни без обязанностей, без занятий от и до... Это тяжелее каторги, потому что та когда-то кончается. А если нет воли и сил расковаться, ты всегда на последнем дыхании, всегда что-то должен, что-то не успеваешь.

Я, конечно, не выбрался в "Космос" ради Гоши, хотя много о нем думал и расспрашивал кого можно. Дел в политехническом не было и только зимой, когда уральская зима по горло занесла город, привелось мне побывать в кафе на главном проспекте. К этому времени я знал, что Гоша в самом деле прошлым летом ушел после третьего курса из института. Сдал свою последнюю сессию с тройками, чего до того не случалось с ним.

Все лето провел он в кладбищенской церкви, то ли прислуживая, то ли собирая подношения. Ни батюшка, ни дьякон этому не противились, потому что прихожан при Гоше прибавилось, даже молодежь появилась. Однако осенью призвали Гошу в армию. Что и как там было, никто толком не знал, говорили, что вроде мать справки какие-то выхлопотала, но зимой вернулся Гоша с белым билетом и снова подался в церковь.

Что-то у него с дьяконом вскоре разладилось и как раз в то время повстречал я его в роли утешителя заваленного водолаза.

Все эти слухи подтвердили мое мнение о Гоше и все-таки я стал вспоминать странноватость его прозрачных глаз и не раз спрашивал себя, почему он не ушел бичевать. Но тут же отвечал себе: разве это единственная форма ухода? Чем она отличается от того, что сделал Гоша? Может быть сделать, как он, еще трудней? Ведь надо "уйти", оставаясь среди людей. Для этого нужно много сил.

В тот вечер мы вышли из института вместе с моим процветающим шефом. Он принимал дела проректора по науке, не бросая впрочем всех остальных дел, и потому задержался. Жил он неподалеку от кафе "Космос" и мы решили зайти туда поужинать.

Было около десяти и перед кафе толпились парочки. Я уже настроился на обычное свое чаепитие в общежитии, но шеф мой что-то сказал швейцару и нас пропустили.

От удобных кресел и пальм в кадках пахнуло на нас теплом. Звучала музыка польского автомата.

В гардеробе, одновременно служившим и холлом, в низком кресле сидел Гоша, подняв высокие колени и двигая в ладони полупустой стакан.

Разделся я последним, пропуская шефа в зал. Мы по-хорошему поздоровались с Гошей. Он жестом хозяина предложил мне занять место в соседнем кресле.

— Что-то давно вас не видно, уезжали куда?

— Да нет, все времени не было. А чего вы здесь сидите? — спросил я, заранее чувствуя неуместность вопроса. Но Гоша не смутился.

— Полно сегодня, хорошо хоть отсюда не прогоняют.

— Пойдемте с нами посидим, — предложил я искренне, но надеясь, что он откажется.

Гоша ответил сразу: — Я здесь буду.

Очень мне хотелось побыть с ним, но пора было присоединиться к шефу.

— Вы еще не уходите? — спросил я, поднимаясь.

— Посижу, — ответил Гоша и отпил из стакана.

Вечером в кафе можно было взять коньяк и шампанское, но шеф мой отказался и от того, и от другого. Он не был трезвенником, но зная, что алкоголь вредит здоровью, потреблял его

только тогда, когда обстоятельства этого требовали. Я не был этим "обстоятельством", и поэтому сидел злой, терпеливо ожидая, пока шеф тщательно прожует котлету и мелкими глотками, почти как Гоша, выпьет чай.

Кафе закрывалось в одиннадцать и к тому времени, когда мы поднялись из-за стола, зал был пуст и свет уже притушили. В гардеробе разговаривали Гоша и официантка, моя знакомая еще с лета. Гоша то ли не захотел, то ли действительно не заметил меня. Они говорили вполголоса, пока мы стояли в очереди за пальто, потом она игриво улыбнулась и торопливо ушла в зал. Через несколько минут она вышла одетая, с большой хозяйственной сумкой и кивнула Гоше. Тот перегнулся через барьер гардероба, достал откуда-то снизу теплую солдатскую куртку и неторопливо двинулся вслед за ней.

Мы вышли следом. Я проводил их глазами до автобусной остановки. И он уехал. Уехал к этой немолодой красивой женщине.

Шеф мой брезгливо скривил губы, ничего не сказав. Даже презрение к этому Гоше было ниже его достоинства. Верно и он был наслышан о Гоше, потому что слишком много прочитал я в его лице.

Я медленно шел рядом с шефом, очень медленно, совсем медленно, как делает Гоша и думал о том, как важно решиться и однажды переступить, и как много для этого надо мужества, которого у меня нет.

Евгений Любин

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ

ОСЕННЯЯ ВЕНЕЦИЯ

Я иду вдоль Канала
По Венеции Дожей,
На Васильевский Остров
Щемяще похожей.
Словно тронуты струны
Чьей-то легкой рукой,
Влажный ветер с лагуны
И туман над рекой,
И гранит этот мокрый,
Те же мостики, львы —
У Фонтанки, у Мойки
И в разливе Невы.
Но нельзя обернуться
И потрогать нельзя,
На речном пароходе,
По Каналу скользя.
Я на площадь Сан-Марко
Выхожу, не спеша.
По-сентябрьски не жарко
И томится душа.
И в тоске этой острой
Слиты радость и грусть, —
На Васильевский остров
Больше я не вернусь.

Татьяна Филановская

ПРОБЛЕМА СВОБОДНОГО ВЫБОРА У ДОСТОЕВСКОГО

Произведения Достоевского не раз рассматривались как особый жанр авантюрно-детективного романа и сравнивались с новеллами Эдгара По и с романом-фельетоном Эжена Сю. Леонид Гроссман писал в своей известной книге "Достоевский":

> "По всем правилам эпопеи приключений Достоевский группирует героев на противоположных позициях духовной просветленности и нравственного падения, окутывая тайной главные события... Здесь ощущаются сюжетные ходы "Парижских тайн" Сю..."

Михаил М. Бахтин, цитируя в работе "Проблемы поэтики Достоевского" слова Гроссмана об умении Достоевского "сочетать в одном художественном создании философские исповеди с уголовными приключениями", принял описательную характеристику Гроссмана. Однако Бахтин считал объяснение Гроссмана недостаточным и объяснил существование "несовместимейших элементов" в произведениях Достоевского своей теорией полифонии, т.е. распределением этих элементов "между несколькими мирами и несколькими полноправными сознаниями", говоря, что "эти миры, эти сознания с их кругозорами сочетаются в высшее единство, так сказать, второго порядка, в единство полифонического романа".

Известный французский литературовед Жан Итье считал, что Достоевский, как и Виктор Гюго, близко подходил к жанру романа-фельетона. Петр М. Бицилли в статье о внутренней форме романа Достоевского присоединился к этому мнению и

объяснил причины тяготения Достоевского к роману-фельетону тем, что "Достоевский испытал на себе прямое воздействие романов Эжена Сю и ему подобных". Николай М. Чирков в работе о стиле Достоевского рассматривал историю убийства Федора Павловича Карамазова как типичную детективную историю, но подчеркивал связь детектива с психологическим планом романа, основной темой которого явилась новая вариация темы преступления и наказания:

> "Интрига романа, имеющая осью убийство Федора Павловича, этот резко выраженный детектив, только оттеняет и заостряет углубленную психологическую трактовку темы преступления и суда".

В книге "За и против" Виктор Шкловский писал, что, замышляя роман "Преступление и наказание", Достоевский оставил мысль о "рассказе преступника", совершившего преступление восемь лет назад, и отказался от мысли дать большой промежуток между преступлением и наказанием, — "может быть, потому, что пришел к решению убыстрить действие, применив в философском романе некоторые достижения детективного романа". Философ Юрий Ф. Карякин не согласен с оценкой этого романа как детективного. В статье о философско-этической проблематике этого романа он писал:

> "Только в "Эпилоге" Раскольников и сознает всю глубину своего преступления и находит в себе силы преодолеть неправоту своих целей. "Преступление и наказание" — это не детективный роман о преследовании, поимке, признании и юридическом наказании преступника, а философско-психологический роман о трудностях его нравственного раскаяния и, если угодно, о механизме преодоления этих трудностей".

Мнения "за" и "против" оправдываются анализом разных аспектов композиции романов Достоевского. Действительно, в построении многих его произведений, особенно романов "Преступление и наказание", "Бесы" и "Братья Карамазовы", большую роль играют характерные черты детективного романа: сложная интрига, преступление, выявление преступника и мотивов его преступления, а также черты, присущие интуитивному детективу, основанные на догадке и глубоком проникно-

вении в психику преступника и окружающих его лиц. По мнению американской исследовательницы развития жанра детективного романа Альмы Е. Мерч, значительное количество популярных романов и рассказов, появившихся в Англии, Франции и Америке за последние 100 лет, представляют собою варианты детективной истории, которая оформилась как особый жанр повествования именно в тот период, когда Достоевский начинал свою писательскую деятельность — в сороковых годах прошлого столетия. Родоначальником детективной литературы считается Эдгар Аллан По. Его новеллы "Убийство на улице Морг" (1841), "Тайна Марии Роже" (1843) и "Украденное письмо" (1844) положили начало анализу и раскрытию запутанной тайны.

За Эдгаром По последовали Уилки Коллинз, Чарльз Диккенс, Онорэ де Бальзак, Виктор Гюго, Честертон и др. В середине 19-го века этот жанр достигает большой популярности у читателей многих европейских стран. Общую характерную черту для всех видов детективной истории составляет методическое раскрытие точных обстоятельств таинственного события. Виктор Шкловский посвятил в 1925 году статью разбору "новеллы тайн" и дал свою девятиступенчатую схему детективной истории, основанную на анализе структуры новелл Конан Дойля. Сплетение разнообразных элементов криминальной, приключенческой и детективной историй представляет богатое поле для фантазии автора. Но при всем различии подхода к теме разных авторов сюжетосложение этого жанра подчинено одному *главному принципу* — разгадка и объяснение преступления героем-детективом отодвигается в конец повествования.

Известно, что Достоевский с детства был увлечен романами тайн и ужасов Анны Радклифф, затем популяризовал в своем журнале "Время" творчество Эдгара По. Со студенческой скамьи Инженерного замка он был хорошо знаком с романами Бальзака и Эжена Сю; позже он высоко ценил роман Гюго "Отверженные" и романы Диккенса. Достоевский хорошо знал "the rules of the game" — правила построения криминально-детективного романа и во многом им следовал. Так, его романы изобилуют неожиданностями, исключительностью ситуаций и напряженностью действия, внезапными его поворотами, неизвестностью и томительным ожиданием развязки. Достоевский был не-

превзойденным мастером создания исключительной напряженности действия. Однако Достоевский не ограничивается использованием уже известных схем и элементов детективного романа. В принцип построения своих произведений Достоевский ввел, в соответствии со своим творческим этическим замыслом, весьма существенные новшества, которые коренным образом отличают его романы от традиционного детективного романа. Обычные детективные истории построены не по принципу действия, развивающегося вперед, а наоборот — всё расследование и распутывание подчас очень сложного клубка тайн обращено *в прошлое.* Вся история преступления дается ретроспективно. В произведениях Достоевского всё действие развивается на глазах читателя и *обращено в будущее.* В обычных криминально-детективных историях преступник спрятан среди многих других персонажей. У Достоевского в романах "Преступление и наказание", "Идиот" и "Бесы" преступник обозначен сразу, с первых же глав; в "Братьях Карамазовых" читателю только на короткое время предоставляется догадываться, действительно ли Дмитрий проник через окно в спальню своего отца, и справедливо ли подозрение, павшее на Смердякова. Элемент "загадки" обычной детективной истории почти полностью отсутствует у Достоевского — напряженность действия перемещается на решение, к которому придет человек: совершит ли он преступление, т.е. преступит ли он религиозно-этический закон, а затем — сознается он или не сознается в совершенном преступлении, отдаст ли он себя на суд своей совести, людей и властей или будет стремиться избежать судебного наказания.

Само название романа — "Преступление и наказание" ясно раскрывает характерную особенность обработки Достоевским криминальной темы: прибавлением слова "наказание" он выводит действие в область психологии и этики. Тема Достоевского *не преступление* само по себе. Уже ранний план романа намечал три части: решение убить ростовщицу, мотивы этого решения и причины раскрытия преступления. В дальнейшем этическая окраска всё усиливается. Персонажи Достоевского всегда стремятся выйти за пределы конечного, они ищут главного смысла в бесконечном, в том, что простирается дальше не-

посредственного опыта человека.

В его романах дан ответ на все традиционные вопросы криминально-детективной истории: показано *как* было совершено преступление, *кто* его совершил и, особенно, *почему* преступление было совершено именно данным лицом. Помимо этого, там, где обычно опускается занавес детективной истории, Достоевский открывает *новую перспективу* и прослеживает отношение преступника к своему преступлению — существует ли для него раскаяние, сожалеет ли он о происшедшем, откроется ли перед ним путь к нравственному обновлению и воскресению и найдет ли он в себе силы начать жизнь сызнова? Почти все преступники у Достоевского, несмотря на их моральное падение, всегда отдают себе отчет в том, что *то, что они сделали, есть преступление*. По убеждению Достоевского, высказанному им в 1873 году в статье "Среда", "... ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь..."

Достоевский вносит в свои романы черту, отсутствующую в литературе его времени: намек на возможность трагического исхода. Часто совершение преступления, и даже определенными лицами, дается в начале повествования, трагическая развязка как бы *предвосхищается,* что, однако, не умаляет напряженности ситуации. Этот композиционный прием, отличающий структуру произведений Достоевского от детективного романа, обусловлен тематически и находится в полном соответствии с авторским замыслом. Весь дальнейший ход действия, всё развитие психологического конфликта строится на разгадке тайны человека. Достоевский сосредоточивает свое внимание, так же как и внимание читателя, на борьбе, происходящей в уме и в душе одного или нескольких действующих лиц: *как* именно решится конфликт, под влиянием каких обстоятельств и размышлений придут действующие лица к тому или иному решению, *как* они поступят — эти вопросы определяют с самого начала повествования весь ход событий. Достоевскому важно решить вопрос: удержится ли человек, находящийся в состоянии кризиса, в рамках общепринятых вечных нравственных норм, выраженных в десяти Заповедях, или же он преступит религиозные и

этические законы, отделяющие обычный поступок от греха и преступления

Поразительно, как часто употребляются Достоевским слова "зло", "злой", "злость", "злоба" и "злобный" для характеристики душевного состояния своих персонажей. Эти слова многократно встречаются во всех его произведениях: движимы злобой подпольный человек и Раскольников, Настасья Филипповна и Рогожин, Аглая, Ипполит и Верховенский-младший, Ставрогин, Дмитрий и Иван Карамазовы. История человечества показывает, что зло имманентно природе человека. Наличие зла в человеческой душе было осознано христианством, и борьба за духовную сущность человека, за освобождение его от соблазнов зла, за духовное противление мировому злу была начата христианской религией. Потенциальная возможность противления злу, заложенная в каждом человеке, привлекла внимание Достоевского, и столкновение человека с эмпирическим злом, существующим вне его, во внешнем, объективном мире, как и его борьба со злом, потенциально бытующим в его собственной душе, стала главным предметом изображения в его произведениях.

Зло было для Достоевского "жестокой оболочкой, под которой томится вселенная", и разбить которую могло бы и само человечество, если бы оно искренне захотело. Поэтому и занимает в его творчестве такое большое место духовное состояние человека в период столкновения его со злом в тот момент, когда ему самому следует выбрать свой путь — путь противления злу или же путь, ведущий к торжеству зла в нем самом. Но и в этом последнем случае Достоевский не опускает занавеса, не оставляет своего персонажа во власти зла — он хочет показать ему путь, ведущий к освобождению и очищению от зла. Поэтому анализ собственного поведения человека, на душе которого лежит преступление, даже в том случае, если он и самому себе не желает признаться в своей вине, представляет собою вторую необходимую ступень духовной борьбы со злом. Подпольный парадоксалист, Раскольников, Свидригайлов, Рогожин, Ставрогин, муж Кроткой, Дмитрий и Иван Карамазовы — таковы образы, запечатленные художником-философом в момент встречи их со злом.

Устами "смешного человека" высказывается заветная мысль: "Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей".

Почти во всех своих произведениях Достоевский ставит действующих лиц перед проблемой выбора *как* им следует поступить в решающий, кризисный момент их жизни. От этого решения зависит не только их дальнейшая судьба, но и судьба многих, окружающих их людей. В статье "Среда", актуальность которой многократно возросла в наши дни, Достоевский выступает против оправдания преступления средой; он указывает, что христианство, "вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит однако же нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности..."

Герои Достоевского вновь становятся перед дилеммой, поставленной Блаженным Августином перед христианином: posse non peccare (могу не согрешить) или non posse non peccare (не могу не грешить). Образ Христа, его пресветлый лик был для Достоевского высшим идеалом именно в его "нравственной недостижимости", в его "чудесной и чудотворной красоте", как писал Достоевский в 1873 году в статье "Старые люди". Достоевский предоставляет своим героям полную свободу воли и выбора в совершении поступков. Его взгляды на свободу этического выбора близки к учению Блаженного Августина и к его объяснениям этой проблемы. Как известно, в своей блестящей книге диалогов с Эводием, "De libero arbitrio", Блаженный Августин обсуждает проблему свободы выбора, особенно подчеркивая ответственность, которую накладывает на человека свобода выбора, т.к. эта же свобода может привести к греху, а грех порождает зло. Разум человека становится рабом его страстей также по собственному выбору этого человека. Духовному сознанию человека дан выбор между доброй и злой волей (Книга I, 13. 26), и нравственная сила человека состоит

именно в его способности сопротивляться соблазнам злой воли. Августин объясняет Эводию, что Бог даровал человеку свободный выбор его поступков, чтобы тот сознательно стремился к добру и справедливости (Книга II, 1/1, 2, 3; 2/3, 4). Человек сам выбирает свой путь, для чего ему часто нужно освободиться от злых советов и соблазнов, которыми его искушают другие. "Извращенная воля человека причина зла", отвечает Августин на вопрос Эводия о том, почему люди делятся им на разные категории — по их отношению к возможности совершения греха. Проф. прот. В. Зеньковский, давая в книге "Апологетика" христианское истолкование зла, пишет: "Суть же зла состоит *в разрыве с Богом;* этот разрыв есть акт *свободы* (у ангелов и у людей)". Далее прот. Зеньковский объясняет, что "в тварном существе, каким является человек, дар свободы *должен пройти через испытания,* чтобы окрепнуть в своей преданности Богу". Н. Бердяев, в книге "Философия свободного духа", уточнил свое понятие свободы, говоря, что "свобода коренится не в воле, а в духе и освобождается человеком не усилием отвлеченной воли, а усилием целостного восприятия". Проблема решения, к которому приходит человек в результате всего комплекса его убеждений и его связи с жизнью, с небывалой в художественной литературе остротой воплощена в произведениях Достоевского. Как писал прот. Зеньковский в "Истории Русской Философии":

> "Можно сказать, что никто — ни до, ни после Достоевского — не достигал такой глубины, как он, в анализе движений добра и зла, то есть в анализе моральной психологии человека..."

Бердяев также считал Достоевского величайшим глашатаем христианской свободы и писал:

> "Проблема свободы духа стоит в центре проблематики христианского сознания. С ней связана проблема зла и искупления, проблема человека и его творчества".

Анализ произведений Достоевского в этом аспекте, рассмотрение многочисленных случаев предвосхищения узлового действия, почти всегда преступления — нарушения шестой Заповеди "Не убий", а также душевного состояния действующих

лиц в период, предшествующий окончательному выбору ими решения, показывает, что именно эта пневматологическая проблема центральна для всего творчества Достоевского.

* * *

Уже в ранних произведениях Достоевского в самом начале повествования дается намек на возможную развязку — главное трагическое событие как бы предвосхищается, герои как будто уже чувствуют отдаленный отзвук шагов неизбежной и неумолимой судьбы. Но сами они еще не участвуют активно в изменении хода своей жизни.

В "Бедных людях" розовое настроение Макара Алексеевича, нашедшее выражение в его первом письме к Вареньке от 8-го апреля, разбивается ее ответом, в котором она говорит о страшном событии в прошлом — "назад и посмотреть страшно", исковеркавшим ее судьбу: "Век буду плакаться на злых людей, меня погубивших!" Достоевский оставляет в неизвестности начало отношений между Макаром Алексеевичем и Варенькой; читатель знает только, что Макар переехал в комнатку, отделенную перегородкой от кухни, чтобы быть поближе к Вареньке. А она полна благодарности за его защиту и заботу: "Я умею оценить в моем сердце всё, что Вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти". Девушкин стыдится ходить навещать Вареньку, боясь людских сплетен, страшась, как бы это не повлекло каких-либо изменений в сложившейся ситуации. Боязнь какого-либо изменения всё усиливается: первым грозным признаком готовящейся перемены было появление на горизонте Анны Федоровны, которая о Вареньке "всё выведывает".

Когда Варенька пишет Макару о своем намерении принять место гувернантки, он пишет в ответ, что разлука с нею будет его гибелью: "Пойду к Неве, да и дело с концом". Визит богатого старика, предложившего Вареньке переехать в "прекрасную квартиру, которая ей ничего не будет стоить", усилил страх Макара перед надвигающейся разлукой. Когда в середине сентября Быков появляется в Петербурге, Варенька уже чувствует в этом какой-то знак судьбы. Через неделю визит к ней Быкова с его предложением жениться на ней и этим "возвратить

ей честь" решил и её судьбу и судьбу Макара. После ухода Быкова Варенька написала Макару: "Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась".

Она увидела, что она *должна* согласиться на предложение Быкова. Её решение было вынуждено обстоятельствами: слабым здоровьем, бедностью, беззащитностью, её страданием от того, что она всегда чувствовала себе обесчещенной от окружавших ее сплетен. Выбирать ей было не из чего — судьба её была уже предрешена всем её окружением: "Я по крайней мере не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой", — пишет она Макару. Положение Вареньки было безвыходным, гибель ее была неотвратима. У нее была только иллюзия выбора; она знала, что браком с Быковым и отъездом в степную деревню она убьет Макара — он или действительно бросится в Неву или под колеса ее кареты, или сердце его не перенесет разлуки, или же он будет топить свое горе в вине и погибнет где-нибудь на улице. Она старается заглушить свои мысли вздорными заботами о приданом, заказанным по приказу Быкова, но фальбала и вышивки не спасают ее от тоски, которая будет, вероятно, делаться всё острее. Но ответственности за судьбу Макара она еще не чувствует, она лишь грустит о потере единственного человека, который ее любил больше жизни.

В "Двойнике" уже в двух первых главах предвосхищается печальный конец этой "петербургской поэмы". Голядкин проснулся, но он не уверен проснулся ли он, или всё еще спит, "наяву ли и в действительности ли всё, что около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных грез". Видимый, реальный мир уже смешивается с его грезами, с миром, существующим в его больном сознании, но который он задумал превратить в реальность. Уже взгляды Петрушки, с "необыкновенным любопытством" следящим за каждым движением своего барина в то роковое осеннее утро, предвещают недобрый конец. Визит к доктору медицины Крестьяну Ивановичу показывает, что Голядкин уже полностью во власти своей идеи и видит себя обманутым и обойденным злыми врагами, которыми он считает своих начальников и сослуживцев, не исключая и своего слуги Петрушки. Все дальнейшие действия Голядкина и отношение к нему его окружения развивают его

идею о заговоре против него всех этих врагов, которые "состряпали дело" и выдумали про него сплетню, чтобы "нравственно убить человека".

Поступки Голядкина не подвергаются более сознательному контролю его разума — в тот момент, когда, стоя в сенях возле черной лестницы в доме Олсуфия Ивановича, он уже раздумывает над тем, что лучше было бы пойти домой и "дома бы чаю теперь выпить чашечку", он вдруг бросается в буфетную, "словно пружину какую кто тронул в нем".

Далее он действует "двигаемый тою же самой пружиной, посредством которой он вскочил на чужой бал непрошеный". Его действия уже не мотивированы сознательным намерением: "рок увлекал его". Не прояснил сознания Голядкина и совет, данный Антоном Антоновичем на другой день после появления двойника на набережной Фонтанки, сходить к доктору и посоветоваться с ним, т. к. Антон Антонович заметил, что Голядкин выглядит нездорово, и участливо сказал ему: "У вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть". И только сидя опять в карете, везшей его на этот раз не навстречу его мечте, как утром три дня назад, а куда-то за город, в психиатрическую больницу, Голядкин на мгновение прозрел и "схватил себя за голову. Увы! он это давно уже предчувствовал!"

В более поздних произведениях — таких, как "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы" — предвосхищение возможной трагической развязки конфликта дается в самом начале романа. Решение вопроса — будет или не будет совершено действие — во всех случаях преступное — зависит от выбора главного персонажа. Достоевский выбирает в качестве главных действующих лиц не Газиных и Орловых, для которых нет никаких нравственных преград и которые уже утратили идею различия между добром и злом. В поле внимания автора стоят люди, голос совести которых еще не заглох, но которые пользуются своей свободой воли и свободой выбора не для совершения доброго поступка, а для выражения злобы, презрения к людям, желания отомстить за испытанные унижения. Особенность структуры романов Достоевского состоит в том, что он держит читателя в напряжении не обычными методами детективного романа — неизвестностью

как и *кем* было совершено преступление; он делает читателя свидетелем внутренней борьбы действующих лиц, их беспокойства и тоски в момент принятия решения. Какой выбор сделают они, какое начало возьмет верх — пойдет ли герой романа по пути преступления или же он убедится, что усилием воли он может удержать себя от греха — вот те вопросы, на которых сосредоточено внимание автора и читателя.

Проблема свободной воли подробно разрабатывается Достоевским уже в "Записках из подполья". Именно здесь, в форме далекой от детективно-криминального жанра, провозглашается, что подлинная суть человека заключается в его духовной свободе. По выражению проф. В. В. Зеньковского, в "Записках из подполья" "мы находим такой *апофеоз* человека, который превращает его если не в центр мира, то в важнейшее и драгоценнейшее явление". Автор "Записок из подполья" убежденный противник детерминизма и поборник свободной воли. Хотение для него это путь утверждения этической ценности и независимости человека. Подпольный человек подвергает сомнению всё, отвергает причинность, выгоду, разум и законы природы. Он защищает свой идеал свободного человечества, но тут же впадает в парадокс, который он так до конца и не может преодолеть. Свободу воли он начинает понимать чисто эгоистически, как "свою глупую волю", как "свое собственное вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз". Он заявляет, что "человеку надо — одного только *самостоятельного* хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела..." Идея ответственности за свои поступки, идея направленности к добру здесь уже отсутствует. Хотя подпольный парадоксалист и рекомендует себя не только не злым человеком, но даже и не озлобленным, он неоднократно сознаётся, что свои поступки он совершает "со злости", хотя и знает, что часто вредит больше всего самому себе. Его стремление поступать по своей воле выродилось в своеволие и стало порождать зло, которое он причиняет и себе и другим людям. Он считает себя умнее всех, окружающих его людей, но его поступки не подтверждают этого мнения.

Подпольный парадоксалист не нашел в себе моральной силы осуществить в себе самом собственный идеал свободной

личности. Как позже скажет Бердяев, в книге "О рабстве и свободе человека" — "Личность себя творит и осуществляет свою судьбу, находя источник сил в бытии её превышающем". Потеряв ясное представление о том, что добро, как и зло, творимы свободной волей, подпольный парадоксалист пошел по ложному пути. Дьявол и Бог продолжали до конца бороться в его сердце. Начав с возражения последователям детерминизма, подпольный "антигерой" приходит к искажению идеи свободы воли, превращая ее в своеволие; этим он уничтожает основное содержание и значение свободного выбора человеком его действий. Ему чужда идея добра как любви к другим людям как к неповторимым духовным личностям. Он "жаждал унижения" других людей, считая, что этим он повысит свою ценность. Парадоксалист — ярый защитник свободы — не совладал со "страшным даром свободы". Его неправедная свобода приводит к распаду целостности личности, к мукам совести, к самоуничижению и одновременно к деспотизму. Непомерная гордыня, агрессивность, презрение к себе и к другим людям, непрерывная борьба между этими противоположными тенденциями превратили его жизнь в медленный процесс разрушения души, как своей, так и душ других людей, а также оскорбления тех, кто случайно вступает с ним в общение — Лизы, слуги Аполлона, даже извозчика, взявшегося везти его вслед за Зверковым в "модный магазин". Но как бы подпольный парадоксалист ни поступил в случае с обедом в честь Зверкова, с Лизой или с Аполлоном, чувство стыда за свои поступки не покидает его. Сознательно или полусознательно он чувствует, что им нарушен нравственный долг, накладываемый на человека свободой воли. На следующий вечер после обеда в ресторане со Зверковым и ночи, проведенной с Лизой, парадоксалист вышел пройтись по петербургским улицам:

> "Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской... Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью и не хотело угомониться. Совсем расстроенный я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление".

Однако сознание "гадкой истины" не останавливает его перед другим тяжелым моральным преступлением оскорблением Лизы, пришедшей к нему с душой открытой для добра и любви, с возрождающейся верой в человека. Лишь через много лет появится у него настоятельная необходимость в собственном суде над собою, а также в суде людей, хотя эта потребность тут же оборачивается самооправданием, вызовом и обвинением своих воображаемых читателей, "публики", в соучастии в тех же грехах:

> "Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя..."

Этот разрыв духовного сознания был позже объяснен Достоевским, написавшим 22 марта 1875 года в черновом наброске "Для предисловия к роману 'Подросток' ":

> "Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!..
>
> Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. "Нет ничего святого".

* * *

Начиная с "Преступления и наказания", предвосхищение будущего узлового действия, как особенность структуры всех последующих произведений Достоевского, выражается с предельной ясностью. Предварение будущего как особая специфическая структура действия известна в литературе уже начиная с "Песни о Роланде" и, в России, со "Слова о полку Игореве". Но в соединении с готовящейся катастрофой криминального характера, зависящей полностью от свободного выбора главного действующего лица и его этической сущности, предварение будущего применено в художественной литературе впервые Достоевским.

В "Преступлении и наказании" с первых же строк читатель узнаёт, что молодой человек находится в состоянии смятения: "На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь!"

Еще не зная, *что* скрывается под словом "это", читатель уже становится свидетелем внутренней борьбы, поглотившей все помыслы молодого человека, вопрошающего себя:

> "Разве я способен на *это?* Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу..."

В этом романе острота трудности этического выбора, не направленного сразу на добро, выражена с предельной напряженностью. Раскольников пришел к своей теории обыкновенных и необыкновенных людей путем рационалистических рассуждений. Но одно дело — отвлеченная теория, другое — претворение её в действие, когда требуется сознательное, волевое решение. Заметим, что здесь никак нельзя согласиться с Н. М. Чирковым, автором работы о стиле Достоевского, рассматривавшим преступление Раскольникова только как необходимое следствие среды и законов капитализма, и писавшим, что "убийство, совершенное Раскольниковым — последовательный, логически неизбежный акт, вытекающий из законов общества, в котором он живет".

Разумихин, как и Раскольников, бедный студент и живет в еще худших условиях. Но он не бросает занятий в университете, не гнушается зарабатывать себе на хлеб грошовыми переводами. Он отрицательно относится к преувеличениям влияния "среды", его возмущает "известное воззрение", согласно которому "преступление есть протест против ненормальности социального устройства — и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, — и ничего!.."

Разумихин указывает, что сторонники этого мнения "натуру не принимают в расчет". Он — сторонник свободы воли: поступки человека должны быть обоснованы его религиозными и этическими убеждениями и должны совершаться на основе свободы выбора с полным сознанием ответственности перед своею совестью и перед другими людьми. Но и Раскольников

знал с самого начала возникновения своей теории, что, несмотря на рассуждения о том, что всё "предрассудки", "нет никаких преград" и "одни только страхи напущенные", для претворения своей теории в действие, он *должен* перешагнуть этический барьер. Хотя теоретически Раскольников не признает ни для себя, ни для других "необыкновенных людей" никаких нравственных кодексов, в нем, как справедливо пишет В. Я. Кирпотин, в книге посвященной Раскольникову, "совершается работа совести и перед преступлением, совесть бодрствует в нем и тогда, когда он задумал и пошел на свое черное дело". Весь ужас, вся грязь убийства воочию представились Раскольникову, когда он проснулся в кустах на Петровском острове, после своего страшного сна о забитой лошади. И всё же он делает свой выбор вопреки своей совести и совершает преступление, хотя всё его существо протестует против его же решения, уведшего его на путь зла.

После убийства Раскольникова начинает мучить другой вопрос: ему надо найти какой-то *исход,* избавиться от страха быть обнаруженным полицией, от мучительного, бесконечного уединения и отчуждения, от отвращения ко всему окружающему, а также от всё усиливающихся сомнений в своей теории. Темная, грязная вода канавы, в которую он вглядывался, стоя на Вознесенском мосту, после отвратительного зрелища вытащенной из воды утопленницы Афросиньи, перестала казаться желанным исходом. Мысль пойти "в контору", т. е. в полицейский участок, делается всё назойливей: "Скажу я им иль не скажу?" — вот та новая дилемма, над решением которой Раскольников будет мучиться более недели. Решение, к которому он в конце концов придет, можно объяснить разными причинами (по этому вопросу существует обширная литература). Здесь и собственная проснувшаяся совесть, и полусознательное признание крушения своей теории, и уговоры Сони, и сознание, что он недостоин любви и почитания, выказываемых ему его кроткой матерью и готовой для него на любую жертву сестрой, и, возможно, и последнее посещение Порфирия Петровича. Решение дилеммы — сказать или не сказать "им" о том, что убийство старухи-процентщицы и ее кроткой, забитой сестры совершено им Раскольниковым, "необыкновенным

человеком", мыслителем, пекущимся о будущей социальной справедливости для всего человечества, нельзя объяснить ни одной какой-либо из этих причин, ни даже совокупностью их. Несмотря на всю трудность этического выбора, тоску и колебания, не прекращающихся до самой последней минуты, решение, освобождающее его от разлада со своей совестью, было принято Раскольниковым по его собственной воле. Его приход в полицейский участок к Илье Петровичу Пороху был актом его воли, результатом его свободного выбора. Закон причинности уступил место закону нравственного, этического долга. Разум, так долго сопротивлявшийся признанию убийства процентщицы как акта преступления религиозных и этических норм, постепенно дает место чувству и совести, стремлению избавиться от ужаса и страдания, которые он носил теперь неизбывно в душе. Нравственный закон побудил его прежде всего пойти к Соне: "он *должен был* объявить ей, кто убил Лизавету". Но эта попытка признанием снять с себя часть тяжести греха не дается Раскольникову сразу. Уже подойдя к квартире Сони, опять "в раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: 'Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?' "

Раскольников проходит все стадии муки свободного выбора: среди самых сильных колебаний, уже готовый уйти без признания, "он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно". Борьба чувства с рассудком этического императива с остатками головной теории о Наполеонах и безнаказанно творящемся массовом зле и убийстве — создают для Раскольникова невыносимый моральный ад.

Во всё время кризисного периода в жизни Раскольникова, Разумихин показывает себя человеком, стремящимся деятельной помощью облегчить участь не только своего больного друга, но и его матери и сестры. Не тратя слов на речи о желании помочь человечеству, Разумихин поступает согласно своим убеждениям; он ужаснулся теории Раскольникова, сразу увидев, куда она может завести человека: "Ведь это разрешение крови *по совести,* это... это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...", говорит он.

Вместо бредовых теорий достичь независимости через

преступление, Разумихин думает о практической положительной деятельности, чтобы обеспечить дальнейшее пребывание в Петербурге матери Раскольникова и Дуни, освободившейся от сетей Лужина. С того момента, как Раскольников намекнул ему, что Дуня может его полюбить, Разумихин твердо определил свой дальнейший жизненный путь — выбор его был сделан с сознанием значения, которое его деятельность будет иметь для других людей. После свадьбы, он снова стал посещать лекции в университете и твердо решил лет через 5 переехать с Дуней в Сибирь, туда, где будет ее брат, и "всем вместе начать новую жизнь". Дуня верила слепо, что он выполнит все свои намерения, "да и не могла не верить: в этом человеке виднелась железная воля". Раскольникову же понадобится еще три года сибирской каторги, чтобы полностью осознать необходимость нравственного раскаяния для возвращения к жизни.

* * *

Аналогично задуман и выполнен писателем роман "Идиот", разбор которого в этой публикации мы опустим по недостатку места. Перейдем теперь к роману "Бесы", основная тема свободного выбора в котором уже предварена эпиграфом из Евангелия от Луки: выйдут ли бесы из одержимого ими человека, захочет ли он очиститься от скверны, исцелится ли он от нечистых духов, замутивших его помыслы? Связь эпиграфа с развитием событий и с принятием решений главными действующими лицами очевидна.

В этом романе свобода человека в выборе его поступков особенно тесно связана с проблемой эмпирического зла, а также с возможностью, данной человеку, очиститься от лжи и своим сознательным решением отойти от зла. Духовное просветление особенно ясно проявляется в последнем поступке Степана Трофимовича Верховенского. Слабый и беспомощный человек, Степан Трофимович, обидевшись на Варвару Петровну за то, что она вернула ему его письмо нераспечатанным, в период ее странного сватовства Даши, заявил, хотя и в несколько комической форме, что он хочет быть свободным в своих поступках: "Je m'en fiche et je proclame ma liberté..."

Желая доказать своему другу Антону Григорьеву, что ему

дорого чувство собственного достоинства, Степан Трофимович говорит:

> "Неужели вы думаете ... неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку — нищенскую коробку мою! — и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием..."

После рокового воскресенья, закончившегося приказом Варвары Петровны Степану Трофимовичу оставить ее дом, Степан Трофимович постепенно укрепился в своем решении. Призванный Варварой Петровной в Скворешники, чтобы "говорить о деле" — т. е. чтобы окончательно заявить ему, что отныне они будут жить "совершенно порознь" и назначить ему 3-тысячный "пенсион", — Степан Трофимович заявил, после выступления на литературном вечере у губернаторши, о своем решении уйти в путь:

> "... я в тот же вечер возьму мою суму, нищенскую суму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы и обещания будущих благ и уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером либо умереть где-нибудь с голоду под забором. Я сказал. Alea jacta est!"

Несмотря на уверенность Варвары Петровны, что он не в состоянии исполнить своих угроз, "полных эгоизма", Степан Трофимович в точности выполнил свое решение и пустился в путь пешком, в осенний туман и дождь, буквально не зная куда, хотя, вероятно, по предположению хроникера Антона Григорьева, и не мог "без ужаса вообразить себя одного на большой дороге". Решение Степана Трофимовича уйти от "милостей" Варвары Петровны было вызвано его желанием сохранить свое достоинство, очиститься от лжи, от своих собственных заблуждений и вновь обрести на большой дороге "великую идею". Эта в начале для него самого неясная идея воплотилась наконец в желание всем всё простить и в надежду, что "и нам простят", потому что Степан Трофимович понял,

какая ответственность лежит на каждом человеке и что "каждый один пред другим виноваты".

Уже в жару, но еще не подозревая, что он болен смертельно, Степан Трофимович просит Софью Матвеевну прочитать ему из Евангелия об исцелении человека, одержимого бесами, и сразу связывает Евангельскую притчу с собою и с окружающей его жизнью. Сердце Степана Трофимовича открылось добру, он как бы освободился от лжи, лицемерия, притворства — от всего того, чем жил, и поверил в то, что существует "нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее", что-то "безмерно великое и бесконечное", что необходимо человеку. Тихая кончина Степана Трофимовича, озаренная верой в высшую любовь и истину, резко отличается от страшного конца его бывшего ученика, Николая Ставрогина.

Уже в самом начале рассказа Антона Григорьева о Николае Ставрогине и его "ироническом" образе жизни в Петербурге говорится о странной смеси красоты и чего-то отвратительного в его лице. Рассказывая о первом приезде 25-летнего Ставрогина — красавца и изящного джентльмена — в родной город и его полугодового тихого пребывания дома, Григорьев говорит, что "вдруг зверь выпустил свои когти".

В городе знали о дуэлях Ставрогина, одни его осуждали, но "другим положительно нравилось, что он убийца". Говорит хроникер Григорьев и о непомерной гордости Ставрогина и о какой-то "роковой тайне", бывшей будто у него на душе. Таким образом, моральные качества главного героя уже очерчены еще до второго приезда Ставрогина в город, т. е. еще до начала хроники Григорьева. Версия о помешательстве Ставрогина, этого "премудрого змия" по выражению капитана Лебядкина, настойчиво была опровергнута медиками по вскрытии трупа Ставрогина, повесившегося через полтора месяца после возвращения в родной город. Мысль о помешательстве была впервые высказана Варварой Петровной Липутину для оправдания неблаговидных поступков сына. Также в самом начале хроники Григорьева Липутин, в кругу друзей Степана Трофимовича, намекает на возможность какой-то связи сестры Лебядкина со Ставрогиным, на существование интимных

отношений Даши и Ставрогина, начавшихся в Швейцарии. Тайна авантюрного романа уже снята; но напряжение, в котором автор держит читателя, еще усиливается из-за введения в действие Лизы, в душе которой, как и в душе Настасьи Филипповны, в "Идиоте","всё было в хаосе, в волнении, в беспокойстве".

Сборище в роковое воскресенье в гостиной Варвары Петровны, вместо развязки и разъяснений, привело к еще большей путанице, но в то же время показало, что почти каждый участник этого собрания действовал, побуждаемый своей волей и своим настроением. Здесь же говорится и о свойстве характера Варвары Петровны, которой часто "овладевал бес самой заносчивой гордости". "Ужасный вопрос" о том, не законная ли жена Николая Ставрогина хромоножка Марья Тимофеевна, прямо в лоб задан Варварой Петровной ее сыну. Но тот не ответил прямо на этот вопрос, заинтриговавший уже почти весь город. На сцену выступает Петр Степанович Верховенский, из-за своих интересов защищающий репутацию Ставрогина и объяснивший присутствующим странные отношения между Ставрогиным и Марьей Лебядкиной как "новый этюд пресыщенного человека".

Но тот же день показал, что Николай Ставрогин был не только терзаем "внезапным демоном иронии", по выражению Степана Трофимовича; им часто овладевала бесконечная злоба. Однако, по словам Григорьева, он "все-таки, всегда мог сохранять полную власть над собой".

О силе воли Ставрогина Григорьев говорит неоднократно, сравнивая его с декабристом Луневым, и об упоении побеждать в себе боязнь опасности и трусость: "Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, — вот что их увлекало".

Много раз говорится также об обилии злобы в Ставрогине, причем, по мнению Григорьева, "злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, — *разумная,* стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть". Итак ясно, что сила воли Ставрогина мотивирована его злобой, а также его непомерной гордостью и презрением к людям.

Ставрогин многократно подвергается искушениям и он сам

проверяет на себе силу своей воли — может ли он управлять своими чувствами — и приходит к заключению, что чувства и желания его так мелки и ничтожны, что сила воли его беспредельна. Петр Верховенский преувеличил желание Ставрогина обладать Лизой и поэтому, стремясь скомпрометировать Ставрогина в своих целях, первым намекнул ему о своей готовности быть к его услугам "всегда и везде и во всяком случае, то есть во всяком". Он умело направляет мысли Ставрогина в определенную сторону и, перед уходом, беспечно роняет, что "здесь в городе и около бродит теперь один Федька-каторжник, беглый из Сибири", бывший дворовый человек, проигранный в карты старшим Верховенским. Этот Федька тоже "на всё готовая личность, на всё, за деньги, разумеется".

В Петербурге Ставрогин совершил низкое, "некрасивое", по определению архиерея Тихона, преступление. Но он еще не дошел до последней степени сатанизма — совесть в нем еще не заглохла окончательно. Его всё еще интересует вопрос — может ли человек окончательно забыть содеянные им злодейства, стыд, "то есть позор, только самый подлый и... смешной". Он хочет узнать мнение Кириллова — не всё ли равно такому человеку, как люди будут его презирать, если он будет отделен от них непреодолимыми пространственными или временными препятствиями. Временное удаление Ставрогин видит в уходе из мира живых: "... и вдруг мысль: 'Один удар в висок, и ничего не будет'".

В двух сценах на мосту Ставрогин окончательно совершает свой выбор между добром и злом. Федька-каторжник поджидает его на мосту и, по наущению Петра Верховенского, предлагает свои услуги, говоря, что он может Ставрогину "пригодиться, если полоса такая, примерно, выйдет..." Глухое место, темень, дождь, поздний час — всё способствует созданию впечатления бесовского искушения. Так об этом и расскажет Ставрогин Даше на следующий же день, после дуэли с Гагановым. Во время первой встречи с Федькой на мосту по пути к Лебядкиным, Ставрогин отстраняет Федьку и заявляет ему:

> "Мне налево, тебе направо; мост кончен. Слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда: не дам тебе ни

копейки, вперед мне ни на мосту и нигде не встречайся, нужды в тебе не имею и не буду иметь, а если ты не послушаешься — свяжу и в полицию. Марш!"

Но Федор оказался хорошим психологом: он был уверен в том, что Ставрогин, в конце концов, примет его услуги. Ставрогин возвращался от Лебядкиных "в неутомимой злобе", раздраженный поведением Марьи Тимофеевны, ее отказом признать его за того "князя" и "ясного сокола", которого она полюбила и кем Ставрогин мог бы быть, и ее проклятиями. Угадав по его злобному взгляду его мысли, Марья Тимофеевна вскричала, что у него нож в кармане. Этот нож принял реальные формы, блеснув в руке Федора, дожидавшегося Ставрогина на мосту. Слова Федора, что он ночью заходил к Лебядкину и видел, как у того из карманов деньги на пол сыплются, вызывают вопрос Ставрогина: "Что же не зарезал?" Федор яснее намекает на свои условия и еще раз просит "три рублика":

"Развязали бы вы меня, сударь, чтоб я то есть знал правду истинную, потому нам чтоб без вспомоществования никак нельзя".

Захохотав сатанинским смехом, Ставрогин бросает все деньги из своего портмоне Федьке в грязь. Он отдает себе полный отчет в том, что одним этим жестом он побуждает Федьку на убийство Лебядкиных и дает ему "задаток". Об этом он цинично рассказывает Даше, объясняя ей, что его "расчетливый бес" просто убийца, бежавший с каторги, "гаденький, золотушный бесенок". Отпадение от добра и гнусное преступление совершается здесь с полным сознанием свободы своего выбора как проявления своей безграничной, ничем не стесненной воли. Но уже дав согласие на убийство Лебядкиных, Ставрогин увидит, что это преступление нужно прежде всего Верховенскому-младшему для того, чтобы, связав Ставрогина этим преступлением, получить над ним власть и использовать его в своих интересах. Это подтверждает и каторжник Федор, заявивший, что он совершил убийство Лебядкиных еще и по специальному поручению Петра Верховенского, который ему "за

неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал". Федор обвиняет во всем Петра Степановича Верховенского, его злобу, ложь, обман и желание мести: "И из этого ты выходишь первый убивец", говорит он ему, предваряя обвинение, которое будет предъявлено Смердяковым Ивану Карамазову. Таким образом, злая воля Ставрогина, несмотря на всю его кажущуюся моральную силу и на полную свободу выбора решения, оказывается подчиненной еще более злобной воле Верховенского, для которого не существует никаких угрызений совести, никаких нравственных законов и преград.

Ставрогину предстоят еще два искушения, две возможности основать свой свободный выбор не на злобе, а на стремлении очиститься от греха и дьявольского наущения. В выпущенной 9-й главе II части романа, после ночного свидания с Дашей, Ставрогин всё же идет к бывшему архиерею Тихону, к которому ему советовал сходить Шатов в ту роковую ночь, когда Ставрогин дал согласие на убийство Лебядкиных. На душе Ставрогина лежит еще более позорное преступление изнасилование Матреши и спокойное ожидание, прошедшее в созерцании красного паучка, когда жизнь окончательно покинет тело несчастной девочки, повесившейся тут же, в нескольких шагах от него. В его сердце была злоба, ненависть к своей жертве, вплоть до готовности убить ее, а также позорный страх, что его преступление может стать известным родителям Матреши. Но в то же время Ставрогина не покидало сознание содеянной подлости и отвращения к самому себе. В своей "Исповеди", которую он дал читать Тихону, Ставрогин неоднократно подчеркивает, что все его действия были сознательно рассчитаны и он за всё отвечает: "хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями (а, стало быть, не сумасшедший и за все отвечаю)".

Тихон сразу определил душевное состояние Ставрогина: он увидел, что в Ставрогине еще не заглохла потребность кары, и это для Тихона "великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль", и дальше этого покаяние идти не может. Для Тихона движение совести Ставрогина есть знак того, что,

несмотря на его неверие, он поистине Духа Святого чтит, не зная Его. В то же время Тихон видит, что в исповеди Ставрогина нет смирения. Это вызов людям и презрение их мнения. Тихон всё же пытается направить волю Ставрогина на путь добра и предлагает ему пойти на великий духовный подвиг: "Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете..." Но духовной силы для раскаяния у Ставрогина нет и, как писал Н. Лосский в книге "Достоевский и его христианское миропонимание", его "исповедь" "показывает неизбежность впадения его в уныние, в то настоящее уныние, которое, согласно христианскому мировоззрению, есть самый страшный из смертных грехов". Уныние Ставрогина — это удаление от живой жизни, от людей, из которых он никого не может любить, это — потеря идеи добра, что приводит его к безысходной тоске, пустоте, моральному небытию.

В романе "Братья Карамазовы" характерный прием предвосхищения главного события обнажен до предела. С самого начала Алеша уже предчувствовал, что его отец приедет в монастырь "для какой-нибудь шутовской и актерской сцены", а брат Иван и Миусов только из любопытства. Один Дмитрий смотрел серьезно на сходку всего семейства у старца Зосимы и ожидал благополучного решения запутанных отношений.

Но на этот раз, вопреки полувековой традиции, в келье, где со стороны старцев была лишь любовь и милость, а со стороны посетителей — "покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца" — всё будет по-иному. Во время "сходки" в келье старца Зосимы обнаружены уже все отношения между отцом и сыновьями Карамазовыми, обусловившие их поведение. Трагический исход безобразного конфликта между отцом и сыном предугадывается старцем Зосимой. Он опускается на колени перед Дмитрием, потому что видит, что при всех своих бурных страстях Дмитрий еще открыт добру. Зосима почувствовал искренность в словах Дмитрия, что тот пришел в келью старца Зосимы, чтобы простить, если бы Федор Павлович протянул ему руку, "простить и прощения просить!" Дмитрий и в родной город ехал с намерением помириться с отцом и вместе со своей

невестой "лелеять его старость". Но комедианство и оскорбления, выкрикиваемые Федором Павловичем, вызвали восклицание Дмитрия: "Зачем живет такой человек!"

Значение поклона старца Зосимы тут же было разъяснено Алеше Ракитиным со всей вульгарной обыденностью: конфликт в доме Карамазовых не будет разрешен без уголовного столкновения. Да Алеша и сам уже чувствует, что назревает преступление. Двуприродность членов семьи Карамазовых усиливает напряжение и ожидание — как же они поступят? Что возьмет верх в душе Дмитрия — буйство страстей и ненависть к отцу, или же доброе начало, желание, чтобы его "кто-нибудь высший простил" за его буйство, его сострадание к человеку в унижении? Поддастся ли Дмитрий сатанинскому искушению — злобе и ненависти, которые внушает ему его развратный отец, или же ангел удержит в решающий момент его руку? Конечное решение зависит от самого Дмитрия, который знает это и говорит об этом Алеше в своей "исповеди горячего сердца": он ясно отдает себе отчет в том, что "назревает трагедия", и что она произойдет именно здесь, в доме его отца. Повторное обещание Дмитрия убить старика отца, если Грушенька соблазнится деньгами и придет к нему, ясно указывает, какую роль Дмитрий может сыграть в этой трагедии. Тут же, в беседке, Дмитрий говорит Алеше: "Может быть, не убью, а может, убью!.."

Не только Алеша, но Иван, сам Федор Павлович, да и весь город чувствуют, что трагедийная развязка близка — но все ждут *как* поступит Дмитрий и с любопытством следят за его поступками. Все последующие девять книг романа наполнены ожиданием — на *что* же решится Дмитрий и *какую роль* будет играть его брат Иван, который при первом же столкновении Дмитрия с отцом выразил одной фразой свою злобу и свое презрение к ним обоим: "Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога". Этими словами Иван уже предопределил свои последующие действия: как сказано в Первом Соборном Послании св. апостола Иоанна Богослова, "Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, *равно* и не любящий брата своего" (гл. 3, 10).

Духовная раздвоенность Ивана — его протест против эмпирического зла и одновременно его неспособность

проникнуться любовью к людям — объясняет его колебания в выборе им своих действий в критический момент. Разговор иеромонахов с Иваном в келье старца Зосимы до прихода Дмитрия полон идей, которые вскоре обретут реальность и будут воплощены в жизнь. Иван, развивая свою мысль о значении церкви и о наказании за преступление, говорит, что только существование Христовой церкви сдерживает поток злодейств, т.к. без церкви и ее учения не было бы для преступника настоящей кары. Его слова подхватывает старец Зосима, говоря, что и теперь без церкви преступнику не было бы "настоящей кары, единственной действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной совести". В этом разговоре предрекается судьба Ивана, будущие мучения его совести, так как не легко достанется ему признание своей вины.

Мотивировку действий Ивана предвосхищает рассказ Миусова о взглядах "эксцентрика и парадоксалиста Ивана Федоровича", о его теории, согласно которой отсутствие в человеке веры в свое бессмертие изменяет нравственный закон и — в противоположность закону прежнему, религиозному, — "ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия", и "эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным..." Разлад между душой и умом Ивана и составляет его, замеченную старцем Зосимой, "муку вечную", его отчаяние от бессилия разрешить великую мысль, которой, как сразу увидел Алеша, всецело занят Иван. Но мысль так и остается до конца неразрешенной: в Иване нет любви к людям, как у Алеши; нет у него и стремления Дмитрия к свету, нет раскаяния в своем моральном несовершенстве, которое всё усиливается в душе Дмитрия. Трудность свободного выбора действий Ивана символизируется дилеммой — ехать или не ехать в Чермашню? Иван свободен от каких-либо иных привходящих — материальных или социальных — мотивов. Его выбор — чисто этический: это демонстрация его свободной воли — или, вернее, своеволия, как это было в трагедии Кириллова и подпольного парадоксалиста, — о которой он уже заявлял Алеше: "Но в желаниях моих я оставляю за собою в данном случае полный простор".

В дальнейшем интрига романа всё более усложняется введением в действие женщин — Катерины Ивановны и Грушеньки. От того, что будет мотивировать их действия — злоба, непомерная гордость, ненависть, ревность, своеволие, или же возьмет верх любовь, желание смирить свою гордыню, свою жажду мщения за нанесенное оскорбление, и души их озарятся светом прощения — зависит как их судьба, так и судьба братьев Карамазовых. Надежды Алеши на то, что все "несчастные и бурные" обретут любовь и пойдут путем добра, не оправдались. На следующий же день после собрания у старца Зосимы и безобразной сцены в доме Федора Павловича, после его философской беседы с сыновьями "за коньячком", Алеша увидел, что "сердца бойцов" окаменели и что их взаимная злоба все нарастала.

Алеша быстро понял, *что* происходило в душе Ивана, и как прав был старец Зосима, сказавший, что Иван носит в своем сердце муку, так как он сам не верит своей диалектике, "с болью сердца усмехаясь ей про себя..." и не может найти выхода, попав в плен своей идеи, — ни в положительную, ни в отрицательную сторону: "В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения..." Выслушав в трактире "Столичный город" поэму Ивана и постигнув, какими противоречиями раздираются ум и сердце его брата, Алеша ужасается, до какого предела нравственного нигилизма дошел Иван и как же он будет дальше жить: "С таким адом в груди и в голове разве это возможно?" Алеша видит, что Иван не выдержит своей внутренней борьбы и, возможно, убьет себя. Как мы знаем, ум Ивана не выдержал напряжения и временно помутился.

Желание не только смерти отца, но и убийства его братом Дмитрием, к которым он не чувствовал ничего, кроме злобного презрения, жило в сердце Ивана вместе с желанием не быть объективно замешанным в это убийство и не дать ему совершиться у себя на глазах. Алеша вздрогнул от ужаса, когда Иван, "злобно скривив лицо", высказал ему свое преступное желание того, чтобы "один гад съел другую гадину". Иван тут же заявил, что не даст совершиться убийству и защитит отца, хотя и оставляет за собою свободу своих желаний и помыслов. Свободная воля, как и объяснял Энодию Блаженный Августин, становится здесь источником зла. Иван, ставя себя выше других

людей, считает себя вправе желать, чтобы зло совершалось, но как бы помимо него, лицемерно оправдывая себя перед своей совестью. Он тут же просит Алешу не осуждать его и не смотреть на него "как на злодея". Разрешив действовать в своем сердце злой воле, Иван идет всё дальше по пути зла. На другой же день он принимает внезапно решение уехать в Москву "завтра же" и заявляет Катерине Ивановне у Хохлаковой, что это "неизменимо..." После этого решения Ивана устраниться от событий в Скотопригоньевске и оставить Федора Павловича в доме одного, в уме Алеши "с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться".

Глубочайший смысл и первостепенное значение свободного выбора особенно подчеркивается Иваном в его "поэме" о Великом Инквизиторе. Давая свое толкование четвертой главе Нового Завета — искушениям, которым диавол подвергал Иисуса Христа в пустыне, Иван выводит роман за пределы художественного произведения и переходит в область религиозно-этическую. Устами Инквизитора Иван высказывает мысль, что человек, лишенный твердых религиозных и этических убеждений, не в силах вынести бремени свободного выбора и ищет такой теории или учения, которые успокоили бы его совесть и нашли бы оправдание преступника и преступления в социальной детерминированности. Иван заставил Инквизитора обвинить Христа в том, что он, предоставив человеку свободу выбора, обременил его непосильной ношей.

Свобода человека, *как* ему поступать в его жизни, так же как и в жизни окружающей его совокупности людей, предполагает его ответственность за все его деяния. Иван совестью знает, что не "всё позволено", хотя разумом и не желает признать этого. Действиям людей, как сознательных существ, предшествует размышление, *как* им следует поступить, и в каждом случае их действия чем-то мотивированы. Здесь встает вопрос — *чем именно?* Действует ли человек только под влиянием импульсов, эмоций, "среды", или же — по своей воле, доброй или злой? Всё, в конечном счете, зависит от того, какой путь человек избирает — добра или зла — и доступно ли его духовному взору различие между этими двумя путями. Человеку, отношение которого к миру и к ближнему его покоится на религиозно-этической

основе, выбор его действий не составляет большого труда: он всегда стремится совершить добро для других. Так поступают Разумихин, Порфирий Петрович, Дуня Раскольникова, Соня, князь Мышкин, старец Зосима, Алеша Карамазов. Но если в душе человека нет ясности, если его природное, исконное стремление к истине и свету временно ослабляется и вытесняется другими чувствами, если человек движим ложной, порочной идеей, гордыней, злобой, презрением к людям, но всё же еще не утратил полностью своей совести, т.е. ощущения добра и справедливости, то выбор им своих поступков превращается для него в муку.

Своим отъездом в Москву Иван, вместо снятия с себя ответственности за назревающее преступление, делается причастным к убийству уже не только помышлением и словом, но и делом. Бесом-искусителем выступил здесь Смердяков, подсказав Ивану, каким путем он может способствовать убийству, отстранившись от прямого участия в нем. У Ивана не нашлось нравственной силы, чтобы противиться искушению злом, хотя он ясно понимал, почему Смердяков так настойчиво требовал от него отъезда в Чермашню и так подробно предсказывал, как у него произойдет припадок падучей и в это время, если Дмитрий Федорович "захотят что учинить — учинят-с". Решив ехать прямо в Москву, Иван при отъезде не преминул сообщить Смердякову: "Видишь... в Чермашню еду..." Мрак, который по дороге в Москву сошел на его душу, и тоска, охватившая его, предвосхищают муки его совести после убийства Федора Павловича.

Достоевский увидел в трех искушениях Христа в пустыне основной нравственный закон человечества, состоящий в том, чтобы противостоять соблазнам злого духа. Вся поэма Ивана, его "Легенда о Великом Инквизиторе", есть небывалое в художественной литературе глубочайшее толкование четвертой главы Евангелий от Матфея и Луки, главы о свободе духа и свободе выбора. Всё последующее действие романа, как и действие в ранних романах, есть художественное воплощение в реальной жизни людей извечной борьбы светлого духа с дьявольским искушением и данной человеку возможности пройти через испытания искушением злом и не сделаться "пленником

закона греховного", о чем говорил апостол Павел в Послании к Римлянам. Не описание преступления и не раскрытие детективной тайны, а изображение пути, который проходит человек в поисках правильного свободного выбора, составляет основное содержание произведений Достоевского.

В самом начале романа о семье Карамазовых раскрыты также мотивы, определяющие действия Алеши. По характеристике рассказчика, Алеша был ранним человеколюбцем и выбрал, после встречи со старцем Зосимой, монастырскую дорогу потому, что "в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его". Сообщается также, что Алеша, любя людей, жил "совершенно веря в людей", и "что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит", что показывает, как Алеша с детства бессознательно живет заветом Христа "Не судите, да не судимы будете". Действия Алеши противопоставлены действиям его братьев — Алеша воплощает завет апостола Иоанна: "Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною" (Первое Соборное Послание, гл. 3, 18). Стремясь к свету, он и выбирает свои поступки так, чтобы вывести и других людей из мрака мирской злобы и помочь им преодолеть хаос в их душе. Это и удается ему сделать в отношении Грушеньки Светловой, своим участием возвращая ее к ее природной сущности, охарактеризованной даже в ее фамилии. Своим стремлением и стараниями внести мир в души своих братьев, Алеша оказывает решающее влияние также и на Дмитрия. Алеша сумел устоять перед соблазном греха и отпадения от Света; поэтому он и учит мальчиков, как надо поступать, чтобы жить с чистой совестью: "Как хороша жизнь, когда сделаешь что-нибудь хорошее и правдивое", говорит он им на прощание у Илюшиного камня.

В заключение повторю, что анализ структуры многих произведений Достоевского путем сопоставления их с традиционным построением детективных романов убеждает в том, что романы Достоевского построены не на обращенном в прошлое распутывании криминальной тайны, а путем предвосхищения в начале

повествования возможности совершения преступления, изображают действие, обращенное в будущее, и основаны на данной человеку свободе выбора между свершением греха или поступка, который откроет путь к добру, в надежде, что одухотворение человечества произойдет через усвоение и развитие в нем божественного начала, ибо сказано было Иисусом народу: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (Иоанн, гл. 8, 12).

Надежда Натова

ПОДОЙДЯ К ОКНУ

Что ты мечешься, красный флажок,
На шесте своем бьешься и вьешься,
Чуть прильнешь, и опять... Эх, дружок,
Разорвешься ты, или сорвешься.

Ни души на измокшем песке,
Рвутся к дому высокие волны,
Но тебе-то? В смертельной тоске
Трепетать для чего тебе? Полно!

Трепетать, трепеща извещать...
Сам все знаю, не стоит стараться:
Больно жить, тяжело умирать —
Эх, дружок — и опасно купаться.

1979 *В. Вейдле*

РЕСИФЕ НОЧЬЮ

(Из Жоакина Кардозо)

Мои шаги неосторожно гулки:
Тревожатся, сползая на мосты,
Пособники воров и темноты,
Горбатые, кривые переулки.

По сторонам — особняки-шкатулки:
Задвинуты чугунные болты,
Запрятаны за прочные щиты
Вино и хлеб (заманчивые булки).

Ночь никого не выдаст, но и я
Не духовник, не сыщик, не судья
И не свояк поборникам закона,

И за меня до утренней зари
(Я выхожу на пристань Аполлона)
Пусть молятся цепочкой фонари!

В. Перелешин

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ГЛ. 2. РОССИЯ В ГЕРМАНИИ

Русский Берлин. Театры и музыка.

Перейдем к русским театрам и русской музыке в Берлине 1920-х годов.

Постоянных русских театров в Берлине тогда было три: "Русский Романтический Балет", "Синяя Птица" и "Русский Театр Ванька-Встанька". Руководителем Романтического Балета был известный артист Петербургского Мариинского Театра — Борис Георгиевич Романов. В Мариинском (с 1909 по 1920 г.) в балетах он прославился ролями Пьеро, Колен, Базиль и особенно "половецкого воина". Б.Г. был талантливейшим танцовщиком и хореографом, но он был и интересным, остроумным человеком. Жалею, что познакомился с ним только в "третьей части этой книги" — в Нью Йорке.

Помню, в Нью Йорке как-то завтракали мы втроем в ресторане: А. Р. Гурвич, Б.Г. Романов и я. И за завтраком Б.Г. рассказывал, как в Париже, в последний раз он был у Кшесинской и она сказала, что пишет мемуары, только не знает как их назвать. — "А я вам помогу, Матильда Феликсовна". — "Ну?" — "Полвека под Романовыми". Она засмеялась и "отодрала меня за уши", смеялся Б.Г. Знаменитая М.Ф. Кшесинская была замужем за вел. кн. Андреем Владимировичем, с которым они и делили годы эмиграции в Париже, в молодости же М.Ф. была увлечением государя Николая II-го, когда он был еще наследником.

См. кн. "Н.Ж". 131, 132, 133, 134

Свои воспоминания М.Ф. Кшесинская выпустила по-французски под заглавием "Souvenirs de la Kchessinska" Париж. 1960).

Под руководством Б.Г. Романова Русский Романтический Балет в Берлине существовал до 1928 года, пользуясь большим успехом не только у эмигрантов но и у немцев. Романов давал "Жизель", "Петрушку", "Любовь-волшебницу", "Шута" и др. После Берлина Б.Г. работал в Париже у Дягилева, потом — в Италии, в Южной Америке и в Нью Йорке в Метрополитен Опера.

Прима-балериной в его балетах в Берлине выступала Елена Александровна Смирнова, выдающаяся танцовщица Мариинского Театра, жена Романова, умершая, к несчастью, очень рано, в Аргентине, в 1935 году. Известный балетный критик Андрей Левинсон (тоже эмигрант), автор многих книг о балете на русском и французском языках, написал книгу и о Романтическом Балете Романова. Кроме этой балетной труппы в Берлине жили тогда многие известные балетные артисты: Вера Каралли, Е.П. Эдуардова, Е. Девильер, В. Кригер, К.М. Горева, Клотильда и Александр Сахаровы, М.Н. Кузнецова, Тамара Гамсакурдия, Александр Демидов и др.

Вторым постоянным русским театром в Берлине была "Синяя Птица" — директор Яков Южный. Этот театр по своему стилю и репертуару был схож с знаменитой "Летучей Мышью" Никиты Балиева, ставшей эмигранткой, улетевшей из советской Москвы в Париж, где Балиев с огромным успехом вел свой театр. "Летучая Мышь" гастролировала и в Лондоне и в Америке.

В "Синей Птице" ведущие актрисы были — Валентина Аренцвари, Е. Девильер и Юлия Бекефи, "потрясавшая" зрителей в "Рязанской пляске". В труппе были: режиссер И. Дуван-Торцов, сам Я. Южный, знаменитый эстрадник Виктор Хенкин, музыкальной частью ведал М.М. Попелло-Давыдов, художественное оформление — три талантливых молодых художника — А. Худяков, Г. Пожедаев и П. Челищев, сделавший позже международную карьеру.

Репертуар "Синей Птицы" включал множество милых и остроумных музыкальных безделок — "Стрелочек", "Полночная полька", "Русский танец", "Вечерний звон", "Бурлаки", "Пова-

риха и трубочист", "Рязанская пляска", "Крестьянские песни", "Лубки", "Как хороши, как свежи были розы", "Песенки кинто" коронный номер Виктора Хенкина:

На одном берегу
Ишак стоит.
На другом берегу
Его мать плачѝт
Он его любит,
Он его мать,
Он его хочет
Обнимать...

Кстати о Хенкине. В гражданскую войну он был в расположении белых и пользовался (как и всегда до революции) оглушающим успехом. В Париже мне рассказывал однополчанин-корниловец, что — не то в Харькове, не то в Киеве (я уж не помню), занятом белыми, — Хенкин с неизменным успехом выступал в каком-то большом ресторане-кабарэ, заполненным, конечно, белыми офицерами. Зал горячо его приветствовал. И Хенкин в ответ на овации предложил с эстрады конкурс — стихотворение-экспромт, в котором последняя строка состояла бы из его имени, отчества и фамилии. Под общее веселье офицеры занялись экспромтом. В зале был и генерал Шкуро ("Над Кубанью белошумною Шкуро/ Ставит суд — Святые не спасут!"), тоже занявшийся сочинением экспромта. Но выиграл игру поручик П. Фатьянов, написав:

"Кумир блондинкин и шатенкин
О, Виктор Яковлевич Хенкин!"

Спустя много, много лет в "Новом Журнале", в Нью Йорке, я напечатал одно стихотворение П. Фатьянова, скончавшегося во Франции:

"Воспоминания... кому нужны?
Воспоминаниям не верьте.
Так, разве, для себя...
Так, разве, для тебя:
Вновь растревоженные сны
За несколько минут до смерти?
Воспоминания... кому нужны?
Воспоминаниям не верьте..."

Театр "Синяя Птица" с успехом существовал несколько лет, гастролировал и в Америке...

Душой третьего "Русского Театра Ванька-Встанька" был известный поэт-эстрадник Николай Яковлевич Агнивцев, автор вышедших в Берлине стихотворных сборников "Мои песенки" и "Блистательный Санкт-Петербург". Агнивцева я встречал, но мало. Очень высокий, очень худющий, с некрасивым, но выразительным лицом, очень выпивавший, он был воплощение бескрайней русской театральной богемы. И крутился все время среди актеров. По природе был, по-моему, очень талантлив. Но что такое талант? По-моему, в таланте непременно должна быть способность некого гипноза. И если есть гипноз, есть и талант. Разумеется, гипноз не для всех, но хотя бы для некоторых. Пушкин, это — массовый гипноз. А рядом Денис Давыдов с чудесным: "Не пробуждай воспоминанья минувших дней, минувших дней... И на меня свой взор напрасный не устремляй, не устремляй...". Давыдов, это — гипноз ограниченного действия. Агнивцев, конечно, не Вячеслав Иванов. И хорошо что так. Если б на свете были только Вячеславы Великолепные, было бы, пожалуй, скучновато. Спесивые эстеты, разумеется, найдут в Агнивцеве и мелкотемье и даже "пошлость". Но хорошо в свое время ответил Александр Блок о пьесах Леонида Андреева: "Пусть это пошлость, но эта пошлость, которая меня волнует!". Вот и у Агнивцева есть такие (не пошлости, а скорее) "легкости", сквозь которые чувствуется несомненный талант милостью Божьей. Ну, хотя бы такая ностальгия по любимому, обожаемому городу, который он так хорошо знал и которым "жил":

"ПЛАН ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

В Константинополе у турка
Валялся порван и загажен
План города Санкт-Петербурга
("В квадратном дюйме — 300 сажен").
И вздрогнули воспоминанья!
И замер шаг! И взор мой влажен!
В моей тоске, как и на плане,
"В квадратном дюйме — 300 сажен".

Мило, мастерски сделаны многие агнивцевские шутки, ну, хотя бы:

Между статуй прямо к Леде
Шла по парку гордо лэди.
А за нею чинно следом
Шел лакей с шотландским плэдом.
И сказала строго лэди,
Подойдя вплотную к Леде:
"Шокинг!". И за этим вслед
Завернула лэди в плед.
О, заботливая лэди!
Плед совсем не нужен Леде.
Уверяю вас: для Лед
Нужен лебедь, а не плед!

Все это — "легкости". Но свои отдельные строки Агнивцев мог бы с чистой совестью подарить и Есенину и даже Блоку. Хотя бы эту: "Ведь это юность из тумана мне машет белым рукавом!".

Театр Агнивцева "Ванька-Встанька" просуществовал недолго. В нем (как и в "Синей Птице") давались разные интересные, талантливые безделки — "Русь эмигрантская", "В старой Москве", "Хоровод виз", "Бродячие комедианты". Некоторые постановки ставил известный актер МХТ Р. Болеславский. Музыкой ведал Г. Фистулари. Художественной частью — художник из МХТ А. Андреев. А постановка "Санкт-Петербург" шла наполненная стихами Агнивцева:

И в ночь, когда притихший Невский
Глядит на бронзовый фронтон
Белеет тень Комиссаржевской
Меж исторических колонн...

Декабрьских улиц белизна
Нева и Каменноостровский
И мерный говор Куприна
И трели Лидии Липковской...

И стариков своих не выдав,
Неколебимы средь толпы

Варламов, Ходотов, Давыдов —
"Александринские столпы" ....

. . . . . .

Александр Сергеич, Вы ли?
Вы ли это? Тот чье имя
Я в своих стихах не смею
До конца произнести ...

. . . . . .

Белой мертвой странной ночью,
Наклонившись над Невою,
Вспоминает о минувшем
Странный город Петербург ...

. . . . . .

Ах, Петербург! Как страшно просто
Подходят дни твои к концу
— Подайте Каменному мосту!
— Подайте Зимнему дворцу!

. . . . . .

"Ванька-Встанька" пользовался успехом. Но в Агнивцеве, сильно пившем, видимо, была какая-то неуравновешенность: в 1923 году он вернулся в РСФСР. Может быть даже по пьяному делу, Бог его знает. Там у него сначала будто что-то пошло, выпустил более-менее "соответственный" сборник стихов — "От пудры до грузовика", в изд-ве "Радуга" выпустил две книжки "для юношества", стал сотрудником "Крокодила". Но вскоре власти поняли, что этот Божьей милостью богемьен — не подходящ. Из "Крокодила" его ушли. Двери издательств для него закрылись. Агнивцев опустился. Сидел в дешевых пивных, где за бутылку пива писал стихотворения, ноги были обуты в калоши обмотанные веревками. И под конец умер, как босяк, — как говорится, "под забором". Но "забор" был не чужой, не бусурманский, конечно, а свой, расейский "забор", под ним, говорят, и умирать гораздо приятнее.

Из драматических театральных постановок в Берлине были выступления т.н. "пражской группы" артистов МХТ, невозвратившихся в РСФСР, оставшихся за границей. Среди них — гениальный Михаил Чехов, Варвара и Лев Булгаковы, чудесный Николай Колин, Вера Греч и Павлов, Массалитинов, Вырубов,

Егорова, Краснопольская, Вера Соловьева. Выступала в Берлине и артистка МХТ, прославившаяся в "Хозяйке гостиницы" Гольдони, — Ольга Гзовская и ее муж В. Гайдаров; выступали и другие известные в России актеры — Степан Кузнецов, А.И. Долинов, быв. режиссер и актер Александринского. Ненадолго задержались в Берлине известные театральные режиссеры — Н.Н. Евреинов и А.А. Санин, первый стал работать в Париже, второй — в Италии, там же, в Италии, успешно работал как режиссер актер МХТ — Шаров. Мое перечисление актеров-эмигрантов, разумеется, не полное. Перечисляю, кого помню.

Теперь несколько слов о музыке в русском Берлине. Она была на большой высоте. Здесь были известные композиторы — Николай Карлович Метнер, Александр Константинович Глазунов, Александр Тимофеевич Гречанинов, дирижеры — Э. Купер, Ю. Померанцев, В. Бердяев, О. Заславский, наезжал Сергей Кусевицкий, позднее "завоевавший" Америку; из пианистов концертировали — А.К. Боровский, А.И. Зилоти, Орлов, Крейцер, Арсеньев; из скрипачей — известная Цецилия Ганзен, с пианистом проф. Борисом Захаровым, Лея Любошиц; виолончелисты — проф. В.Я. Белоусов, проф. Н. Граудан.

Из певцов — известная камерная певица Полина Доберт, Анна Эль-Тур, Анна Мейчик, О. Слободская, бывший баритон Большого театра Г.В. Бакланов, бас Касторский, Н.С. Ермоленко-Южина (из Мариинского и Большого), наезжал из Прибалтики знаменитый тенор Дмитрий Смирнов (в былом из Большого), наезжал и Федор Иванович Шаляпин. Но кто завоевал немецкий музыкальный мир — это Зинаида Юрьевская, изумительное сопрано, ставшая певицей немецкой оперы и любимицей публики. Благодаря таким певцам, как Юрьевская и Смирнов, на немецкой сцене вскоре появились и русские оперы: "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Царская невеста". В Дрездене оперой "Борис Годунов" дирижировал известный Исай Александрович Добровейн, декорации сделал Андрей Худяков. К сожалению, З. Юрьевская кончила жизнь трагически, бросилась в горах Швейцарии с моста — вниз, в ущелье.

Будучи эмигрантом, в Берлин приезжал с своими песенками Александр Вертинский, автор известного "На смерть юнкерам", теперь он пел — "И российскую горькую землю узнаю я на том

берегу..." Через много лет он возвратился в СССР, где был принят — как это ни странно — с распростертыми объятиями. Свой первый публичный концерт он дал в апреле 1944 года. Но самый первый *закрытый концерт,* как мне говорили, он дал "для работников НКВД" где-то чуть ли не на Лубянке. Тут он мог петь всё что угодно. Для публики же глав-репертком наложил вето на многие его "упадочности". И правильно сделал, какой-нибудь "лиловый негр" иль "креольчик с Антильских островов", разумеется, могли сотрясти все основы "победившего социализма". Приезжала в Берлин из Парижа знаменитая исполнительница русских народных песен Надежда Васильевна Плевицкая, кончившая жизнь довольно страшно: умерла в каторжной тюрьме в Ренн, куда была заключена по суду за соучастие в похищении в Париже генерала Миллера советскими чекистами. Главным предателем ген. Миллера был ее муж, белый генерал Скоблин, бежавший в СССР и канувший там в небытие. Перед смертью Плевицкая во всем покаялась.

Отмечу выступления замечательного украинского хора Кошица, имевшего оглушительный успех не только у украинцев и русских, но и у немцев, а также сводивший немцев с ума Хор (с плясками) Донских Казаков Сергея Жарова. Как видите, в русском эмигрантском Берлине 1920-х годов музыки было сколько угодно — от Н.К. Метнера и А.К. Глазунова, Ф.И. Шаляпина и З. Юрьевской до хора донских казаков и балалаечных оркестров.

Кстати, о балалаечниках. После отъезда А. Толстого в РСФСР мне предложили редактировать "Литературное Приложение" к газете "Накануне". Я согласился. И всегда сам его верстал в типографии, иногда с помощью В.Корвин-Пиотровского, служившего тогда в "Накануне" метранпажем и печатавшего в газете свои стихи. И вот как-то кто-то из редакции приводит в типографию человека в кожаной куртке, с пушистыми светлыми усами, с усталым лицом типично-русского рабочего. По одежде и лицу я понял, что это "московский товарищ". Приведший сказал, что человек этот недавно из Москвы, он не то председатель, не то зампред (не помню) Полиграфического Треста и хотел бы осмотреть типографию. Немецкая типография, где печаталась "Накануне", была большая

— с линотипами, монотипами, печатными машинами, прессами и всяким другим оборудованием. Пиотровский взялся показать москвичу типографию. А потом они подошли ко мне, где я верстал. И по виду и по разговору "москвич" показался мне симпатичным. Спросил, давно ли я живу в Германии? Я ответил. "Из белых?", — спросил (но не враждебно). — "Из белых". — "Понятно..." — Потом москвич стал жаловаться, что языка не знает, города не знает, сидит в своем пансионе, "выйтить некуда", "немецкая еда осточертела". — "Тут, говорят, какие-то русские рестораны есть?" — "Есть". — Я понял, что москвич хочет посмотреть город, поесть в русском ресторане, вообще "отдохнуть" от официального путешествия по типографиям. Я предложил, что могу как-нибудь заехать за ним и свозить в русский ресторан. — "Вот, вот, очень бы хотел, а то я тут как немой..."

В Берлине были всякие русские рестораны: и фешенебельные и поскромнее. Были: "Стрельня" (цыганский хор князя Б.А. Голицына, солистка М.Н. Бемер), кавказский ресторан "Алла Верды" (капелла Ионеску), ночной кабак "Тихий омут", "Медведь" ("борщ с гречневой кашей во всякое время", цыганские романсы в исполнении К.Л. Истоминой), "Русско-немецкий ресторан" (капелла И.Ф. Гилль, солиста б. Придворного Оркестра), но это все были дорогие. И в условленный день я повез москвича обедать в скромный русский ресторан "Тары-бары" на Нюренбергерштрассе.

Я москвича не расспрашивал ни о чем, но из разговора понял, что он бывший типографский рабочий, теперь наверняка партиец, какая-то "шишка" в тресте "Полиграф".

Вошли в "Тары-бары". Зал небольшой, но приятный, играет оркестр что-то очень русское — "Ухарь-купец", что ли. Музыканты — человек восемь — русская молодежь, даже не белые офицеры, а скорее белые юнкера по виду. Все в красных сафьяновых сапогах, синих шароварах, белых широких русских рубахах, талии обмотаны красными кушаками. Инструменты — балалайки, гитары, домры, а один ударяет в бубен.

К нашему столику подошла молодая интересная русская женщина, которую я хорошо знавал еще по Гельмштедтскому лагерю.

— Здравствуйте. Хорошо, что зашли к нам. Что прикажете? Из закусок, напитков? У нас сегодня борщ хороший и барашек с кашей.

Заказали все что полагается; и водку, и закуски, и борщ, и барашка с кашей, конечно. А женщина, записав заказ в блокнотик, отошла к какому-то окошку, профессионально крикнув в него: — Борщ два! Барашек с кашей два!

А красносапожные так аполлоно-григорьевски стонут — "две гитары, зазвенев, жалобно заныли", что за самую душу берут. Русские же. Вижу по москвичу, что и он доволен — и водкой, и закуской, и русской музыкой, вообще — "отдыхает душой" трудящийся товарищ. А оркестр вдруг с цыганского переходит на "барыню". И крайний юноша с бледным, тонким лицом в бешеном такте то гладит бубен большим пальцем, то бьет в него. А центральный музыкант вдруг отбросил домру, сверкнул ладонями и такую присядку мечет красными сапогами, что кое-кто из посетителей (немцы) даже повскакали с мест: что такое?

Оборвался оркестр отчаянно. И весь зал зааплодировал. А мой москвич, отпивая пиво, покачивая головой и одобрительно усмехаясь в усы, говорит:

— Здóрово дворяне дуют!

И сказано это было хорошо, по-русски, с каким-то национальным восторгом и с каким-то даже, как мне показалось, соболезнованием.

За этот русский вечер москвич меня благодарил, прощаясь у дверей дома его пансиона, куда я его проводил.

(продолжение следует)

Роман Гуль

South Jamesport

*

Над нами поздняя листва
Темнеет старой позолотой,
С медлительною неохотой
Шумит морская синева...

Ежевечерняя тоска,
Ежевечерняя дремота...
А там, над молом, грустный кто-то
Закатом тронул облака.

*

Наверно, все проще и зорче,
Наверное, сложность проста.
Пусть будет мой почерк разборчив
На глади листа и холста.

Чтоб сущность глаза увидали,
Очистясь от пыли и слез
Сквозную, как осень, как дали,
Как лики икон и берез.

*

А вот ночью — одно и то же:
Там, у моря, мой сон тревожа,
Ходят двое, меня моложе,
И честнее меня, и все же
Так до боли со мною схожи...
Не смущай моей памяти, Боже!

Лия Владимирова

ПЕРЕПИСКА М.А. ЧЕХОВА И Ю.Б. ЕЛАГИНА

Глубокоуважаемый Юрий Борисович!

Книги выслал Вам на Чеховское издательство. Держите их сколько Вам будет угодно. Дай Бог, чтобы работа Ваша была успешной, в чем я, впрочем, не сомневаюсь.

Напомнили Вы мне мое... срамное арреагапсе с палкой и в толстовке. Вспомнил я и многое другое в этом же роде и устыдился. Бесцеремонный был молодой человек.

Будьте здоровы. Искренне Ваш М. Чехов.

Sept. 14, 1952

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Я сейчас пишу книгу о Мейерхольде по заказу Чеховского издательства. Мне удалось найти много о его творчестве, но почти ничего о его личной жизни.

Я был бы страшно Вам благодарен, если бы Вы сочли возможным хотя бы немного помочь мне в этом отношении.

Я лично убежден, что тема "Мейерхольд" стала очень важной для всех нас из-за трагического его конца. Вот это и дает мне смелость писать Вам и просить Вас.

Вот что меня интересует:

Его дом, семья, жена, дети.

Его быт, уклад, друзья.

Его характер.

С каких пор стала Райх его женой?

Их отношения, всё об их совместной жизни.

Что стало с его первой женой О. Мунт? Умерла? Развелись? Буду очень рад самым кратким Вашим ответам.

Заранее Вас благодарю.

Глубоко уважающий Вас Ю. Елагин

P.S. Я буду в N.Y. до 6-го октября. Потом выезжаю в Texas, где живу постоянно.

Oct. 16. 52.

Глубокоуважаемый Юрий Борисович!

Спасибо Вам за письмо. Говорил с известным русским художником и каррикатуристом Николаем Владимировичем Ремизовым (Вы, конечно, не можете помнить). Он просил Вам передать, что знал лично Мейерхольда в Петербурге и может сообщить Вам, буде Вы пожелаете, свои воспоминания о нем. Имеет также и, еще нигде не напечатанную, каррикатуру на Всеволода Эмильевича. Адрес Ремизова: Mr. N. V. Remisoff, P. O. Box 1057, Palm Springs, California.

С самыми лучшими пожеланиями Ваш М. Чехов.

Nov. 3, 1952.

Глубокоуважаемый Юрий Борисович!

Не знаю, как и благодарить Вас за Ваш чудесный подарок! Конечно, Ваша книга есть у меня, но ее и нет: ее постоянно кто-нибудь читает; теперь же она у меня ЕСТЬ! Да еще с такой надписью. Спасибо, спасибо большое, Юрий Борисович.

В одном из Ваших писем Вы советуете предложить мои воспоминания Чеховскому издательству. Самая интересная и важная часть этих воспоминаний не может быть опубликована, ибо кое-кто кое-где может пострадать за это; без этой же части воспоминания не имеют особой ценности.

Мои друзья из Нью-Йорка пишут с восторгом о лекции, которую Вы прочли о Мейерхольде (Только они ошибочно поняли, что будто бы надпись, сделанная на книге: "помню и люблю" — сделана самим Мейерхольдом, а не Волковым.) По-прежнему желаю Вам успеха, как в Вашей музыкальной, так и литературной работе.

Всегда Ваш М. Чехов

Опечатку на стр. 411 исправил. Исправлю и в том экземпляре, который читают друзья. Будучи в Москве, не слыхали ли Вы что-нибудь о судьбах: Виктора Алексеевича Громова и Владимира Николаевича Татаринова?

Дек. 15. 1953.

Глубокоуважаемый Юрий Борисович!

Еще больше обрадовался бы Вашему письму, если бы Вы не опечалили меня известием о серьезной и долгой болезни Вашей. Что же с Вами и как чувствуете себя теперь? Черкните, пожалуйста. Радуюсь, что работа Ваша подвигается. Пишете Вы по-русски или по-английски? Спасибо за "отчет" о Всевол. Эм. — очень, очень интересно! Известен ли Вам его конец? Правда ли, что его замучили и что он сошел с ума? Спасибо Вам за отзыв о моей статье. Помню, что писал, но что именно — уже забыл. Как велик будет объем Вашей книги?

Дай Вам Бог здоровья и сил. Всегда Ваш М. Чехов.
P.S. Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и с Новым Годом. Книги мои держите сколько угодно. Перечел, наскоро перепечатанное, предисловие и ужаснулся тем вольностям, которые, Бог ведает почему, позволил себе. Еще раз прошу Вас, ради книги Вашей прошу, — не щадите! Пожалуй, неукротимый темперамент мой виноват. Пора бы и смириться, ведь мне седьмой десяток пошел.

Искренне Ваш М. Чехов.
Адрес Сергея Львовича Бертенсона: Dr. S.L. Bertensson 263 S. Wilton Place Hollywood 4. Calif. Писем к нам Special Delivery посылать не стоит — они приходят всего на несколько часов раньше Air Mail и, обычно, в такое время, когда весь дом, включая наших собак, еще погружен в глубокий и невинный сон.

Dec. 15, 54.

Дорогой Юрий Борисович!

Простите за запоздалый ответ: много разных причин было тому, включая и несколько ухудшившееся здоровье. Да и это, как видите, не письмо, а записочка, цель которой поблагодарить

Вас за Ваше милое и, как всегда, доброе письмо, за возвращенную мне 1-ую главу и за Ваш ответ издательству по поводу моего гонорара.

Жду появления в свет Вашей книги!

Вашей супруге и Вам — самые лучшие пожелания к празднику Рождества Христова, от нас обоих.

Искренне преданный Вам М. Чехов.

Обратите внимание на "шуточку" в духе А.П. Чехова: в правом верхнем углу, полученного Вами письма из Чеховского издательства — Cable Address: "Чепухо"!..

25 апр. 1955.

Драгоценный Юрий Борисович!

Немощи мои угнетают меня до такой степени, что даже Вам не смог написать своевременно! Мне очень стыдно, но я знаю, что Вы простите меня!

Получил и немецкое издание "Укрощения искусств" и 3 экз. русского "Темного Гения". Спасибо Вам великое и поздравляю Вас от всего сердца! Насчет "дамского управления" — согласен с Вами вполне.

Гонораром своим за предисловие я доволен.

Буду писать Вам еще, когда прочту "Темного Гения". Жена моя уже впилась в Ваше произведение и я отошел на задний план, обеды опаздывают и кофе пьется холодный... Надеюсь, что Ваши музыкальные неприятности окончились.

Мои и моей жены самые сердечные приветы глубокоуважаемой Вере Николаевне. Простите за краткость этого послания, но мне необходимо прилечь.

Ваш всегда, всегда любящий М. Чехов.

27 июня 55.

Юрий Борисович!

Дорогой, добрый! Еще не могу написать — недомогание и всякая всячина внутренняя и внешняя — держат меня в тисках. Умоляю подождите. Не сердитесь. Люблю Вас и книгу Вашу

крепко. *Непрестанно* обнимаю Вас. Благодарю за письмо и за все!

Вере Николаевне мои лучшие, самые сердечные пожелания. Кс. Карл. Отдыхает на взморье — живу один.

Ваш всегда, всегда М. Чехов.

Sept. 24, 1952

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Спасибо Вам большое за письмо Ваше и за добрые слова о моей книге. Я очень, очень счастлив, что Вам она нравится. Ведь сейчас нет для меня в театральном мире имени, которое было бы наравне с Вашим.

Совсем молодым человеком, когда служил я в МХАТ-е 2-м, я очень дружил с Марией Александровной Кравчуновской. Сколько она мне о Вас рассказывала! Да и вообще всё в Вашем театре дышало памятью о Вас, как в вахтанговском театре — памятью о Евгении Багратионовиче.

Помню, я видел Вас в Художественном Театре в "Ревизоре". Было мне тогда лет 11 или 12. А в 1922 (или в 1923) году был я с моими родителями на "Принцессе Турандот". Вы были тоже в числе зрителей и "маски" — Щукин и Симонов — вызвали Вас на сцену. Вы вышли (как хорошо помню я Вас — в толстовке, небритого, с палкой) и прочли "Как я перестал верить в Бога". Некоторые Ваши интонации последних фраз этого маленького рассказа живут в моей памяти на всю жизнь — вот как-будто вчера это было.

Я с большой благодарностью воспользуюсь Вашим любезным предложением прислать мне "Мейерхольда" Волкова. Несмотря на все мои старания, я книги этой в N. Y. не нашел. Из библиотеки ее украли. У местных театральных людей ее тоже нет. Нигде нет и книги Мейерхольда"О театре". Роюсь в газетах, но недостаточно. Был бы страшно Вам обязан если бы Вы прислали мне Вашего Волкова на 4 месяца, т.е. до февраля. Я всю жизнь стараюсь быть точным и аккуратным. Книги люблю и всегда берегу. Если нельзя до февраля — напишите — и я вышлю Вам Ваши книги точно когда Вы скажете. Мне бы это чрезвычайно облегчило работу.

В N. Y. я буду до 7-го октября. После уезжаю в Houston, где буду играть в оркестре зимний сезон. Сюда же лучше посылать по адресу Чеховского издательства.

Еще раз благодарю Вас.

С глубоким уважением. Всегда Ваш Ю. Елагин

Oct. 4, 1952

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Большое, большое спасибо Вам за "Мейерхольда"! Я ведь его теперь наизусть выучу.

Завтра мой доклад в Литературном фонде, а послезавтра уезжаю в Texas. Доклад — это только первый черновой эскиз. Даже и не знаю как уложусь в один час.

Почему бы Вам не издать Ваши великолепные мемуары в Чеховском издательстве? Хотя я и не имею ни малейшего отношения к администрации этой организации, но думаю, что там были бы очень рады контакту с Вами (я, конечно, имею в виду Ваши воспоминания, напечатанные в "Новом Журнале").

Еще раз благодарю Вас за доброе отношение ко мне.

С глубоким уважением. Всегда Ваш Ю. Елагин

Feb. 6, 1953

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Согласно уговору нашему, должен я возвратить Вам в этом месяце "Мейерхольда". Но если он Вам сейчас не нужен, то был бы я очень благодарен за разрешение Ваше задержать мне его еще на некоторое время. Я его прочел несколько раз, но не законспектировал. Очень много занят всю эту зиму музыкальными делами. Кроме этого, недавно закончил длинную статью для радио об Эйзенштейне, для чего много прочел всяких материалов об этом талантливом и несчастном кинорежиссере.

В апреле кончаем сезон и тогда бросаю скрипку до поздней осени и погружаюсь в дела писательские. Пока же стараюсь читать все, что только могу достать. Прочел Sayler'a "The Russian Theatre", Станиславского "Работа актера над собой", Топоркова "Станиславский на репетиции". Только что приобрел Вашу новую книгу.

От всей души желаю Вам здоровья. Надеюсь, оно лучше у Вас сейчас, чем было перед Рождеством.

Всегда Ваш Ю. Елагин

P.S. 13-го этого месяца я и жена уезжаем в турне с оркестром. Вернемся 1-го марта. В том случае если "Мейерхольд" Вам нужен, то вышлю Вам его немедленно по возвращении в Houston, т.е. 2-3 марта.

Dec. 11, 1953

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Простите меня пожалуйста за то, что так долго ничего Вам не писал и до сих пор не возвратил Ваших книг. Все лето я жил в Vermont'e у моих друзей и много работал над Мейерхольдом. А вот осенью возвратился в наш Houston и захворал довольно серьезно. Лежу уж второй месяц и вся работа моя остановилась — и музыкальная и литературная...

Весной и в начале лета я приложил много усилий, чтобы закончить research — собрать материалы и встретить нужных мне людей. Мне удалось закончить эту часть работы весьма благополучно. Много людей помогли мне — в том числе Elia Kazan и Lee Strasberg с его великолепнейшей театральной библиотекой на всех языках (в том числе и на русском). В общем, я узнал все, что можно и нужно было узнать о творческой жизни Вс. Эм-ча за исключением южного периода 1919-20 г.г. Об этом периоде я тоже узнал много, но далеко не все, а некоторые сведения оказались очень странными и противоречивыми. Вообще, о личной жизни М-да знаю я значительно меньше нежели о его творчестве, но все-таки достаточно чтобы иметь вполне ясное представление о его характере, вкусах, привычках и жизненном укладе. Затруднило работу в целом то обстоятельство, что среди обилия материалов о нем, почти нет материалов об'ективных, беспристрастных. Он возбуждал лишь самые крайние чувства — либо острую ненависть, либо слепое обожание. Вдобавок к этому и сам-то он не отличался ни скромностью, ни терпимостью к инакомыслящим, ни критическим отношением к самому себе. Поэтому почти все, что написано им носит тенден-

циозный и односторонний характер. В действительности же не было в истории театра мастера столь творчески сложного, неровного, беспокойного, неустойчивого и противоречивого как Мейерхольд.

И потому, не сочтите' пожалуйста' за комплимент, если я выражу Вам мое мнение совершенно искреннее и, уверен, вполне обоснованное. Одна из лучших статей о М-де (а, возможно, самая лучшая) это Ваша статья — "Постановка "Ревизора" в театре имени Мейерхольда", напечатанная в сборнике "Гоголь и Мейерхольд" в издании "Никитинские субботники", Москва 1927 г. Нигде двойственность его творческой натуры не выражена с такой ясностью и силой как в этой Вашей маленькой статье. Помните ли Вы ее?

Невозможно, конечно, много написать в письме. И так уже оно затянулось. Но об одном моем выводе скажу Вам сейчас. Очень уж он мне показался неожиданным, хотя факты и сделали его для меня бесспорным. Вс. Эм-ч вечно жаловался на все на свете. Всегда был всем недоволен: актеры плохие (хотя один раз за всю его жизнь, в 1924 году, когда ставил "Лес", у него была отличная труппа), театр скверный, зал, сцена, свет, пьесы никуда не годятся, денег нет, ничего нет... Можно было бы сделать вывод, что свойственны ему были вечное недовольство, постоянная неудовлетворенность!.. Потому называли его: "летучий голландец", "великий неудачник", "разрушительный гений" и т.д. Это все верно только отчасти. На самом деле он знал совершенно точно чего он хотел и чего он, действительно, никогда не имел. В 1931 нищем и тяжелом году он в своей лекции в Харькове подробно описал свою мечту, те средства, которые нужны ему были для его искусства. Эти средства есть сейчас здесь в Америке — но никто их еще не поднял никогда до уровня искусства. Это большие современные show — icecapades, актеры-спортсмены, залы-стадионы на 30-50.000 человек, техника света, кино и радио. Это средства холливудских musical (в принципе и в идеале, конечно). И я не могу отделаться от странного убеждения, что Мейерхольд и современные американские show в незадачливой истории искусств нашего века — это две несчастные, никогда не нашедшие себя половинки.

За лето я написал пять глав моей книги (из одиннадцати).

Еще для одной главы мне нужны Ваши книги. Как только выздоровлю — сяду за нее. Зная Ваше доброе отношение к моей работе, надеюсь, что простите мне такую задержку.

Мои лучшие пожелания Вам и сердечный привет.

Всегда преданный Вам, Ю. Елагин

Sept. 27, 1954

Hartford 5, Conn.

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Я кончил биографию Мейерхольда и она выйдет в марте 1955 года в Чеховском издательстве, под названием "Темный гений".

Сегодня я посылаю Вам Ваши книги и приношу Вам за них мою глубокую благодарность. Если бы их не было постоянно со мной в течение этих двух лет, то моя работа, и без того трудная и кропотливая, вероятно так и не была бы закончена.

Теперь у меня к Вам огромная просьба: я был бы очень, очень счастлив, если бы Вы написали предисловие к моей книге. Конечно, размеры его зависели бы от Вашего желания — *чем больше — тем лучше*. Но если бы у Вас не оказалось времени, то и короткому я был бы чрезвычайно рад.

Я уже писал Вам, что Вашу статью о Мейерхольдском "Ревизоре" я считаю одной из лучших статей когда-либо написанных о творчестве Мейерхольда.

Высказанную Вами мысль о двойственной природе его искусства я взял в основу всех моих комментариев в этой книге (хотя я и стремился сократить их по возможности, и давать место об'ективному изложению фактов, но совсем обойтись без комментариев было, конечно, невозможно).

Я посылаю Вам первую (вступительную) главу книги — в ней больше всего моей отсебятины и оценка деятельности Мейерхольда изложена именно в ней. Также я посылаю Вашу статью о "Ревизоре" (Вы мне писали, что забыли ее содержание) и *прошу Вашего разрешения поместить ее целиком в конце книги в виде приложения.*

Всегда преданный Вам Ю. Елагин

P.S. После 8-го октября я буду снова в Houston'е на 3910 Yoakum, Apt. 3 и с нетерпением буду ждать Вашего ответа.

Nov. 6, 1954

Дорогой Михаил Александрович,

Не пристало мне говорить Вам комплименты, но по совести считаю предисловие Ваше великолепным. Счастлив и горд, что оно откроет моего "Темного гения". Большое, большое спасибо!

Особенно изумительна — как по блеску и взволнованности языка, так и тонким проникновением в сердце основного мотива творчества В. Э-ча — часть посвященная "темноте" его искусства (стр. 6 и часть 7-й).

Противопоставления методов психиатра и Мейерхольда, по-моему, совершенно блестящи. Страшно рад и благодарен! От Ваших добрых и лестных слов обо мне и о моей книге (на стр. 1, 2 и 7-й) у меня, откровенно говоря, голова немного идет кругом, но не хватает духу просить Вас придать им более умеренный тон. Если Вы написали их не сгоряча — то пусть они останутся такие как есть и будут приносить мне радость до конца моих дней. Хотя сейчас и делается мне от них не только радостно, но и страшно. Потому что ведь книги-то моей Вы еще не знаете (кроме глав 1-й и 6-й — надеюсь Вы прочли ее в "Новом Журнале"). А вдруг она Вам не понравится! Ведь многое в ней действительно "об'ективно", "научно", сухо и, наверное, скучно. Это ведь биография. Множество цитат, выписок и хронологических дат (я вообще почему-то к ним пристрастен).

Сознаюсь, когда посвящал Вам первую главу, искренне думал, что она хуже всех остальных (редактор в издательстве деликатно, но недвусмысленно мне на это намекнул), потому что очень уж "суб'ективна". А сейчас, после Вашего о ней отзыва, думаю, что она *лучше* всех других (всего в книге 15 глав). А что если так и есть?

О приложениях. В книге очень много всяких цитат, но только четыре статьи приводятся полностью и поэтому лучше их поместить в конце в форме приложений. Это те статьи, которые я счел по тем, или совсем иным, причинам особенно важными в творческой жизни В. Э-ча.

К главе 13-й приложение — Ваша статья,
К главе 14-й — режиссерская экспозиция гениальной "Пиковой дамы",
К главе 15-й — статья Керженцева "Чужой театр" и речь В. Э-ча по моей записи, как она приведена в "Укрощении искусств".

Теперь редакторская часть: Вы, Михаил Александрович, предоставили мне право быть редактором Вашего предисловия и я этим правом воспользуюсь с большой осторожностью, не только потому, что это Ваше предисловие, но и потому — что считаю, что хороший редактор должен "редактировать" как можно меньше, а не больше.

Доверие у меня к Вам безграничное и верю Вам, что Вы не обиделись бы и на сокращения. Но неужели только если бы я вообще бы выбросил Ваше предисловие — только в этом случае усмотрели бы Вы шаг к нашей дружбе?

Рискну, все-таки, и не выброшу, но и не сокращу. Не надо сокращать!

В целом предисловие превосходно подтверждает и укрепляет многие линии и темы моей книги.

Есть только две частности, которые лучше изменить.

1) *История с партийным билетом гимназиста.*

Всё дело в том, что легенда о перманентной революционности М-да (в политическом смысле) была придумана его друзьями и почитателями уже в советские времена (при его собственном, конечно, благожелательном попустительстве, а то и участии).

Даже когда он заведовал Петроградским ТОЕ (в 1918-19 г.г.) он еще *не был* членом ком. партии. Только после его злоключений на белом Юге (конец 1919 и 1920 г.) после приезда в Москву, в ноябре 1920 года был он принят в партию.

Но дело не только в формальном партийном билете. Лишь в его гимназические годы он действительно увлекался социалистическими идеями и дружил с "ужасными" революционерами (вроде А.М. Ремизова) и исповедовал всякие "прогрессивные" и "народные" идеи в искусстве.

Но уже с момента его поступления в Художественный Театр (в 1898 г.) и до революции 1905 года, когда революционные настроения в русском обществе шли бурным crescendo — его

революционный пыл потухал с необычайной быстротой — пока, как раз в самом 1905 году не оказался он в совершенно аполитичном (скорее "реакционном"), эстетском лагере модернистов из "Мира Искусства".

И впредь до самого Октября 1917 года держался В. Э. позиции чистого "искусства для искусства", часто активно защищая их в своих докладах и статьях (комментарии и цитаты из одной такой статьи посылаю в этом письме — это отрывок из 8-й главы).

Так вот — гимназиста-партийца — лучше смягчить.

2) Райх. Вы очень верно ее почувствовали, но пишете о ней чересчур мягко. Совсем она не шла за В.Э. с глубокой преданностью и верой. Райх была настоящим злым демоном последнего периода жизни В.Э. А выражаясь проще (и точнее) — большой ведьмой, разрушавшей его творчество, да и его душу. Я в моей книге о ней еще очень мягко пишу. Надо бы не так! У меня нет сомнений, что она была секретной сотрудницей НКВД, но т.к. ее "дела" я не видел, то мог только очень осторожно намекнуть на это важное "обстоятельство". Замечательно, что Вы с ней "расстались врагами"! Вы с ней только так и могли расстаться!

Один из отрывков (из 13-й главы) где говорится о личной жизни ее и В.Э. я Вам посылаю в этом письме. И, наконец, на 2 стр. я немного смягчил Вашу фразу о Мейерхольде-революционере. Он ведь не только "не расстреливал", но, как показала его жизнь в искусстве, многих действий партии и не оправдывал. Но т.к. имел партийный билет, то ответственность за эти действия нес (в какой-то мере).

Редакцию этих трех изменений я Вам посылаю в этом письме. Если ничего против них не имеете — то примем их, и предисловие пойдет в издательство. Очень Вас прошу, Михаил Александрович, *возвратить* мне при случае два отрывка, которые вложил в это письмо (из 8 и 13 глав).

И еще одна просьба. Не откажите в любезности сообщить мне *адрес С.Л. Бертенсона*. У нас с ним была дискуссия — даже спор — о В.И. Немировиче-Данченко. Никто из нас в споре друг другу не уступил. А вчера я перечитал одну главу "Т. Гения" и

неожиданно понял, что С.Л. сильно на меня повлиял. Хочу ему об этом написать.

Вот, кажется, и все. Это письмо хотел отправить 4-5 дней тому назад, но на прошлой неделе состоялось весьма торжественное открытие нашего симфонического сезона в новом зале и с новым дирижером (очень хороший — Ferner Fricsay из W. Berlin'a) — так что мы с женой совсем сбились с ног.

Спасибо Вам большое, Михаил Александрович!

Жена просит меня передать Вам ее искренний привет. Она знает Вас только с моих слов и по "Rapsody".

Преданный Вам Ю. Елагин

Nov. 19, 1954

Дорогой Михаил Александрович,

Большое спасибо Вам за статью и за письмо. Очень, очень меня обрадовал Ваш отзыв о двух отрывках. От него еще прибавилось у меня уверенности. Статья Ваша и раньше была совершенно великолепна, а теперь Вы ей еще придали — но совсем не румян и не липстику, а настоящего огня, живого блеску в глазах, подлинного румянца! Безгранична Ваша энергия, Михаил Александрович! По этому маленькому факту, по тому, как быстро прислали мне предисловие, по его тону, вижу, что совсем Вы не постарели с тех пор как 12-летним мальчиком я видел Вас с Москвиным в "Ревизоре". Когда это было? В 1922 году или, может быть, во сне...

В прошлом письме я сообщил Вам только об изменениях в содержании Вашего предисловия ("сам не расстреливал", "партиец-гимназист" и "Райх"). Так как Вы приняли эти изменения, то все, из них исходящие, мелкие редакционные поправки, я, конечно, произвел и сейчас все выглядит совершенно логично. Думаю, что не стоит мне затруднять Вас и перечислять эти мелкие поправки — их количество я свел до minimum'a и все они связаны с "партийным билетом гимназиста".

В самой первой фразе я оставил "Ю.Б. Елагин" и еще один раз в середине предисловия, а во всех прочих случаях — просто "Елагин", как это и есть у Вас. По-моему, так лучше.

Насчет знаков препинания. Увы, ничем не могу тут помочь Вам! Я ведь сам совершеннейший невежда в этой области грамматики (впрочем и в других тоже — грамматики не знаю и пишу "на слух"). Вся наша с Вами надежда на редакторшу нашу — Татьяну Георгиевну Терентьеву. Она, по-моему, дама вполне грамотная и хорошо знает грамматику.

Искренне благодарю Вас за совет "облегчить" русские имена и устранить отчества в возможных иностранных изданиях. Боюсь только, что не только отчества окажутся трудными для иностранных читателей, а и вся книга в целом. Я был бы очень счастлив увидеть "Темного гения", изданным на английском языке, но далеко не уверен, заинтересуются ли им американские издательства. Главная моя проблема, как и всегда — перевод. Я прилично из'ясняюсь по-английски (прошлой весной даже лекцию прочел о дирижерах — в местном ladies Club'e), но, конечно, переводить сам мои писания не могу.

Теперь, Михаил Александрович, маленький деловой вопрос. Из издательства я получил письмо, которое считаю нужным переслать Вам, т.к. оно Вас касается. Я ответил на это письмо так: об условиях мы с Вами никогда не договаривались, но заплатить Вам следует возможный maximum, потому что: 1) предисловие превосходно и размер его солидный. 2) Написано оно великим актером нашего времени. 3) Издательство носит имя дяди этого актера. Вот и все "дело".

Благодарю Вас за скорую присылку назад отрывков из глав 8 и 13. Но первую главу присылать не надо было. В свое время я напечатал специально для Вас лишнюю копию, и пусть уж она у Вас и лежит в старых бумагах, хотя она Вам, конечно, и совсем не нужна.

Все дело в том, что Вы, для меня, Михаил Александрович, не только живой человек, добрый и талантливый, с которым я переписываюсь, а и нечто много большее. Вы — символ. Вы и Вахтангов. Актер и режиссер... Ведь для того, чтобы писать о том, о чем я пишу — нужна какая-то вера, или идея. И нужны художники ее олицетворяющие. Вот вы оба, да еще Стравинский. Отчасти Прокофьев...

Сердечный привет от меня и от жены Вам и Вашей супруге.

Всегда преданный Вам Ю. Елагин

P.S. Очень виноват, что будил Вас Special delivery. Их больше не будет!

April 12, 1955

Houston 6, Texas

Дорогой Михаил Александрович,

Вот уже два месяца как я каждый день жду извещения о выходе моей книги. Но, пока что, тщетно... Странная сия ситуация, вероятно, об'ясняется тем, что Чеховское издательство есть учреждение совершенно дамское, т.к. управляется оно тремя дамами. Отсюда и происходят многие необыкновенные и непонятные, на первый взгляд, особенности в его работе. Так — напр., несмотря на неоднократные мои вопросы, мне так и не сообщили дату выхода книги в свет. Уверен, что не по злому умыслу, а просто забыли... Корректуру книги и Вашего предисловия я проверил и отослал три месяца тому назад. Как ни странно, но редактор почти ничего не выбросил и книга появится в своем так сказать оригинальном, авторском виде. Но зато грамматических ошибок и наимельчайших опечаток было такое превеликое множество, что у меня создалось впечатление, что наборщик был совершенно пьяный — либо в первый раз в своей жизни видел рукопись на русском языке, и потому got confused very much ... Я так и написал в издательство.

После неоднократных напоминаний и просьб мне сообщили (письмо Т.Г. Терентьевой от 2 марта), что Вам будет послан чек на $100 и три экземпляра книги. Конечно это не вполне приличный гонорар, но они уверяют (в том же письме), что это их maximum за предисловие.

Наш симфонический сезон недавно закончился. Носил он чрезвычайно драматический характер и привлек к себе внимание всего американского музыкального мира (даже в Time писали о нас дважды). Мы же все порядком поистрепали себе нервы. Доходило дело до настоящего саботажа — когда мы все умышленно играли концерт как можно хуже. Все дело в том, что местные миллионерши, которые управляют всей культурной жизнью нашего богатого города, в прошлом сезоне выгнали хорошего дирижера (Ефрема Курца), а в середине этого сезона

тоже выгнали гениального артиста, одного из величайших дирижеров нашего времени — Ferenz'a Fricsay. Причем ошельмовали его и закрыли ему надолго в'езд в Америку. Нам же пытались навязать ничтожного дирижера, нахала и шарлатана... После нашего "бунта", дирекция уступила и на будущие три сезона подписали контракт со Стоковским. Все-таки артист и хороший дирижер...

Очень надеюсь, что Вы чувствуете себя хорошо и здоровы. Мой сердечный привет Вам и Вашей супруге.

Всегда преданный Вам Ю. Елагин

Sept. 21. 1952.

Глубокоуважаемый Юрий Борисович!

Спасибо Вам за письмо. Был рад ответить на Ваши вопросы, но к великому огорчению моему теперь ничего уже не помню, а многого и совсем не знал. Так, два-три пустяшных анекдотика застряли в памяти. Известна ли Вам книга Николая Волкова: "Мейерхольд" (два тома)? Издан "Academia" Москва-Ленинград 1929. Если сочинение это Вас интересует и Вы не сможете достать его — могу выслать Вам оба тома по почте.

Да, очень, очень важна сейчас книга о Мейерхольде. Рад душевно, что Вы будете писать о нем.

С искренним уважением М. Чехов.

Вашу блестящую книгу приобрел на русском и английском языках и всячески распространяю ее среди знакомых. Сейчас заглянул в Encyclopedia Britannica: там сказано, что Мейерхольд написал книгу "Театр", кот. была издана в Петербурге в 1913 г.

РОКОВОЙ ШАГ

1

В 1959 и в 1962 годах я дважды выезжал за "железный занавес" в качестве советского туриста, не имея никаких заданий КГБ. И оба раза я был близок к прыжку в "свободный мир", страстно желая покончить в себе с той личностью, которая называлась "Сулико" и которая много лет была на "передней линии невидимого фронта классовой борьбы с внешним врагом", как это сформулировал в день моей вербовки майор гос. безопасности Сергей Румянцев. Я хочу коротко воскресить эти два эпизода, потому что в них скрывалось то, что накапливалось годами во мне. По поверхности жизнь текла гладко и была полна удовольствий, активной работы на "ниве" литературы и искусства, творческих успехов и так далее. Ведь кроме моей деятельности по линии КГБ, я писал пьесы и сценарии, по которым ставились фильмы и спектакли. Помимо того, я бывал на всяких важных заседаниях в Союзе Советских Кинематографистов, на фестивалях, на многих правительственных или полуправительственных приемах. Это по поверхности. Это то, что можно было видеть со стороны. В душе же моей шла изнурительная ревизия всего, что было вокруг меня и, в первую очередь, самого себя. Внутренне, я уже окончательно решил порвать с КГБ и подготавливал почву для реального побега от самого себя, то есть от той части самого себя, которую я в себе ненавидел. Я уже не мог оправдываться перед своей совестью тем, что я-де "притворяюсь", что я-де в глубокой разведке в

Мы печатаем отрывок из готовящейся книги Ю. Кроткова "Побег на Запад". *РЕД.*

"тылу врага". Все эти психологические выкрутасы, в которых правда смешивалась с фальшью, со временем обветшали и уже не работали. Я стоял на рубиконе рокового шага. И эти две попытки бегства в "свободный мир", о которых сейчас пойдет речь, свидетельствовали о духовном кризисе, о том, что я был уже на грани абсолютно *неотвратимого*.

Первая поездка была групповая, на автомобилях, в Польшу, Чехословакию и Восточную Германию с заездом в Берлин, где предполагалось провести три дня. А тогда на метро еще можно было проехать из восточного сектора города в западный, в то время как Бранденбургские ворота и другие пограничные пункты контролировались.

В эту группу меня включили по рапорту начальника 1-го Главн. Управления КГБ СССР генерала Грибанова и я автоматически прошел все проверочные "экзекуции" (проверка благонадежности), которые были не менее строги, чем те, которым подвергаются советские туристы, выезжающие в капиталистические страны. Повторяю, я не имел никаких заданий КГБ, однако в тот день, когда нас всех (а нас было пятнадцать человек) *инструктировали* соответствующие чиновники, ко мне подсел один из наших туристов, Александр Сергеевич, узкоплечий, с впалыми глазами и, небрежно улыбнувшись, тихо сказал:

— Вам привет от Леонида Петровича.

Об этом я был заранее предупрежден полковником Кунавиным. Он просил меня "содействовать" КГБ в "профилактической" работе. А Александр Сергеевич был офицером КГБ, значась в списках туристов инженером с Братской ГЭС. В те времена люди КГБ посылались с туристическими группами, выезжавшими за границу, в виде награды за хорошую "производственную деятельность", им оплачивались путевки и давалась на руки кое-какая валюта для покупки подарков жене и детям. Так что сотрудники органов Гос. Безопасности тогда охотно соглашались сочетать удовольствие (побывать, например, в Венеции или в Париже) с "профилактической" работой по наблюдению за "рядовыми советскими трудящимися", за их поведением за пределами страны. Позже охота эта пропала, потому что некоторые "рядовые" стали бежать на Запад, и тогда

людям КГБ, выступавшим на ролях инженеров с Братской ГЭС, приходилось плохо. Если их не сажали, то увольняли из КГБ и исключали из КПСС, что было для них полной катастрофой.

В Берлине нам отвели номера в гостинице "Адлон" у Бранденбургских ворот, разделяющих город на советский и западные секторы. Примечательно, что у всех у нас на три дня были отобраны ключи от зажигания, так что пользоваться машинами в Берлине мы не могли. Нам предоставили автобус. Это было сделано, вероятно, потому что власти боялись, как бы кто из нас на "Москвиче" или "Волге" не проскочил бы со скоростью 80 километров в час через Бранденбургские ворота в "свободный мир". А такое случалось. В первый день мы посетили Потсдам. Когда вся группа осматривала дворец Сан-Суси, где встречались Трумэн, Сталин, Черчилль и Этли и где Трумэн, кажется, играл для Сталина на рояле, я остался в саду отдохнуть. Помня Потсдам по прежним временам, когда я здесь часто бывал, я знал, что мне ничего бы ни стоило выйти из сада, пройти немного пешком, сесть на трамвай, доехать до станции, сесть там в электричку и сойти в Западном Берлине. Все это заняло бы полчаса, минут сорок, не больше. И все это было так просто осуществить. Я вертелся на скамейке как уж, оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает. Вставал, садился, опять вставал. Все внутри у меня похолодело. Лоб покрылся испариной. Сердце стучало глухо, будто оно стучит где-то на стороне. Я твердил себе: "Нет, нет, бежать надо без риска, будучи абсолютно уверенным в успехе". А тут был риск. Прежде всего, я не был уверен в том, что электричка из Потсдама в Берлин останавливалась в западном секторе, точнее в американском. Наводить же справки было опасно.

Когда мои товарищи из группы вышли из Сан-Суси, кто-то спросил меня:

—Вы здоровы? Вы что-то побледнели?

Вечером мы были в драматическом театре и смотрели какую-то новую пьесу. Вокруг кишели американцы, англичане, французы. Немцев было мало. "Союзникам" тогда разрешалось посещать советский сектор города без ограничений. Стоило бы мне в антракте подойти к одному из них, заговорить, намекнуть

на мое желание бежать на Запад и, может быть, кто-нибудь из них и согласился провезти меня через контрольно-пропускной пункт на машине с американским или британским номером. Ну, а если бы они побоялись провокации? А органы Гос. Безопасности СССР и Германской Демократической Республики могли решиться на это. Да еще как! И я опять твердил себе: "Нет, нет, бежать надо без риска, абсолютно уверенным в успехе". Кроме того, я знал, что за нами следят не только Александр Сергеевич, но и агенты берлинского опер-центра КГБ; днем несколько "мальчиков" в кепочках заглянули в номер,в котором был Александр Сергеевич и они о чем-то там шептались.

Перед отъездом из Берлина в Саксонию, мы были приняты послом СССР в ГДР. Состоялся "задушевный" разговор, традиционный и наредкость театральный. Когда же мы вышли из посольства на Унтер ден Линден и сели в наши машины, обнаружилось, что среди нас не было Александра Сергеевича. Я уж подумал, что он опередил меня и уже разгуливает в "свободном мире". Но оказалось, что он задержался в посольстве у какого-то своего "дружка". Собственно, это я, отправившись на розыски, выяснил. Александр Сергеевич попросил меня подождать его на улице. Я вышел на Утрен ден Линден и стал прохаживаться. Никто не обращал на меня внимания. Я наблюдал за немцами, которые спускались в метрополитен и поднимались из него. И опять я подумал о том, что ведь так просто, подойдя к станции, юркнуть вниз, купить билет (марки у меня были) и через пятьдесять минут сойти где-либо у Кни в английском секторе города. Был момент, когда ноги сами понесли меня по направлению к метро, но ноги сами и остановились и понесли меня обратно. Я вспомнил, как в юности, когда я не решился прыгнуть с пристани головой вниз в воду (это было в Анапе на Черном море), отец мой с досадой произнес: "Эх, кишка тонка!" И я опять и опять твердил себе: "Нет, нет, бежать надо без риска, с абсолютной уверенностью в успехе". Я же ведь не знал наверняка, ходят ли вагоны метро между советским и западными секторами без проверки пассажиров. Навести же справки я не мог, боялся.

В Японии я был гораздо ближе к рубикону.

Это тоже была туристическая поездка. Накануне вылета из

Москвы, майор Вера Ивановна Андреева познакомила меня с членом нашей группы, подполковником КГБ, Козловым, сухим, подтянутым, с желтыми пятнами на щеках. Мне предстояло "помогать" этому фиктивному работнику ВЦСПС следить за порядком и, главное, за тем, чтобы никто из "советских патриотов" не сбежал в лагерь японских империалистов.

Тот факт, что Козлов "положился" на меня, конечно, позволил мне быть во время путешествия более независимым и делать то, что в общем, не рекомендовалось.

На этот раз я твердо решил на родину не возвращаться. Я взял с собой очень дорогую фотокамеру "Кенон" и японский транзистор "Рекорд", купленные в московском комиссионном магазине за баснословные деньги. Я считал, что в крайнем случае я смогу продать эти вещи в Токио и прожить на вырученные иены месяц, два. Я мысленно простился с тем, что было мне близко и дорого: с семейным альбомом и этюдами моего отца, висевшими почти двадцать пять лет на стенах моей комнаты.

На теплоходе "Серго Орджоникидзе", между Находкой и Йокогамой, я заболел. Появились общее недомогание и слабость в ногах. Может быть, это было от перемены климата. Вместе со мной заболел и еще один член туристической группы, известный московский карикатурист Сольфертис.

Лежа в номере гостиницы "Сиба Парк Отель", я был весь в мыслях о бегстве и чем отчетливее я это себе представлял, тем мне делалось страшнее. Доходило до того, что я упрекал себя в предательстве и называл себя изменником родины. Единственным моим защитительным аргументом было право человека на духовную свободу. Во мне сражались человек с "советским продуктом" и его коллективистской моралью. Может быть, тогда я понял, как во мне, даже помимо моей воли, укоренились идеи коллективизма, хотя я и осуждал их, считая высшим — индивидуальность. В этих внутренних сражениях я был один, абсолютно один. По всему судя, японская разведка советскими туристами не интересовалась. Зато в Токио нас окружили плотным кольцом "наши товарищи" из советского посольства, в частности Феофанов и Кашкин, представлявшие "Интурист" и "Экспортфильм" (на самом деле агенты КГБ).

Оправившись немного от хвори и выходя на улицу, я выяснил местонахождение посольства США, затем отправился туда и осмотрел огромное здание, прикинув, как я подъеду на такси, брошу японским полицейским у ворот "Хелло, бойс!", потом войду во двор, а там в первое попавшееся парадное. Я рисовал себе картины того, что должно произойти потом. Единственное, что меня беспокоило, так это то, что я должен был обратиться к американцам в стране, которая принадлежала японцам.

Я долго простоял против посольства США, заглядывая в лица людей, входивших и выходивших из него, я рассматривал японских полицейских, машины, въезжавшие и выезжавшие из посольства. Я старался не пропустить никакой мелочи и я точно изучил дорогу от "Сиба Парк Отель" до посольства США, дважды пройдя ее пешком.

Но на сердце моем лежала гнетущая тяжесть. Стоило же мне вечером решить, что я откладываю бегство до последнего дня пребывания в Японии, как мне сразу сделалось легче, тяжесть на сердце пропала, и я начал жить нормально, получая удовольствие от возможности наблюдать красивую и необыкновенную страну.

Накануне отлета из Токио в Дели, в Индию, после ужина, я опять пошел к посольству США. Был теплый вечер. Я поднялся на горку, где находилась будка полицейского, где стоял шлагбаум и висели американские надписи, так напоминавшие мне аналогичные в Западном Берлине. Отсюда я увидел, что в здании посольства в нескольких окнах горел свет. Я встретил каких-то американцев, медленно шедших в сторону отеля. Я бродил тут около часа.

Нет, я не предпринял ничего. Я твердил себе: "Приду сюда завтра рано утром, до отлета в Дели". Я хотел, чтобы меня принял сам посол США в Японии, я хотел рассказать ему об операции КГБ, направленной против Мориса Дежана, я хотел, чтобы меня немедленно транспортировали в Вашингтон или чтобы в Токио прибыл личный представитель президента США. Я был полон мании величия и думал, что мои разоблачения сотрясут весь мир.

Утром я встал в семь часов с головной болью и слабостью в

ногах, от бессоницы; умылся, оделся, взял с собой фотокамеру "Кенон", транзистор, две плитки шоколада, купленные еще в Москве на "черный день", надел летнее пальто, и с холодеющим сердцем вышел в коридор, вызвал лифт и спустился вниз. В ресторане отеля кое-кто уже завтракал. Но моих соотечественников и подполковника Козлова (который вставал раньше всех) еще не было. Я быстро поел и медленно направился на улицу, как бы в последний раз поглядеть на город. Я пошел в сторону посольства США. Однако через 100 или 200 шагов остановился. Вернуться не поздно, подумал я, если даже меня хватились. И вдруг страшная мысль пронизала мозг: ведь вот тут сейчас я мог встретиться с Феофановым и Кашкиным, которые "обещали" приехать проводить нас. А если бы они меня увидели, они могли заподозрить недоброе и тогда моя песенка была бы спета. Но на улице было спокойно. Светило солнце и где-то щебетали птички.

Да или нет? Вот вопрос, вертевшийся в моей голове. Да или нет? Я двигался, я еще не утратил способности двигаться, но в каком направлении я двигался? Нет, я не шел в сторону посольства США, а возвращался в "Сиба Парк Отель". И мне было ужасно противно. Ведь я опять струсил. Опять послышались отцовские слова: "Эх, кишка тонка!" Я отирал со лба пот. Задержавшись на минуту у витрины магазина "Тошиба", я разглядывал японские телевизоры, но делал это для того, чтобы создать впечатление обычной прогулки, словно кто-то за мной следил. Больше того, я начал после этого фотографировать улицы Токио, якобы убеждая кого-то в том, что ради того я и вышел из отеля в столь ранний час.

Мне было очень гадко думать о самом себе, но тут же была спасительная мысль. Я говорил себе: "Нет, я еще не готов к этому прыжку. Я совершу его в будущем году, а пока засяду в Москве за книгу, напишу *все,* решительно все, и уйду на Запад с *книгой".* И еще одна мысль успокоила меня: "После моего благополучного возвращения из Японии, КГБ без колебаний выпустит меня за границу и в будущем году".

В отношении КГБ я оказался прав. Ровно через год, то есть в сентябре 1963 года, мне была предоставлена возможность, опять же в качестве туриста, выехать в Англию. А в течение года

я действительно писал книгу, в которой рассказывал о 17 годах моей коллаборации с органами Гос. Безопасности СССР.

2

Летом Юля Кун, который заменил меня в ухаживании за Мари-Клер, приехал из Таллина в Москву с предложением создать полнометражный художественный фильм о "доблестных советских разведчиках". Он горел высоким патриотическим желанием и в этой области быть полезным КГБ. В то же самое время он преследовал и меркантильную цель. Работа над таким фильмом позволила бы ему перебраться из Эстонии в Москву, то есть перевестись со студии "Таллинфильм" на студию "Мосфильм", надеялся он и на успех нового фильма, на похвалы в центральной прессе, предполагая, что на увлекательный детектив зритель повалит валом.

Отказаться от соавторства я не мог, так как это бросило бы на меня тень подозрения в момент, когда почти все уже было готово к моему отъезду в Лондон. Короче, я согласился, так как решил, что это еще более укрепит мое положение в КГБ и явится отличным прикрытием для побега на Запад. Юля Кун немедленно нажал на все кнопки, чтобы устроить встречу с генералом Грибановым и убедить его стать нашим консультантом. Он договорился на этот счет с Верой Ивановной. Она передала все Олегу Михайловичу, которому затея понравилась, но который, однако, спросил Веру Ивановну:

— А вы думаете, они справятся?

После нескольких телефонных звонков, откладываний, проволочек встреча с генералом состоялась. Это была моя первая и последняя встреча с "Маленьким Наполеоном", которого я так хорошо знал до того заочно, не видя его.

Мы с Куном пришли на квартиру по улице Неждановой. Нас ждала Андреева, но Грибанова еще не было. Он опоздал минут на двадцать. Войдя в переднюю торопливой походкой, генерал сразу обратился к Марии Гавриловне, полной даме лет шестидесяти, очень приятной внешне и милой в обращении, она была штатным сотрудником КГБ и работала домохозяйкой в этой квартире Грибанова:

— Пельмени готовы? А то я уйду...

— А как же мы, Олег Михайлович? — шутливо произнес я.

Мы поздоровались, прошли в кабинет, сели в кресла. Завязался разговор.

— Дорогой Олег Михайлович, — начал я, — мы с Юлей Куном не из тех, которые гонятся за темой, хотя быть актуальным и стремиться к успеху и не возбраняется. То, к чему мы пришли — плод серьезных размышлений. Наш задум подсказан необходимостью создавать большие позитивные произведения искусства, наполненные большими гражданскими мыслями. Ведь за последнее время появилось столько сомнительных кинофильмов, с сомнительными "либеральными" идейками...

О, моему лицемерию не было предела! Я говорил то, что было угодно услышать "боссу". Тем не менее он перебил меня:

— А кто в этом виноват? Вы, вы... Я имею в виду не вас лично, а вообще работников литературы и искусства. Вот, например, я смотрел недавно в театре имени Вахтангова новую пьесу "Черные птицы". Все в ней хорошо, но все неправда. Дело в том, что при Сталине, ошибки которого мы признаем, было много честных людей, людей преданных партии. И в органах Гос. Безопасности. Большинство было таким. А в этой пьесе действуют одни подлецы. Так нельзя.

Когда Грибанов говорил это, я думал о том, что оба мы, он и я, были абсолютными подлецами. Однако и он и я представлялись честными людьми, людьми преданными партии. Из этих и последующих слов генерала я понял, что он, как "босс", нашел внутренний баланс именно в этом тезисе: были, мол, и хорошие и хороших было больше, чем плохих. Грибанов пытался отмахнуться от кровавого прошлого, забыть его или, если это уж необходимо, искажать его, то есть трактовать минувшие годы невиданного террора в розовом свете: хороших, мол, было больше.

— Вот мы и хотим создать героический фильм о советских разведчиках, — сказал Кун. — Но нам нужна ваша конкретная помощь, Олег Михайлович...

В этот момент вошла Мария Гавриловна в новом кружевном фартучке и, слегка поклонившись, с милой улыбкой на лице, торжественно объявила:

— Пельмени поданы.

Мы перешли в столовую. Стол был накрыт изысканно, но скромно. Пельмени мелкие, как орешки, особенно приготовленные по рецепту Грибанова.

— Сибирские, — заметил он. — У нас в Сибири такие. Я их с детства помню. Прошу. Вера Ивановна, а какое у нас вино?

— Грузинское, "Хванчкара" и "Оджалеши" из Кремлевского запаса. Вы же их любите, — ответила Андреева.

— Да, да, прошу, товарищи. Чем богаты тем и рады. Ох, пельмени хороши, — и он крикнул в сторону передней и кухни, куда ушла Мария Гавриловна, — Спасибо за пельмени! Спасибо!

Он ел с аппетитом. Мы выпили по бокалу вина, за здоровье генерала и Веры Ивановны, которую Олег Михайлович в этом случае назвал "нашей дамой", отчего она даже зарделась, глядя влюбленными глазами на своего большого начальника и фиктивного мужа.

— Ну, что ж, — поправив роговые очки и отпустив немного галстук, начал Грибанов, — я могу дать вам различные факты из деятельности органов Гос. Безопасности, а уж это ваше дело организовать их в виде сценария.

— Разумеется, — поспешно произнес я. — Мы вас слушаем.

— Олег Михайлович, вы так много делаете для нашего советского государства, — льстиво вставила Андреева, — сделайте и это. Помогите кинематографистам.

— Вера Ивановна любит применять метод легкого подхалимажа, — с улыбкой бросил генерал.

Тут, выводя Андрееву из затруднительного положения, я сказал:

— Олег Михайлович, я бы хотел написать сценарий, в котором не только бы вылавливали иностранных шпионов, не только бы переодевались и стреляли из бесшумных пистолетов, — нет, мне бы хотелось написать о том, какое участие принимают наши разведчики в той острой идеологической борьбе, которая происходит сейчас в мире. Я бы хотел показать наших разведчиков крупнее, умнее, значительнее.

— Прекрасно. Вот вам первый факт. Важный метод нашей работы — профилактика. Предупреждение возможных ошибок. Ведь наши люди все еще легко попадаются на удочку врага. Я

лично, к примеру, звонил первому секретарю московского городского комитета партии и просил его встретиться с нашим популярным поэтом Евгением Евтушенко перед его выездом за границу. Тот беседовал с Евтушенко, направлял его, по-дружески и по-партийному, хотя Евтушенко еще не член КПСС. А мой заместитель постоянно работает с другим популярным поэтом, Андреем Вознесенским, разумеется тактично, деликатно, обучает его жизни, открывает ему глаза на реальность Запада. Они ведь молоды, неопытны, падки на внешнее. Мы оберегаем их. Это наш долг. К тому же они могут быть весьма полезны нам с агентурной точки зрения — ведь после каждого выезда за рубеж, такие люди привозят кучу интересной информации, которую мы пускаем в обработку. Замечу, что мы теперь резко сократили аресты. За последний месяц, к примеру, по всей стране было не более 800 политических арестов. Это пустяк по сравнению с прошлым. Но это, между нами разумеется, все, что я говорю, не подлежит разглашению, как вы понимаете. Кроме того, мы вошли в административный отдел ЦК КПСС с предложением о помиловании тех, которые сами приходят к нам с повинной. В результате нашего ходатайства, правительство вынесло специальное постановление. Вот если кто-либо из советских граждан сбежит на Запад, теперь он имеет шанс вернуться обратно и не быть наказанным, после соответствующей проверки, конечно. Прежде чем обвинять человека в каком-либо политическом преступлении, прежде чем изолировать его, мы досконально изучаем материалы следствия. Не так ли, Вера Ивановна? Тут нельзя проявлять торопливость. Вот, к примеру, дело Олега Пеньковского. Я не арестовывал его до тех пор, пока акции этого изменника не стали нам окончательно ясны.

Когда Грибанов распространялся о "профилактике", мне невольно вспомнился такой эпизод: полковник Кунавин, по его словам, лично беседовал в гостинице "Советская" с известным киноактером Стриженовым, перед поездкой последнего в Швецию. Между ними дело чуть не дошло до кулаков. Вспыльчивому и драчливому Стриженову не понравились "профилактические" назидания Леонида Петровича. Он стал возражать, они заспорили, да так, что, повторяю, чуть было не пошли в ход кулаки. И все же Стриженова за рубеж выпустили.

Был залог: жена и ребенок. Но Кунавин говорил мне о нем, краснея и негодуя. Наступил бы подходящий случай и он показал бы ему где раки зимуют, то есть что такое на деле "профилактика". А Стриженов, как бы он ни был драчлив, все же в гостиницу, по приглашению КГБ, явился, потому что знал, что не явиться нельзя. И он, наверное, дал подписку о том, что содержание разговора с представителем органов Гос. Безопасности разглашению не подлежит. Вероятно, такую же подписку дали и Евтушенко с Вознесенским. А, собственно, чем же они были лучше Сергея Михалкова, или Георгия Мдивани, или нынешнего редактора "Литературной газеты" Александра Чаковского, поддерживающего тесные отношения с КГБ? Вступая на этот путь, люди заключают договор с "дьяволом" навечно. Правда, внешне часто соблюдается "декорум" независимости личности, делается все для того, чтобы не очень уж обидеть особенно обидчивых, капризных и щепетильных, порой вещи не называются своими именами и кооптированного убеждают, что он не кооптированный, а всего лишь патриот родины и что с ним поддерживают товарищеские отношения и так далее.

Генерала Грибанова несколько раз вызывали к телефону. Он выходил в переднюю, тщательно закрывая за собой дверь и поэтому содержание его разговоров услышать было нельзя. Возвращаясь к столу, Олег Михайлович опять налегал на пельмени, опять хваля Марию Гавриловну, которая уже два или три раза вносила с кухни блюда с новыми, только что вываленными из кострюли, пельменями.

— Хороши! Хороши! — восклицал, причмокивая, генерал.

Мы распили обе бутылки вина. Между прочим, вспомнили о Дежанах. Затем Грибанов рассказал о нескольких случаях, когда сотрудники 1-го и 2-го Главных управлений КГБ старались предупредить предательства советских людей за границей. В Брюсселе "жертвой" оказался бывший помощник заместителя министра иностранных дел СССР. Другой "жертвой" оказался сын заместителя министра внешней торговли. Обоих, как сказал Грибанов, хотела завербовать бельгийская разведка. Но в обоих случаях победили якобы резиденты КГБ в нашем посольстве. Они "спасли" наших людей. Тут Грибанов подчеркнул важную роль партийных комитетов в советских посольствах. Однако

генерал признал, что одна из этих "жертв" никак не могла после возвращения в Советский Союз устроиться на работу и Грибанов якобы помогал ей даже материально, ну и писал всякие ходатайства в защиту "жертвы".

Генерал говорил это, а я про себя думал: "Нет, если я сбегу, ты меня не пощадишь..."

Грибанов с удовольствием рассказал нам и о том, как они вместе с зятем Никиты Хрущева, редактором "Известий" Аджубеем, в дни молодежного фестиваля в Вене, раздобыли каким-то образом портфель одного западного агента с телефонами и адресами всех его помощников. Люди Грибанова обзванивали этих деятелей, насмехались над ними, шантажировали их и даже угрожали им публичным скандалом. Словом, как заявил Грибанов, вся агентурная сеть врага была выведена из строя.

И уж совсем генерал упивался, рассказывая нам о том, как он провел английскую "Интеллидженс Сервис" в Прибалтике, где британцы пытались поддержать повстанческую деятельность латышей. Он рассказывал о том, как переодетые сотрудники КГБ принимали на Рижском взморье диверсантов из Англии и большое количество оружия и спец. оборудования: моторные лодки, рации и пр. Когда английское предприятие провалилось, Грибанов, по его словам, послал в Лондон поздравительную телеграмму. Между прочим, вся эта эпопея была описана в журнале "Огонек", куда генерал передал соответствующие материалы.

Когда ужин подходил к концу и я понял, что ничего особо интересного из Грибанова не выудишь, потому что настоящих секретов он, конечно, нам выдать не мог и в общем отделывался второстепенными историями, меня вдруг осенило и я сказал:

— Олег Михайлович, а что если... а что если снять документальный фильм под названием, скажем, "Дипломаты в Москве"? Ведь на Западе, преимущественно в США, пропаганда утверждает, что иностранные представители в Москве живут, как в тюрьме, что за ними следят, что им не дают возможности встречаться с советскими людьми, что их во всем ограничивают. А мы покажем *документально* как, да, да, как на самом деле живут иностранные дипломаты в СССР. Мы покажем, как им устраивают просмотры фильмов, посещения музеев, заводов,

совхозов и колхозов, как их возят по национальным республикам, в Среднюю Азию, о чем, кстати, недавно сообщалось в нашей прессе, как они отдыхают и так далее.

Грибанов и Вера Ивановна переглянулись. У Олега Михайловича сразу сверкнули глаза.

— Прекрасная идея! — воскликнул он.

И мы заговорили абсолютно серьезно о той *просветительной* и *воспитательной* работе, которую "проводит" МИД СССР, стремясь ознакомить зарубежных дипломатов с социалистической действительностью. Да, мы абсолютно серьезно заговорили о том, что иностранцы в Москве свободны, имеют неограниченные возможности и живут себе припеваючи. Мы откровенно выдавали черное за белое. И ведь ни единым словом никто из нас не обмолвился о том, как мы все, сидевшие за столом, "охотились" за Морисом Дежаном, например, и его женой. Никто из нас, конечно не говорил о том, как КГБ "подставило" президенту Сукарно Валю Решетняк ("Лену"). Никто не говорил о микрофонах в стенах всех *закрытых,* то есть капиталистических, посольств и т.д. и т.п. Это напоминало собеседование героев Достоевского, оснащенных коммунистической моралью.

Кун, правда, молчал. Он не выражал особого удовольствия, так как идея создания документального фильма заслонила идею создания художественного фильма, хотя Грибанов и обещал помочь нам и в этом случае. Однако генерал подчеркнул важность первого, "Дипломатов в Москве" (ему очень понравилось название), поручив Вере Ивановне держать со мной непосредственную связь.

Андреева, по кивку своего начальника, вызвала по телефону из гаража КГБ машину номер 25, это была "Чайка", которой Олег Михайлович пользовался, изображая из себя ответственного работника Совета Министров СССР и встречаясь с иностранцами.

Мы попрощались. В передней генерал пожал руку Марии Гавриловне. Ведь она была старым членом партии. А он был "демократом".

— Благодарю вас за пельмени, Мария Гавриловна! — сказал Грибанов. — Очень были хороши! Очень!

Домработница расплылась в улыбке:

— Хотите взять с собой в судках немного?

Через два или три дня я сидел в той же квартире перед Верой Ивановной. Она сказала мне:

— Чудесные новости. Олег Михайлович уже звонил по "кремлевке" секретарю ЦК КПСС Ильичеву, с которым у него короткие отношения, так как он прежде был начальником отдела печати в МИД'е, ну и Ильичев одобрил вашу идею. Звонил Олег Михайлович и Екатерине Фурцевой, министру культуры. Она также отнеслась к вашему предложению положительно. Так что нам обеспечена зеленая улица. Поздравляю вас. Олег Михайлович просил написать короткую заявку на сценарий.

Потом я встретился еще с одним сотрудником КГБ, Евгением Михайловичем, но не с тем, который занимался Трилоки Каулем. Это был симпатичный молодой человек, всячески подчеркивавший свое уважение ко мне. Я вручил ему написанную за один вечер заявку и он передал ее генералу.

Следующая встреча произошла через неделю. Евгений Михайлович принес мне список "мероприятий", на которых, по мнению Грибанова, надо было сосредоточить внимание. Этот список был составлен в КГБ и в нем приводились фамилии иностранных дипломатов, которых, по мнению Грибанова, следовало показать в фильме. Это были как бы "положительные" дипломаты. Евгений Михайлович, с легким смущением, произнес:

— Пожалуйста, не уделяйте много места Дежанам. Их и так в дип. корпусе считают "красными". Я передаю вам просьбу Олега Михайловича, конечно.

(Во время ужина, между прочим, Грибанов заметил, что, *вероятно,* следующим "старейшиной" дип. корпуса в Москве, после ухода посла Швеции, будет Морис Дежан).

— И еще, — добавил Евгений Михайлович, — Олег Михайлович хочет, чтобы вы уделили побольше места послу Австралии, Джемсону. Тут можно рассчитывать на благожелательное отношение. Он нам многим обязан. Ведь советские врачи спасли ему жизнь...

Евгений Михайлович от имени Грибанова рекомендовал мне "сыграть" на *честолюбии* послов стран Латинской Америки.

Он сказал также, что майор Андреева поможет заснять эпизод посещения женой посла Бельгии госпожей Коолс (по национальности — индуска) костела. Из этого я сделал вывод, что Вера Ивановна, вероятно при содействии Мари-Клер, познакомилась уже с госпожей Коолс и "работает" теперь как переводчица Горбунова в бельгийском посольстве.

Первоначально предполагалось, что в сценарии будут показаны и "отрицательные" дипломаты, то есть занимавшиеся шпионажем, распространением антисоветской литературы и прочее. Предполагалось использовать для этого специальный киноматериал из архивов КГБ. Предполагалось показать фотографии зарубежных корреспондентов, высланных из СССР, а также демонстрации "советских трудящихся" у зданий некоторых посольств. Но позже это было отменено. Наверху решили, что фильм должен быть выдержан в духе "мирного сосуществования".

По поводу демонстраций "советских трудящихся" у зданий некоторых посольств, обдумывая как показать это в сценарии, я вспомнил следующий трагикомический эпизод. Я уже не помню, *что* именно не понравилось Никите Хрущеву в действиях генерала де Голля, но это было зимой: "трудящиеся" Москвы, хорошо организованными колоннами, с лозунгами и плакатами, подошли к особняку на Якиманке. Здесь они устроили шумную демонстрацию, запрудив улицу. Они не только выкрикивали всякие угрозы по адресу де Голля, они даже выбили стекла в окнах первого этажа. В тот же день мне позвонила Вера Ивановна. Мы встретились, по ее просьбе, вечером и, рассказав о демонстрации, она попросила завтра утром позвонить Мари-Клер, повидаться с ней и "сгладить" возмущение, которое, естественно, возникло у французов.

— А что, это произошло стихийно? — спросил я Андрееву.

Я не сумел сдержать улыбку. И Вера Ивановна улыбнулась мне в ответ и сказала:

— Такие акции у нас могут предприниматься только по команде Олега Михайловича. Вернее, по санкции из ЦК. Так надо было. Это из области высокой политики. Но мы не хотим, чтобы это повлияло на *наши* дела с Дежаном.

Считая дни, оставшиеся до моего отлета в Лондон, я писал

первый черновой вариант сценария "Дипломаты в Москве", используя документы КГБ и пожелания генерала Грибанова. Олег Михайлович остался этим вариантом доволен и послал его для ознакомления заместителю министра иностранных дел СССР Кузнецову и заведующему протокольным отделом этого министерства Молочкову. Последний, прочитав сценарий, заявил, что следует больше подчеркнуть роль МИД'а как организатора основных мероприятий, дающих зарубежным дипломатам возможность знакомиться с советской жизнью. Тут начались легкие междуведомственные трения. Кто важнее? КГБ или МИД? Нет, конечно, Грибанов не хотел, чтобы в фильме фигурировал КГБ, но он не хотел и упускать инициативу всего дела из своих рук.

Вскоре Евгений Михайлович возвратил мне черновой вариант сценария с поправками и замечаниями и приложил к нему список дополнительных "пожеланий" МИД'а. Кроме того, он познакомил меня с подробным министерским отчетом о поездке иностранных представителей, аккредитованных в Москве, в Армянскую ССР. Это была объемистая книга. Судя по ней, можно было подумать, что это действительно была *увеселительная* поездка. И не случайно, послы, принимавшие в ней участие, позже прислали в МИД благодарственные письма. А посол Бельгии отправил властям в Армению подарок: атлас Бельгии. Дело дошло до того, что где-то в армянском колхозе на вечере самодеятельности, выступали вперемежку с колхозниками и западные дипломаты. Пели, танцевали, обнимались, целовались...

(А в то время у нас ходил такой анекдот: "Приезжает Хрущев со свитой на село, встречается с колхозниками. Спрашивает одного — Как живешь, друг? — Тот с энтузиазмом отвечает: — На большой палец живу! Имею шесть коров, сто двадцать свиней, триста кур, два автомобиля, не дом, а небоскреб... — Хрущев перебивает его: — Постой, постой, друг, да я же Хрущев... — Колхозник, сплюнув от досады, говорит: — Черт, а я думал опять иностранная делегация...")

Грибанов хотел, чтобы "Дипломаты в Москве" были полнометражным цветным фильмом и чтобы он "прозвучал" во всем мире. Разумеется, планировать его надо было в основном не на

советского зрителя, так как "шикарная" жизнь иностранцев в Москве могла вызвать лишь раздражение рядовых "трудящихся". Ориентировать этот фильм надо было на зрителя в капиталистических странах. Было ясно, что для Грибанова этот фильм, помимо большого пропагандного значения, должен был бы быть — рекламой работы 2-го Главного управления КГБ, ибо каждый более или менее осведомленный человек у нас, я имею в виду, конечно, нашу элиту, знает, что дипломатический корпус в Москве целиком и полностью контролируется КГБ.

Второй, выправленный, вариант сценария "Дипломаты в Москве", по указанию Грибанова, я отнес в Центральную Студию документальных фильмов. Предстоял сложный процесс утверждения в нескольких редакторских инстанциях Главного управления по производству художественных и документальных фильмов. Генерал надеялся ускорить это звонками из ЦК КПСС.

О том, что произошло дальше я не знаю, так как недели через две, с благословения органов Гос. Безопасности, я вылетел в Лондон.

3

Как и прежде, накануне отлета, Вера Ивановна познакомила меня с майором КГБ Степановым, толстеньким, аккуратным, тридцатилетним, хорошо одетым и даже знающим несколько английских слов. Официально и он числился в нашей туристической группе сотрудником ВЦСПС и был назначен (по рекомендации "Интуриста") нашим *парторгом*. Мы прохаживались с ним по улице Герцена и вполголоса обсуждали план совместной "профилактической" работы во время поездки в Англию. Он говорил мне о мерах, которые нужно будет принимать, в случае если кто-либо из советских граждан попытается "удрать" на Запад. Я поддакивал, кивал, а сам в это время с ужасом и смехом думал о том, что ведь я и есть тот самый, кто наверняка попытается "удрать" на Запад.

Купив новый чемодан в комиссионном магазине, я решил опять взять с собой камеру "Кенон" и транзистор "Рекорд", предполагая, что, как и в Японии, в крайнем случае я смогу продать эти вещи и прожить на эти деньги некоторое время.

О моей идее бегства на Запад никто, конечно, не знал. За год

до того, еще перед поездкой в Японию, я перестал встречаться с единственным братом, жившим тоже в Москве, сделав это умышленно, чтобы дать ему возможность впоследствии, в случае допроса в КГБ, сказать, что он в течение целого года даже не виделся со мной.

Я не мог довериться кому-либо из близких друзей. Да у меня их и было полтора человека. Только с одним Хачиком Акоповым (ныне покойным) я иногда ездил в парк "Сокольники", уходил в глубину лесной рощи и там, все же вполголоса, отводил душу, говоря то, что я думал. Но о плане бегства я не сообщил и ему.

Все мои действия были строго обдуманы. В одном пришлось уступить. Вдова Пастернака, к которой я был привязан, попросила меня взять письмо, адресованное сестрам ее мужа в Оксфорд. Она знала, что если послать его почтой, то власти прочитают содержимое, я же мог опустить конверт в почтовый ящик в Лондоне. Я взял письмо, оно лежало в боковом кармане моего пиджака и я не старался его прятать.

4

Рано утром пришло такси. По старинному русскому обычаю я посидел две-три минуты на своем диване, зная, что в последний раз сижу на нем, потом я в последний раз осмотрел свою комнату и задержал взгляд на этюдах моего отца, и, взяв чемодан, вышел на улицу. Самолеты за границу отлетали из аэропорта Шереметьево (примерно в 30 километрах от Москвы). Глядя из окна такси на только-только просыпающийся город, я испытывал тоскливое чувство: ведь в этом городе я прожил 25 лет своей жизни.

Одно было для меня в те часы неоспоримо: я не был уже способен удержать в себе то, что скопилось за всю жизнь и требовало выхода. И я сознавал, что я был у начала страшного для меня взрыва.

В памяти запечатлелся еще мгновенный и очень острый страх при прохождении таможенного досмотра, когда один из чиновников взял в руки мой чемодан и, достаточно небрежно взглянув на него, сделал мелом легкую отметку, которая означа-

ла, что досмотр пройден. Ах, если бы я знал, что будет именно так! Впрочем, это же была лотерея. Ему могло почему-либо взбрести в голову открыть чемодан и рыться в нем.

Ну, а потом все было так, как полагается: мы поднялись по трапу на борт самолета "Аэрофлота", сели в кресла, застегнули ремни. Машина вырулила на стартовую дорожку. Загудели реактивные моторы. Через минуту мы взвились в воздух и взяли курс на Лондон.

В синей дымке оставался один мир, коммунистический, который я не принимал, а впереди, в облаках, предполагался другой, который манил, как умирающего от жажды манит оазис. А в голове стучало: "Нет, ты бежишь не на Запад, ты бежишь из Советской страны, *из* в данном случае важнее *на*. А нужен ли ты западному миру? Приживешься ли ты к нему? А что если ты останешься навсегда 'советским продуктом', помимо своей воли, и повиснешь между двумя мирами, отчалив от одного и не сумев причалить к другому?" И еще очень простой, практический вопрос: "Тебе сорок пять. Не поздно ли начинать новую жизнь, а придется начинать новую?"

На сердце было тяжело. Я не знал тогда, что со мной вместе на Запад бежало и то, от чего я пытался избавиться, мое *прошлое*. Я не знал тогда, что прошлое — часть настоящего и будущего. И все же я смотрел в будущее с надеждой... Увы, человек — многодонное создание!

Ю. Кротков

ДОЖДЬ И СОЛНЦЕ *

(ПО ГЕРМАНИИ 1945 года)

На следующий день мама разбудила всех очень рано, к 8-ми были готовы и ждали прибытия подвод. Они подъехали только в 9.30. Поповский был сердитый, его извел Володя, который все устраивал и переустраивал тележку. Началась последняя нагрузка, которая продлилась еще час. Отец волновался. "Мы выедем прямо под аларм!" — торопил, все суетились, дети шныряли, Таня тащила своего большого медведя, которого ей подарил Алёша Стахович. Когда мы, попрощавшись со всеми, горячо поблагодарив хозяйку и хозяина, уже сидели на местах, тётя Сандра попросила подождать пять минут. "Вы слишком картинны, я не могу не сделать набросок!" — и она быстро зарисовала в альбом наши нагруженные подводы. Тронулись, все вслед нам махали, желая счастливого пути, ни пуха, ни пера. Ну, как будет теперь? Выезжали почти из города, когда послышались три заунывных гудка. "Фораларм!" — Ну, так и есть, как раз к мосту подъедем в самое опасное время. А мост и весь Фрейлассинг бомбардировали все эти дни.

Погнали лошадей, минут через 10 подъехали к мосту. Сирена молчит, в небе тихо, но на душе неспокойно. Скорей, скорей! Въехали на мост, часовой — ничего, стоит, даже на нас не смотрит. Подъехали к посту на другой стороне. Там часовой был занят разговором с японцами, сидящими в большом черном автомобиле. Поповский задержал лошадей, стал ждать, чтобы автомобиль тронулся. Японцы говорили без конца. Тогда он стал тихо объезжать автомобиль, съехали с моста, и вот, уф! Мы

---

* Продолжение. Начало см. Н.Ж. 134.

в Баварии. Теперь скорей, скорей, подальше от опасного места. Цель, к которой мы так стремились и которая все не удавалась нам, была достигнута. Гора свалилась с плеч! Стало легко и весело! Ехали по улице совершенно разбитого городка, почерневшие, обгорелые дома, обугленные скелеты деревьев, вывороченные чугунные решетки."А когда я приехал сюда в первый раз, — сказал Володя, — это был такой веселый, чистенький, светлый городок. Сады, цветы! Мы видели, как жители покидали город и уходили в лес". "Надо торопиться!" У-у-у, глухо гудело в небе. "Володя, гудит, мне кажется". Поповский гнал лошадей крупной рысью. Наш конь с трудом поспевал за ними. "Хоть бы скорее в поле выехать!" Гул летящих аэропланов становился все яснее. "Они сейчас начнут бросать бомбы!" Страшно, уныло переливаясь, сирена завыла аларм: "Непосредственная опасность" — в переводе на человеческий язык. Я глянула на небо. Оно было закрыто густыми облаками, в прорывах кое-где голубело. Скрытые этими облаками близко, далеко, где-то гудели, надвигались стальные, беспощадные птицы, а шум от крыльев их, как "стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну", — вспомнились слова из Апокалипсиса. Было жутко. Мы уже выехали из города и ехали по открытой дороге, в канавах вдоль нее лежали мотоциклетки и солдаты, спрятавшиеся с дороги. Быстро обогнавший нас легкий грузовик свернул и укрылся в леске. Велосипедист и пешеходы сходили с дороги, прячась под кустами. Я ждала, что Поповский тоже свернет, но он упрямо ехал вперед. Среди общего гула послышались отдельные резкие звуки моторов спускающихся истребителей. "Р-р-р-р!" прокатывалось над головой и вдруг затихало. "Закрыл моторы и спускается!" Сейчас вынырнет из облаков, мы одни на дороге, очередь пулемёта, и готово. Перед глазами встали те ужасные раненые, залитые кровью, которых я видела в Уттендорфе после обстрела поезда истребителями.

— "Володенька, может быть лучше сойти с дороги, ведь дети! Отчего это Поповский не съедет?" Солдаты из леса махали нам руками, повелительно зазывая к себе. В это время страшный грохот раздался сзади. Мы обернулись: несколько серых столбов клубами взвились в небо. "Бьют мост! Задержись мы на четверть часа..." — сказал Володя. Мурашки побежали у меня по спине.

Он хлестал Гришку, который, бедный, выбивался из сил, кони впереди неслись карьером. Над самой головой ревели моторы. Я втянула голову в плечи и, прижимая Таню, молилась: "Господи, сохрани!" Это был последний страх войны. Здесь она для меня кончилась. Бог уберег нас. Ни один истребитель не спустился под облака. Через четверть часа мы были вне опасности. Уже далеко за спиной бомбили Фрейлассинг, мост и Зальцбург. Возмущенная Анна рассказывала мне после, что они все говорили Поповскому свернуть с дороги и укрыться в лесу, но он делал упрямое лицо и, не задерживая лошадей, отвечал: "Чего они будут по нас стрелять, очень мы им нужны?" Как будто с высоты летчик мог рассмотреть, что мы вполне невинные невооруженные люди. У них был приказ обстреливать все, что движется по дорогам Германии. Этот наш "марафонский бег" окончился в городке Лауфен, что значит "бежать". Довольные благополучным исходом, все острили по этому поводу: "wir haben nach Laufen gelaufen". Решено было здесь позавтракать, но в кафе нам дали только по чашке кофе и, несмотря на карточки, по одной булочке на человека. "В городке не хватает хлеба", — сказала продавщица. Побежали скорей по лавкам купить чего-нибудь съестного, но перед носом закрывались двери и вывешивались записочки "Нет хлеба" или просто "закрыто". Голодные двинулись в путь. Мелкой рысцой катили вперед. Путь лежал опять на Бургхаузен, где надо было теперь переехать реку, чтобы попасть к Гоге.

Приятно было сознание, что мы уже в Баварии и спасены от непосредственной опасности советских войск. Но голод мучил. "Мама, я голодный, — стонал Мишка. "Мама, дай хлебца", — лепетала Таня. Мерещился большой кусок хлеба, рот наполнялся слюной, в животе было пусто. Я курила. Около одной фермы Володя остановил лошадь. "Попробую достать что-нибудь". Он вернулся, неся в руке два яйца... "Они ничего не хотели давать, но, узнав, что у нас голодные дети, дали яйца и от денег отказались". Миша и Танечка выпили их сырыми, но, конечно, этого было недостаточно. Больше чем голод меня мучила мысль, что ждет нас впереди, как прокормим детей? В лавках уже ничего нет, сколько дней надо еще ехать, а с собой провизии никакой. Побираться по крестьянским фермам? Уж и там стали

скупы на съестное. К чувству голода я уже привыкла, но такого безнадёжного состояния еше никогда не было. "Потерпи, Мишенька, — утешала я сына, — может быть, в следующем селе можно будет купить хлеба". Но до следующего села было еще далеко, мы могли попасть туда только к вечеру. "Мамочка, хоть чего-нибудь", — приставал Миша, но у нас не было ничего. Дети плакали, и ужасно было это состояние безнадёжности.

Уже смеркалось, когда мы подъехали к местечку Фридольфинг, где по уговору останавливаться не должны были, чтобы не терять времени. Главная дорога огибала село и на повороте мы увидали Алинку, махавшую нам руками. Ее выслали караулить нас, чтобы мы случайно не проехали мимо, так как вся остальная компания решила все же там подкрепиться. Почти сразу выехали на городскую площадь, где уже стояла большая подвода. Отец караулил лошадей, разговаривая с каким-то старым человеком в котиковой шапке. "Можно получить хлеб!" — вдруг раздался веселый голос матери и она исчезла в подворотне. Володя моментально скрылся за ней. Каким вкусным показался мне этот серый, теплый хлеб, который пять минут спустя Володя сунул мне в руки. Дети оживились. В это время к нам подошел отец. "Знаешь, что мне сказал этот русский, — он повернул голову в сторону человека в шапке, — американцы в 5-ти километрах, поэтому населению раздают припасы. Здесь, оказывается, большие военные склады. Пойдем со мной, Анна уже пошла туда". "Постереги лошадь", — сказал мне Володя и удалился с отцом. Миша проворно соскочил с сена и убежал вслед за ними.

И вот появились скоро Володя с Мишей. Руки их были наполнены пакетами. "Во-первых, вот тебе", — радостно и важно сказал Володя. Три большие банки покатились мне на колени: Blutwurst und Leberwurst, а затем вот! Он не без гордости развернул бумагу. "Что это?" — "Кунстхониг — искусственный мед, который я привыкла получать только на Танину карточку по 150 гр. в месяц, а тут глыба! "Сколько его?" — "Три кило", — с гордостью объявил Володя. Миша сиял, глаза горели. "Мама, здесь рай земной! Смотри! — в передок таратайки посыпались пакеты с конфетами. — 15 пакетов!" Конфет Таня не ела отродясь, а Миша забыл об их существовании с момента начала

войны. "Мы еще пойдем". Они весело побежали через площадь. Уходили и возвращались с полными руками. Во всех лавках давали на человека по банке разных продуктов: консервированное масло, сыр, паштеты, варенье, сухие прессованные овощи. Лавок было несколько. Они были полны народа, все толкались, спешили получить, заплатить и бежать в следующую. Продавцы весело, бодро и щедро раздавали все это. Мишу и Володю, одетых в пальто французского покроя и береты, принимали за французов и были с ними очень любезны. "Ты француз?" — спросил Мишу продавец, и тот не успел еще ответить, как руки его оказались полны. В то время французов в Германии очень любили. Развилось какое-то спортивное чувство: кто получит больше? Такое изобилие после безнадёжного голодного дня!

— "Смотрите на дедушку!" — вдруг взвизгнула Лина. Папа с трудом нес большой ящик. "Откуда это ты?" — "А вот в той зеленой лавке очень много всего дают". Все бросились в зеленую лавку. Я передала Танечку Алинке и тоже побежала за другими. "Ольга, в желтой угловой папиросы дают", — сообщил мне Володя, пробегая. Там было полно народа. Главную часть толпы составляли солдаты словаки. Они теснились к прилавку, на ломаном немецком языке старались объяснить, что им нужно. Откуда они, почему были здесь? Должно быть одна из частей в беспорядке уже отступающих войск. В городке царило оживление. Казалось, ожидалось какое-то важное и радостное событие. "Конец, вот уж тут, совсем близко, конец этой войне", — слышалось в торопливом смехе продавщиц, блестело в глазах шутивших словацких солдат, оттеняло самую незначительную фразу в разговоре двух хозяек с корзинами.

Сумерки спустились, начал накрапывать дождь. Уложив накупленные продукты в тележку, Володя ушел к бургомистру получить от него ордер на ночлег. Я сидела на своем месте и, не скрою, сосала конфету. "Ольга!" — позвала меня Алинка. У нее на руках была Танечка, рядом с нею стоял маленький человек средних лет с белокурыми усами. "Этот немец зовет меня с Танечкой к себе, узнав, что мы с утра не ели, он хочет накормить

Танечку чем-нибудь горячим, я пойду с ним. Он говорит, что знает гостиницу, где мы будем ночевать и он нас туда приведет". Должно быть в тот момент голова у меня была не на месте, голодный день, быстрота смены впечатлений, сутолока переполненных лавок... я до сих пор удивляюсь, как я могла тогда так просто сказать: "иди", и не спросила, куда они идут, где живет немец, как его зовут. Как только они исчезли, мне стало неспокойно. Володя взобрался рядом со мной: "А где Таня?" — "Какой-то немец повел ее и Алинку к себе накормить". — "Куда?" — "Я не спросила". Он посмотрел на меня дикими глазами. От выражения его глаз мне стало вдруг совсем страшно. "Он сказал, что приведет их в гостиницу"... — "Разве можно было так отпускать их, ты с ума сошла". — "Ах, не говори, мне самой ужасно страшно, Боже мой, что я наделала". Мы проехали молча некоторое время. "Володя, поди поищи их". — "Ничего, — после короткой паузы сказал Володя, — придут".

Мы медленно ехали в темноте. Мне представлялись картины одна страшнее другой. Отчего-то вспомнила рассказ, который мне раз принес католический ксендз, навещавший меня в госпитале в Бельгийском Конго. Нашел чем развлекать! Рассказ этот долго преследовал меня по ночам ужасными кошмарами. Дело происходило как раз в Германии: безумная старуха и ее сын во время голода после войны 14-го года крали детей, убивали их и делали из них колбасу. "Володя, поди, мне очень страшно за них, мало ли что может случиться, наступает голод, я читала такой рассказ, убивали детей и продавали колбасу, поди, поищи". Над колбасой Володя расхохотался, но все-таки решил пойти их искать. Его больше беспокоила судьба Алинки. Да простит мне Бог то ужасное обвинение, которое я возложила на доброго неизвестного немца. До гостиницы я доехала одна, ужасно мучаясь неосторожно сделанным шагом, и жуткие мысли о колбасе не покидали меня. Володя вернулся на площадь и вскоре по расспросам разыскал квартиру немца и застал его запрягающим лошадь, чтобы отвезти Алинку с Таней к нам. Он не только накормил их жареной печенкой, яичницей, молоком, но надавал с собой всякой всячины. Поступок его был вполне бескорыстный, побуждения были самые добродетельные и тем более стыдно мне было за мои страхи. Этой колбасой меня

потом все дразнили.

В гостинице был большой теплый светлый зал. Хозяйка сказала, что если дадим ей карточки на мясо, она приготовит нам хороший ужин. Мы расселись за длинным столом и все веселые, довольные, счастливые обменивались впечатлениями, шутили и смеялись. Было спокойно, тепло и сытно. Спать устроились тоже хорошо. На верхнем этаже в большой комнате стояли рядами кровати с тюфяками и одеялами. Давно я с такой спокойной душой не ложилась спать. Посреди ночи меня разбудил грохот. Наш постоялый двор стоял на главном шоссе. Под окнами гудели моторы, стучали колёса, — отходила немецкая армия. Всю ночь сквозь сон я слышала все эти звуки и радостно отзывались они в сердце. Уходит, уходит война, кончается это жестокое, беспощадное, что давило нас все эти годы. Я повертывалась на другой бок и сладко засыпала под баюкающие звуки моторов.

На следующее утро Володя должен был отвезти тележку к кузнецу, что-то было не в порядке. По дороге у него чуть ее не отобрали вместе с лошадью два солдата из отряда СС. Они кричали ему остановиться и грозили револьверами, но Володя, не обернувшись, хлестнул Гришку и удрал. До городка от постоялого двора было километра два. Помню, что погода была ясная, мы шли с Анной по мокрой, разъезженной дороге, кругом поля, кое-где фермы, сады, небольшие лески. С хлебом дело обстояло очень плохо. Длинный хвост стоял перед булочной, и когда, наконец, мы попали вовнутрь, то оказалось, что дают хлеб только тем, которые уже заплатили и передали карточки, остальным предлагалось выйти. Счастливцы стояли слева и проходили по очереди в заднюю часть пекарни, где им прямо из печи выдавали хлеб. Так как в дороге хлеб есть основная еда и так как я знала, что дети опять будут ныть, прося его, — я дернула Анну за рукав и нам каким-то чудом удалось присоединиться к группе заплативших. "Как же, мы не заплатили", — сказала честная Анна. "Молчи, потом заплатим!" Хлеб мы получили, но боясь, что отберут, не заплатили. Сознаюсь, что эта кража хлеба, первая в жизни, меня ничуть не мучила, я только была рада, что достала хлеб и все будут сыты. В этот день мимо нас проезжали бесконечные вереницы подвод вроде

наших, но лучше приспособленные. Они были устроены кибитками, защищая седоков от дождя и ветра. Это были немцы, вывезенные Гитлером из Баната. Вид их был мне очень знаком, так как детство свое я провела в Банате. Тощие жалкие лошади, оборванные жалкие люди. Медленно, скрипя, уныло плелись одна за другой нагруженные повозки. Большинство людей шло пешком. Они говорили, что их заставили в течение 2 часов собраться и уходить с отступающими из Баната войсками и что скитаются они так уже несколько месяцев. Ничего нет хуже людского стада, и если тяжела судьба одного, но свободного человека, то та же судьба в состоянии безличного стада совершенно невыносима. Еще одну ночь мы провели на постоялом дворе и опять те же звуки отступающей армии будили нас в продолжение всей ночи.

Утром выехали, как и всегда, позже, чем предполагалось. Мы были единственные двигающиеся в обратном направлении всему, что тогда катило по дорогам. Наши неуклюжие подводы вразвалочку добродушно тарахтели на запад. Навстречу нам, сломя голову, неслись военные грузовики, велосипедисты, мотоциклисты. Если ночью отступали колонны в порядке, следом, одни за другими, то днем неслись уже совсем вразброд, отставшие или просто удирающие. Один из таких грузовиков чуть не сбил нас совсем, зацепил краем и свернул все аккуратно перевязанные Володей доски, и одна из них больно ударила меня по спине. Пришлось долго возиться, чтобы привести все в порядок.

* * *

Часа через два мы въехали в Тутмонинг — старый город вполне сохранивший облик средневековья. Дорога на Бургхаузен круто поднималась. Нам пришлось слезть. Володя вел лошадь под уздцы, а я шла у задних колес с толстой дубинкой, чтобы на случай, если конь не вытянет, подложить ее сзади. Помню, что на этом месте повстречалась группа солдат с лихорадочно оживленными лицами. Они весело переговаривались, ведя за собой велосипеды. "Куда же вы едете? — крикнул нам один из них. — Ведь там совсем близко американцы!" — "Вы, может быть, в наступление?" — засмеялся другой. "Да, с этой дубинкой

против танков", — пошутила Анна. Меня тогда поразила эта картина. Ведь американцы в двух шагах, война для немцев проиграна, через пять минут они будут побежденные, может быть пленные, и несмотря на это — возбуждение и веселье как перед каким-то неожиданным радостным событием. Казалось, все лучше, чем безнадежное состояние войны, все равно какая, но перемена, что-то новое...

Когда мы выбрались на плоское место из-под тени высоких деревьев, перед нами открылся широкий вид на холмистую равнину. Слева вдали лес, поближе группа домов одинокой фермы, прямо, километрах в трех, возвышаясь над крышами домов, уходила в небо остроконечная колокольня сельской церкви. Когда мы поравнялись с фермой, две женщины выбежали на дорогу. Лица их были тревожны. "Остановитесь! — закричали они, — не ездите дальше, ведь там уже американцы. Вы с детьми, они могут стрелять! Сверните с дороги, ради Бога, ведь это очень неосторожно". — "Что там за село?" — спросил Поповский, указывая на колокольню. "Астен", — в один голос сказали женщины. "Ну, вот мы туда и заедем". Они, успокоенные, сошли с дороги и долго еще смотрели нам вслед.

Въехав в село, мы остановились у церкви. Приезд в новое место — самый неприятный момент, и хорошо, что не на мне лежала обязанность квартирмейстера. У какого-то прохожего Володя спросил, где бургомистр, и его направили в здание школы к главному учителю, который занимал эту должность. В это время к нам подошла прилично одетая дама, сочувственно и ласкаво улыбаясь спросила, кто мы такие. "Русские", — сказала мама. Ужас сменил выражение участия на лице дамы, с неожиданной легкостью для ее лет она отскочила на шаг и каким-то сдавленным фальцетом воскликнула: "А-а! Русские!" и уже была готова обратиться в бегство. Приняла ли она нас за советский авангард, на что мы никак не были похожи, или одно только упоминание нашей национальности привело ее в трепет, но бедная дама была в полной панике. Наш дружный хохот привел ее в себя. Она недоверчиво и слегка обиженно продолжала смотреть на нас. Мама объяснила ей, какие мы русские, откуда и куда едем. "К сожалению, мы так же, как и вы, избегаем встречи с советскими войсками, не потому что они

русские, а из-за советской власти". Окончательно успокоенная дама рассказала, что она тоже беженка, из Силезии, все потеряла, муж ее профессор и тут в этом селе они живут уже несколько месяцев, потеряв надежду на лучшее будущее.

Володя застал главного учителя в горячем разговоре с ксендзом. Толстый ксендз с лоснящимся лицом был очень недоволен неожиданным появлением Володи. Учитель нервничал, суетился, перебирал какие-то бумаги, ксендз мрачно сказал, что в этом селе места нет и чтобы мы ехали дальше. Володя резко заявил, что мы беженцы с детьми и что они обязаны предоставить нам ночлег. Тон подействовал. "Если говорит решительно и резко, значит право имеет, кто его знает... теперь времена такие... Бог с ним, и без него неприятностей не оберешься", должно быть решили ксендз с учителем и предоставили нам комнату в пустой школе, откуда только что ушли солдаты. Вся комната была завалена соломой. "Нет ли здесь насекомых?" — брезгливо поморщилась Алинка. Но солома была чистая, насекомых не было и мы начали "разбирать" углы. Разгребли солому, устроили проходы, поспорили немного из-за "лучшего" угла, покрыли свои ложа одеялами, вытащили из рюкзаков подушки и вскоре стало совсем уютно. Поповский повёл лошадей на ближнюю ферму, где его встретили любезно. Булочник, поддавшись нашим убеждениям, что все равно завтра придут американцы и все отберут, выдал большое количество хлеба, и в общем все население села, кроме учителя и ксендза, отнеслось к нам очень приветливо и дружелюбно. Мама сразу сговорилась с хозяйкой соседнего гастхофа и та обещала сварить нам кофе и разрешила воспользоваться плитой, чтобы приготовить детям кашу.

Где-то вдали была слышна канонада, и совсем близко за лесом трещал пулемет. Вдруг мы увидели на колокольне развевающийся белый флаг. "Мы сдаемся!" — весело крикнула Алинка. Все складывалось прекрасно. Только вечером мальчики, забавляясь с Таней, раскачивая и перебрасывая ее, уронили и разбили ей нос. А когда стемнело, детей угомонили и мы все с наслаждением растянулись на соломе. Канонада все еще была слышна. Пулемет умолк. Володя пришел с фермы, где кормили и чистили лошадей, долго мылся, плескал водой в коридоре под

краном и, вытирая полотенцем блестевшее капельками воды мокрое лицо и шею, вошел в комнату. "А вы уже все спите?" Мама уже откровенно спала, покрывшись не только одеялом, но всеми теплыми одеждами, которые только были под рукой. Отец с благодушным лицом, вытянувшись на спине и закинув за голову руки, находился в полудремотном, сытом расположении духа. Володя отложил полотенце, хлопнул руками и, потирая ладошки, сказал: ну-с! и подсел к ящику с провизией. Мы с Анной молча наблюдали, как он не торопясь резал хлеб, заглядывая в разные банки, доставал ножом то паштет, то сыр, с наслаждением жевал, запивая чаем, но когда он дошел до меда и засахаренные беловато-жёлтые куски его, мягко поддаваясь ножу, стали расстилаться по хлебу, мы не сговариваясь встали и присоединились к нему. Так нестерпимо вкусно показалось нам то, что он ел.

Часов в 11, когда свет был уже потушен, послышался осторожный стук в окно. "Показалось мне или правда кто-то стучит?" После маленькой паузы опять. "Володя, стучат?" — "Да". Он зажег лампу и отпер дверь. В коридоре раздались шаги и из темноты, жмурясь от света, появился немецкий офицер, за ним в тени был второй. "Американцев еще в селе нет?", спросил первый и шагнул в комнату. "Нет", — ответили мы. Все, кроме детей, проснулись и, вылезая из-под одеял, внимательно смотрели на офицера.

— "Кто вы?" — спросил он. "Беженцы из Вены". — "Наша часть взята в плен, мы пробираемся домой в Австрию. Час назад у нас украли велосипеды и все вещи, это ужасно, мой бритвенный несессер", — сказал он, берясь за подбородок. Как странно было видеть еще так недавно гордых и уверенных в себе немецких офицеров в таком жалком положении. В них не было уже больше ничего от высокомерно и безжалостно топтавшего "низшие расы" "юберменша". Побежденные, усталые, голодные люди. Мы им предложили поесть. Извиняясь, как-то неловко, бочком они присели на край скамейки и ели, благодаря нас робко, конфузясь. Один из них все сожалел о потерянном несессере. "Подумаешь, важность какая, бритва! Как он может все вздыхать о таких пустяках", — удивлялась я. Они скоро ушли, говоря, что могут продолжать путь только ночью.

Выйдя на следующее утро, первое, что мы увидели, был опять красный флаг со свастикой. Что же это такое? Оказалось, что проходил отряд СС и, боясь репрессий, белый флаг поскорее убрали.

Нас ждала маленькая неприятность. На улице Володю поймал толстый ксендз и требовал, чтобы мы моментально освободили комнату. Володя вступил в спор, они пошли в школу к учителю. Там царили хаос и растерянность. Несколько человек, собравшихся там, были, очевидно, представители гитлеровской власти, еще вчера полновластные хозяева. У каждого на совести были, должно быть, злоупотребления. Среди жителей села не чувствовалось страха, скорее радость, что конец войне. Здесь же нервность и раздражительность выдавали их настроение. "И без вас много забот! — сказал вдруг учитель, берясь за голову. — Ладно, оставайтесь, но только еще на одну ночь".

Этот день был Великий Четверг. Не имея возможности попасть в церковь, мы решили прочитать "Двенадцать Евангелий" все вместе. Перед вечером папа распорядился, чтобы все собрались. Стали звать детей. Тани с ними не было. Бросились ее искать. Чуть не плача, я в десятый раз обегала все окрестные переулочки, полянку и садик костела. Ее нигде не было. Вдруг я услышала веселые голоса мальчиков: "Нашли, нашли!" Я бросилась к ним. "Знаешь, мама, где я ее нашел? — радостно говорил Миша, — в церкви". "Глупая девочка, — и сердилась и радовалась я, — зачем ты пошла туда?" — "Таня молилась",— спокойно заявила она. Ну, разве можно было бранить ее за это! Во время чтения Евангелия в комнату вошел Поповский. Он тихонько затворил за собой дверь и стал у окна. Как только чтение кончилось, он, хитро и весело оглядываясь на окно, спросил: "А вы не слышите, что там делается?" — "А что?" — "Да американские танковые колонны полным ходом идут!" Что за визг поднялся в комнате! Перепрыгивая через скамейки, толкая друг друга, дети, как стая птиц, полетели на улицу, остальные поспешили за ними. Кроме родителей и меня с Таней, в комнате никого не осталось. Я тоже вышла и обернулась на колокольню. Символ покорности и мира — трепетал на ветру белый флаг.

Через полчаса запыхавшиеся, раскрасневшиеся дети вбежали с хохотом. У каждого была во рту жевательная резина. Это было самое вещественное доказательство, что американцы здесь.

"Мерзавцы! — сказала Алинка, — у них хлеб белый, как куличи". Население встречало их, приветствуя и махая, в особенности девушки.

Солдаты бросали им целые булки и шоколад. Не хуже, чем когда-то сербки встречали немецких солдат. В общем противно, ведь для них они враги и победители, никакой гордости у них нет.

"Победитель всегда прав, а кроме того, они рады, что конец войне, да и Гитлера не все любили", — сказала Анна. "Что же ты, Алинка, булку или шоколад не подхватила? — дразнила я сестру. — Вот был бы кулич к Пасхе". Она презрительно скривила губы. "Очень нужно от всяких солдат булки брать".

У всех было приподнятое настроение. "Ну, раз мы уже под американцами и не рискуем попасть в линию фронта и перестрелку, то можно завтра двинуться в путь", — сказал Поповский, разворачивая карту. Он стал отсчитывать расстояние до Бургхаузена. Отец противился. "Ну, куда нам ехать? Здесь так хорошо, население приветливое, продовольствие достать легко, мы в оккупации союзников, останемся здесь, устроимся на какой-нибудь ферме. Еще неизвестно, пустят ли нас американцы так по дорогам ездить. Ведь наша цель достигнута". Бедный отец устал; уютное село, красивые окрестности, весна, моральное спокойствие. Ему этот уголок казался тихим убежищем. Но Володя смотрел на дело иначе. "Сейчас как раз время ехать. Это передовые части, им до нас дела нет, сейчас никто на задержит. Нам надо ехать в большой центр, где выяснится наше положение. Нельзя застревать в захолустьи, потом не выберемся. Моя цель пробираться во Францию". Они долго обсуждали и спорили. Решили, наконец, что и к Гоге ехать уж больше не стоит, а нужно стараться добраться до Мюнхена. Рассматривая карту, высчитывали километры. "В Бургхаузене переедем мост и отправимся в Аугсбург к Тане Олсуфьевой — родственнице матери. Она там давно живет, все же pied a terre. А оттуда до Мюнхена близко, можно будет съездить для разных справок.

За ужином Владимир Петрович рассказывал, как у них на ферме солдаты переодевались и прятали военную одежду в солому и все весело шутили по этому поводу. В тот момент они, видимо, не отдавали себе отчета, в какой тупик завел их Гитлер и что их ожидает: была только лихорадочная радость — "конец войне!"

* * *

Для нас начиналась новая фаза странствия — путешествие по уже побежденной Германии. Утром выяснилось, что мост в Бургхаузене взорван немцами при отступлении, нам советовали ехать на Альттотинг, где будто бы мост уцелел. Дорога вилась среди зелёных холмов и проселков, то поднимаясь, то спускаясь. Видя убегающую вниз дорогу, я уже заранее пугалась, вспоминая случай перед Зальцбургом, и кричала: "Володя, спуск! спуск!" Он трунил надо мной, но, уступая, слезал с повозки и жалобно скрепело заторможенное дубинкой колесо. Завтракали в гостинице маленького села, название которого я не запомнила. Помню только, что во время завтрака лошади, предоставленные самим себе, пытаясь дорваться до травы, залезли в канаву, телега накренилась, все посыпалось, постромки спутались, и больших усилий стоило привести все в порядок. Погода испортилась, серые, низкие тучи заволокли небо и мелкий дождичек усугублял еще больше досаду на происшедшее. Мы ехали проселочной дорогой и никто нам не попадался в пути. Наконец выехали на плоскую равнину, далеко видна была лентой вьющаяся по полям дорога, по ней подкатили к Нейоттингу: чистые новые здания санитарного города. Уже далеко, не доезжая, на поле большие выбеленные круги с красным крестом и при въезде доска на столбах: зона Красного Креста, запрещение въезда военным машинам. Действительно, союзниками была соблюдена неприкосновенность Красного Креста. Нигде ни одного следа бомбардировок. Казенные здания госпиталей, все очень квадратно, аккуратно, симметрично. В нескольких километрах Альттотинг — старый город. Он кишел американцами. Еще никогда до тех пор мною невиданные

легковые военные машины с плоскими радиаторами — джипы — легко, как бы играя, огибали нас и, круто поворачивая, проносились мимо; большие грузовики с белыми звездами, полные вооруженных солдат. Сами эти солдаты почти все безучастно жующие, в круглых касках, низко, как-то почти на бедрах надетые пояса, длинные штаны, штиблеты, — все было ново и интересно. Я смотрела на них как на людей с другой планеты. Вот они, эти американцы, аэропланы которых приводили нас в ужас, радио которых мы не смели слушать, а самих их так трепетно ждали, сидя в Уттендорфе. Так необыкновенно казалось видеть их осязаемыми, этих людей, так долго бывших по ту сторону заколдованной линии фронта. Улица была запружена. Мы остановились. Американцы оглядывали наши подводы с некоторым любопытством, но никто ничего нас не спрашивал, все они были заняты своим делом. Группа французов в беретах стояла на углу. Завидя нас, они все, улыбаясь, приветственно замахали руками. Володя подошел к ним. На нем был тоже берет и его правильный французский язык не дал им даже возможности подозревать, что он не их соотечественник.

Впоследствии один наш приятель, которого мы встретили в Мюнхене, острил, говоря, что тогда в Германии берет был чем-то вроде французского паспорта. Французы приняли живейшее участие в нашей судьбе. Оказалось, что мост здесь тоже взорван, но километрах в 20-ти есть место Марктл, где американцы устроили перевоз на паромах. Они советовали нам ехать туда, уверяя, что американцы нас переправят. После небольшого совещания решили так и поступить. С трудом выбрались из города на дорогу. Беспрерывно, то обгоняя нас, то навстречу катили на велосипедах группы людей. У всех на руле был флажок: то польский, то югословянский, или чешский, но подавляющее число флажков были красные — русские. Все это были пленные, либо вывезенные работники, освобожденные вошедшими первыми американскими частями. Все были вооружены и выражение лиц у всех было веселое, торжествующее. Опьяненные свободой и гордостью победы, наконец сытые люди, почувствовали себя господами положения, они катили по дорогам, казалось, без цели, расхищая оставшиеся немецкие склады и брошенные на дороге полные про-

довольствия грузовики; один такой немецкий грузовик, свернувший в лесок, стоял наклонившись на бок, упершись радиатором в дерево; вокруг валялись разорванные картонки и банки из-под консервов. Рядом сидело несколько человек русских в чистых новых рубашках. Они разложили костер, пили, ели, громко смеялись. Один из них играл плясовую на гармонике.

Деревья леска защищали нас от дождя, но когда мы выехали под открытое небо, пришлось покрыться одеялами. У Тани, завернутой с головой, только в щелочку блестели глаза. Так ехали мы молча, кутаясь и ежась от проникающей сырости. Вечерело; даль скрывалась в тумане, еще утром освещенные солнцем, такие радостные поля и рощи, как-то уныло поседели; мерно шуршали мелкие капельки, одеяла намокали. Сквозь пелену дождя выступили у дороги строения фермы. Перед домом на куче навоза возилась женщина с граблями в руках, повязанная белым платочком. Мы остановились и, громко перекрикиваясь, начали спорить, заночевать ли нам здесь или ехать дальше. Женщина разогнула спину и, прикрывая лицо согнутой рукой, крикнула: "А вы что ли русские будете?" — "Русские, — хором ответили мы, — а ты откуда?" — "Я ленинградская, — сказала баба,— вот и парнишка мой". Парнишка лет 8-ми меланхолично хлюпал босыми ногами по луже. Дождь их не смущал. "Не знаешь ли ты, есть ли здесь по близости мост через речку?" — спросила ее мать. "А как же, есть! Вот проезжайте прямо к ляску, а за ляском и мосток". — "Она что-то путает, — сказал Поповский, так близко не может быть никакого мостка". — "Эй, тетка, нам нужно большой мост, чтобы переехать на ту сторону реки. Далеко ли до него?" — крикнул он женщине. Та добродушно и широко улыбалась. "Не далёко! Вот туточки за ляском, за ляском", — настаивала она. — "Вот дурная! — не выдержал Поповский. — Что она все со своим "ляском"! Поехали в Марктл, как нам сказали французы, от нее ничего не добьешься" Мы тронулись. Вскоре, действительно, показался "лясок" и, проехав его, мы увидели небольшой мост через ручей на дне глубокого оврага. На мосту стоял американский часовой. "Сейчас задержит", — решила я, но часовой окинул нас равнодушным взглядом и не сказал ни слова. Гуще становилась

вечерняя тень, не усиливаясь и не слабея, дождь все шел, все было мокро, тихо кругом, только ритмично чавкали подковы коня по размокшей дороге. Укутанная в промокшее одеяло, Таня лежала у меня на коленях и слабо стонала. Я отвернула край одеяла, заглянула ей в лицо. Бледное личико с полузакрытыми глазами выражало страдание. Лоб был горячий. "Володя, она заболела". Он молча обернулся, посмотрел на нее внимательно и ничего не сказал. Оба мы думали одно и то же. Без крова, без дома, не дай Бог болезнь будет серьезная. Мелькнул в полутьме белый столб с доской. Еще можно было разобрать: Марктл 1.500 мет. и стрела. Главная дорога спускалась, очевидно к мосту, узкая продолжалась поверху вправо и вела к нескольким фермам. Мы поехали по ней. У первого же дома остановились. Я сидела и ждала, пока выяснится, пускают ли ночевать. Таня все тихо стонала. Довольно долго сидела я так под дождем. Время остановилось. "Можно, идите", раздался голос. Все попрыгали с подвод и через двор прошли к дому. В коридоре стояла женщина и держала маленькую лампочку в поднятой руке. Лицо ее было строго и грустно. "Пройдите сюда, — сказала она, не улыбаясь, и открыла нам дверь. — Оставляю вам лампу на полчаса, потом прошу потушить и ни в коем случае ночью на зажигать: американцы стреляют по освещенным окнам". Комната была большая, мы начали располагаться. Я уложила Таню на маленьком диванчике, переодела ее и закрыла сухим одеялом, дала ей слабительное и поставила термометр: 39,5.

Выпив несколько глотков теплого чая, она заснула. Я устроилась на полу и всю ночь прислушивалась к ее дыханию. Но спала она спокойно. Утром я обнаружила, что у нее все ухо и волосы залипли от гноя. Это был нарыв, который, к счастью, прорвался сам; температура спала, она была веселая и просила есть. У меня была с собой бутылочка перекиси водорода, я промыла ей ухо, положила вату, забинтовала.

Погода все еще была унылая, пасмурная, накрапывал дождь. Хозяину — брату женщины, впустившей нас, — было лет 30. Полгода назад он потерял ногу на войне и ходил с костылем, проворно прыгая. У него было такое же строго грустное лицо, как у его сестры, и я ни разу не видела на его лице улыбки. Это

был первый встреченный нами немец, который ясно отдавал себе отчет в случившемся. С нами он был неприветлив, но без злобы. Вся семья, состоявшая еще из старушки матери и младшей сестры, была тиха и молчалива и все их действия и слова были проникнуты тупым спокойствием и сдержанностью людей, несущих в себе глубокое горе. У него работали во время войны француз и два серба. Француз, добрый малый, краснощекий блондин Андрэ, продолжал еще понемногу помогать хозяину, наверно ему было жаль его. Сербы же с утра в чистых рубахах, гладко выбритые, приходили только к обеду и ужину, остальное время праздновали победу. Узнав, что мы из Югославии, они пришли поговорить. Радовались, что можно поболтать по-сербски, с грустью вспоминали свою страну, расспрашивали обо всем, что там происходило во время войны. "Поедете теперь домой?" — спросил его отец. "О, нет, — тихо ответил младший, красивый парень с орлиным профилем и черными усами, — я не хочу жить в стране, где коммунисты. Я хлопочу теперь, чтобы записаться в американскую армию". "Я должен вернуться, — сказал старший, — у меня жена и дети. Но если бы я мог выписать их сюда, я бы тоже не вернулся. Не годится Югославии быть без короля". Оба они были крестьяне из южной Сербии.

Мы справились у них о перевозе. Каменный мост, действительно, был взорван, но километра за три устроен перевоз на паромах. "Прежде чем ехать с нашими телегами, надо было бы съездить узнать, перевезут ли нас", — справедливо заметил отец. Решили, что завтра с утра отправимся Володя и я, чтобы выяснить положение. Младший серб вызвался нас сопровождать.

Беспрерывно слышались ружейные выстрелы, то и дело трещали очереди пулеметов. "Это американцы расстреливают немецкие патроны", —улыбнулся серб. Он был в ярости против немцев вообще, хотя признавал, что хозяин был с ним добр и хорошо кормил.

Погода прояснилась и дети были на дворе. Вдруг вбежал Володька весь красный. "Мама, я сидел на горке, а внизу американцы стреляли, и один прицелился прямо в меня! Мы все убежали". — "Какие глупости, зачем ему в тебя стрелять", сказал отец. "Идите лучше сюда, — забеспокоилась Анна, —

может быть пьяный какой-нибудь". Перед вечером мама засуетилась, приготовляя Пасху. Еще в Астене она достала где-то творог, чтобы хоть чем-нибудь отметить Светлый Праздник. Дети красили яйца акварельными красками, которые Миша захватил из Уттендорфа. Легли спать рано, а вставши утром пропели "Христос Воскресе", похристосовались и ели крашеные яйца и размятый творог с сахаром. "Первый раз в жизни, что не был у заутрени", — грустил отец.

Мы хотели разгрузить таратайку, чтобы съездить к парому, но серб возмутился: "Зачем столько работы, мы спросим у хозяина двуколку". Хозяин разрешил взять старую тележку. "Ну, нет, я теперь на этой развалине не поеду, мы возьмем новую, — и серб самовольно вывел из сарая новенькую свежеотлакированную желтую двуколку. Немец, заметив это, даже не посмотрел в нашу сторону. Взгляд его был так же безучастно мрачен, казалось, все было ему безразлично. Мне было стыдно и неприятно. "Оставьте эту, поедем на старой", — сказала я сербу. Но расходившийся балканец не сдавался. "Я для него тут четыре года даром работал. Поедем на новой", — и он весело и живо принялся запрягать.

"Тут надо съезжать вниз, — серб натянул вожжи. Мы с некоторым ужасом посмотрели на крутой спуск без дороги, прямо по траве. В этом месте поле было изрыто глубокими колеями танков и тяжелых грузовиков. Закрутили тормоз и тронулись. Лошадь вязла в мягкой, мокрой земле, двуколка, подпрыгивая по рытвинам, наклонялась то направо, то налево: въехали в рощу плакучих ив; тут густая каша из грязи была по щиколотку. Мы с Володей пошли пешком, прыгая с кочки на кочку. В роще было темно и сыро. Двуколка медленно плелась, увязая и покачиваясь, серб покрикивал, хлестал коня. На плоском берегу, у самой реки, среди низкого кустарника, на бревнах сидели какие-то люди. Паром был на той стороне. Никого из американцев там не было. Мы спросили, скоро ли паром двинется. "Кто его знает, когда наберется достаточно людей на том берегу, тогда они и повезут". Мы сели и стали ждать. Надежды было мало. Солдаты на пароме сидели разговаривая, курили, хохотали. Появился автомобиль. Мы понадеялись, что его надо будет перевозить, но автомобиль

постоял, завернул и уехал. На одном из бревен лежал разорванный пакетик с бисквитами, разломанные бисквиты валялись на земле, но в пакете было еще два совсем целых. Мне очень хотелось взять их для Тани, но почему-то я не решилась. Мы прождали так некоторое время. Это было наслаждение, сидеть в тихую погоду у реки; набегал легкий ветер, гнал водяную рябь, потом опять все гладко, течения почти не заметно. Смотришь, как соломинка или веточка тихо проплывает, и мысли расплываются, ни о чем определенном думать не хочется; отдаться вот как эта соломинка течению, — пусть несет... Володя вывел меня из блаженного состояния, тронув за плечо. "Ждать нам парома не стоит. Мне совершенно ясно, что мы с нашими нагруженными подводами съехать сюда не можем, даже если американцы и согласятся нас перевезти мы до парома не доберемся". — "Верно, — согласилась я, — но тогда нам придется искать новой переправы". "Мы спросим у каких-нибудь американцев, где есть еще мост. Он должен быть. Ведь перебрались же они сюда, не может быть, чтобы вся американская армия переправлялась на пароме. Наверно есть где-нибудь понтонный мост, если все каменные взорваны". С большим трудом мы тащили нашу двуколку вверх по разъезженной поляне и окончательно убедились, что нашим подводам здесь придет конец, и даже не стоит и пробовать переправляться.

Дома были слегка разочарованы нашей разведкой. После завтрака мы с Володей опять пошли к каменному мосту ловить американцев, чтобы получить сведения. Мы спускались к городу по отлогой тропинке, а кругом свистели пули. Володя шел не останавливаясь и мне стыдно было показать ему, что мне страшновато. "Расстреливают немецкие патроны... а вдруг какая-нибудь случайная"..., но "случайная" в нас не попала и вскоре мы вышли на маленькую площадь. Посреди нее стоял открытый автомобиль и в нем сидело человек пять американцев. "Ну, теперь иди разговаривай", — сказал Володя, не говорящий по-английски. Солдаты стали очень охотно объяснять мне, что приблизительно в 20-ти километрах есть мост случайно уцелевший, название моста они не помнили, но знают наверно, что есть вот в том направлении; они все махали руками, показывая направление. Они сами сейчас туда едут, надо

проехать Альттотинг (это название они помнили), и дальше по реке, там спросите, вам укажут. Рядом с автомобилем стоял человек в штатском с удивительно подобострастносладким лицом. Он очень угодливо вступил в разговор и назвал мне место с уцелевшим мостом: Иеттинбах. Он был немец и нам улыбался так же ласково, как и американцам, решив, должно быть, судя по Володиному берету, что мы французы.

Эту ночь Володя остался спать в комнате рядом с Таней, а я, чтобы выспаться, пошла с Алинкой на сеновал. Давно не спалось так хорошо, как в ту ночь на душистом мягком сене. Утром, пока запрягали лошадей и готовили подводы, я стояла во дворе. Хозяин, опираясь на костыль, что-то говорил младшей сестре, та побежала исполнить, что-то сделала не так, он крикнул ей еще раз, потом дернулся и подстреленной птицей заковылял было ей на помощь, но остановился и с досадой махнул рукой. Я подошла к нему. "Я знаю, — сказала я, — что наше пребывание было вам неприятно, у вас и так много хлопот, но вы приняли нас, спасибо, вас за это Бог не оставит". Выражение его лица не переменилось, он смотрел куда-то мимо меня. "Работников больше у меня нет, старуха мать, две сестры, я один мужчина — хозяин, работы много, я умел работать, и... вот..." — он горько усмехнулся, посмотрев на свою ногу. "Воевал за родину, она погибла, и сам я калека". Мне стало бесконечно грустно за него, я не знала, что сказать в утешение. "Бог вас не оставит, прощайте, спасибо", — и пожала ему руку.

Продолжение следует

О. Толстая

УПАДОК РЕМЕСЛА ИСТОРИКА В НОВЕЙШЕЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ СССР

Нам хотелось бы включиться в разговор о научных качествах литературы по русской и советской истории, печатающейся на Западе. На страницах "Вестника" уже не раз отмечались многие положительные и отрицательные черты, которые, мы бы сказали, интегрально присущи основному потоку западной литературы о России и СССР: с одной стороны, содержательная насыщенность, внимание к фактам, наличие широких обобщений и оригинальных гипотез; с другой стороны, поверхностная нивелировка эпох и пространств русской и советской истории, сужение проблематики (заострение на слое политическом и интеллектуальном, глухота к слою духовному), односторонность и тенденциозность обобщающих суждений, иногда доходящая до обывательского отрицания всего необычного для западного глаза (чего немало в русской истории) и до расистских высказываний о русских национальных традициях и ценностях. Приведенный перечень, разумеется, далеко не полон, но даже в нём обращает на себя внимание одна любопытная закономерность: все положительные черты западной литературы о России и СССР являются, на самом деле, вовсе не чем-то специально положительным, а скорее нейтральным: это обязательный минимум, без которого работа не может быть названа научной, — этот минимум присущ всей западной литературе по истории,

---

С согласия автора мы перепечатываем эту статью из "Вестника РХД" №127. *РЕД.*

этнологии, культуре разных стран, это тот необходимый научный уровень, который достигнут во второй половине XX столетия, — и ничего больше. Вместе с тем, названные отрицательные черты основного потока западной литературы по истории России и СССР — нечто, специфически присущее именно этому полю исследования, и отражают уровень науки, в XX веке повсеместно, даже в СССР, преодолённый: и нигде в работах о Японии не будет упущено глубокое влияние синтоизма и буддизма на историю этой страны, — влияние более значительное, чем борьба различных самурайских группировок или политические характеры сёгунов; и ни в одной работе об Африке не встретится "вселенской смази" скачков от Ганы VIII века в Мадагаскар XIX века; никогда исследователь Индии не назовет Махатму Ганди проводником традиций монгольских XVII столетий; всякий уважающий себя историк Китая при анализе государственного конфуцианства Минского и Циньского периодов постарается выделить как можно больше сложных слоёв, составляющих это явление. Тем более, чужие и загадочные Западу азиатские, африканские, австралийские и коренные американские исторические комплексы давно уже не вызывают подтекста: чужое = скверное, загадочное = опасное; и качество исследования этих комплексов считается тем выше, чем глубже достигнуто понимание своеобычного изнутри него, и чем меньше простой критики явления снаружи и от критериев XX века. И ещё тем более ни об одной прежней и стоящей вдали Западу цивилизации никто, даже начинающий студент, не позволит себе личных эмоциональных выпадов. Даже наоборот, это считается первым правилом профессионального историка: исследование вместо критики, с предками и иноземцами не сводит счётов, их следует просто понять.

И так это везде и соблюдается — кроме истории России и СССР. Приведём самый свежий и, как нам кажется, самый драгоценный в своей крайности пример (в котором даже роли меняются, и западный историк становится музейным раритетом, объектом исследования для нас как русских историков). Только что на страницах журнала "Русская история" прошла обширная дискуссия о сходстве и различии, о мере преемственности между Россией и СССР. Главный участник дискуссии

профессор Ричард Хейли, автор содержательной книги о происхождении крепостного права, выразил в самой крайней форме то, что в более обтекаемом виде пишут до 80-90% западных исследователей:

> "Александр Солженицын... настаивает, что 1917 был "роковым переломом хребта", что большевики произвели фундаментальное изменение курса русской истории, что ленинизм был чуждой инфекцией в русский организм и был лишь ухудшен Сталиным и его преемниками. Болезненный продукт этого — тоталитарианизм, тотальное подавление личности и человеческого духа. Назад в историю, дальше, чем большевизм, его (по-видимому, А.И. Солженицына — М.Б.) обсуждение не ведёт, хотя он упоминал и крепостное право. Моя установка совершенно противоположна: пока что там марксизм, Ленин и Сталин могли подтолкнуть в том или ином направлении развитие событий, предусловия (preconditions) русской истории были такими, что на самом деле следовало бы поразиться, как эти предусловия вывернули ход истории со времён 1917, совсем в иную сторону, чем подталкивали (марксизм, Ленин и Сталин). ...Моя позиция что-то вроде того, что выразил Рой Медведев: подавления есть наследство русской истории, а не необходимый результат социализма"[1].

Далее следует обширный экскурс через века русской истории от Ивана III, до 10-го пятилетнего плана 1976-1980 годов — всё в доказательство приведённого исходного тезиса. Приводятся параллели такого рода:

> "Грузин при помощи латышей и евреев и других нерусских терроризировал большинство населения, это параллель с ранним Московским государством и с 18 веком... Большевики смешали марксизм с великорусским шовинизмом, получился именуемый "национал-большевизм"... Большевики, эти "городские парни"... служилый класс, больший,

1. Richard Heelie. The Structure of Modern Russian History: Toward a Dynamic Model. — "Russian History. Histoire Russe". Arizona, 1977, vol 4, Part 1, p. 1.

чем у Ивана и Петра... жестоко поступили со своими чужаками, классовыми врагами — кулаками".[2]

Остальные сравнения идут на том же уровне сходства времён и согласованности суждений между собой, открываются даже параллели между системой местничества в Московской Руси и применением галоперидола и аминазина к политзаключённым в советских психотюрьмах.[3] Затем делается итоговый вывод:

"Обозревая ход русской истории, мы находим замечательную последовательность от Ивана III до Брежнева. Западничество Царя Алексея и его сына Петра Великого, обновляющие реформы 1860-х и даже (! — М.Б.) большевистская революция 1917-1924 (очевидно, до третьего удара В.И. Ленина, не раньше и не позже — М.Б.) не составили заметно отличных друг от друга эпох, но скорее являются приведением в порядок составляющих точек общей, продолжающейся линии русского исторического развития. Глядя на окружающую среду, институционально необузданное автократическое служилое государство и его законные завещания, роль разнородных факторов, так же как война и идеология и русские ответственные обязанности в этом направлении, сущность общества и обстоятельства индивидуальной личности, каковая редко имела какие-либо права напрямую общаться с государством и зачастую была объектом принуждения, — мы находим стороны, которые вместе составляют в сущности заметную совокупность. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что эти элементы воплощают структуру русской истории".[4]

И на этом статья профессора Р. Хейли заканчивается.

Мы обращаем внимание именно на эту статью, потому что нам кажется, что её автор довёл до логического (и, хочется сказать, комического) конца то, что так или иначе присутствует в большинстве работ на эту тему, причём сделал крайние утверж-

2. Ibid., p. 8
3. Ibid., p. 20-21.
4. Ibid., p. 21-22.

дения: не только с марксизма и Ленина, но даже со Сталина (что обычно сейчас уже не делается) снял историческую ответственность за совершённые исторические деяния — переложил эту ответственность на фатальный ход русской истории и на её первоначальных деятелей: пока там ещё Ленин и Сталин (не говоря уже о марксизме вообще) собирались что-то сделать и куда-то подтолкнуть русскую историю, уже всё было сделано раньше, а в 1917-1924 кто-то или что-то толкало из глубины времён в заданном направлении. Впрочем, в этой логической цепи последняя логическая точка всё-таки отсутствует. Чтобы поставить её, надо признать одно из двух следующих допущений: либо социализм есть всемирное зло, сдержанное внутренними наследственными чертами русской истории и отчасти смягчённое и даже побеждённое ими, как бы ни были они несовершенны (и даже неприятны) сами по себе; либо социализм есть совершенно несущественная, не имеющая собственного лица сила всемирного добра, которая задавлена русским переселением душ.

Без одной из этих конечных логических точек даже такая последовательная и ясная концепция, какую представил профессор Р. Хейли, несколько повисает в пространстве. Но и любую из этих точек автор цитированной статьи не может прямо выразить, ибо обе точки являются мистическими. Это и понятно: история, идущая к историософии, к глобальным обобщениям, не может обойтись без мистического плана бытия. Чтобы признать первую точку, надо предварительно признать два постулата: существует духовное мистическое тело России, воплощённое в Православной Церкви и соборной преемственности сознания Церковного народа, независимо от тех или иных черт существовавших в русской истории институций (то есть признать то, что безусловно признаётся историками для Китая, Индии, Японии и т.д.), и существует мировое явление социализма как всемирной надисторической разрушающей силы — и эти противостоящие факторы столкнулись в 1917 году на территории бывшей Российской Империи, и все 60 лет советской истории есть 60 лет кровавой борьбы России и социализма, в которых, может быть, Россия в чём-то и пересилила. Такого рода мистическая точка зрения безусловно неприемлема для автора цитированной статьи, в которой Православная Церковь упоминается только

как некая навязанная сверху и признанная населением идеология, структурная роль которой в России равна роли марксизма в СССР.[5]

Чтобы признать вторую названную выше конечную логическую точку, надо поверить в перенесение по воздуху через десятилетия и века, через исторические перерывы, тех или иных классов и институций, каковое перенесение может быть выражено в единственной представимой форме — в форме переселения душ. Мы вполне допускаем, что такая точка зрения, в духе языческой мистики, может иметь право на существование в исторической литературе. И к ней в сущности как раз и примыкает то, что формулирует профессор Р. Хейли и большинство западных историков России и СССР. Но эту точку зрения всё-таки стыдятся сформулировать до логического конца. Мы не видели бы в этом ничего зазорного, как не стыдимся признаться, что сами придерживаемся первой из названных мистических точек зрения. Более того, если бы все эти признания состоялись, мог бы произойти интересный диалог христианской и языческой линий в историографии и историософии. Но пока такие признания не состоялись и диалог историков-христиан и историков, верящих в реинкарнации, не начался, надо разговаривать на также вполне достойном языке — на рациональном языке современной научной методологии. Этот язык не может оперировать понятиями духовного мистического тела нации и религиозного национального стержня, категориями социализма как универсальной силы мирового зла, — но он в то же время не должен признавать таких вещей, как система управления государством, переносящаяся через века и даже через короткие годы, если эта система как-либо физически разрушена, а люди, работавшие в этой системе, умерли; не должен признавать таких вещей, как воспроизводство через века или даже годы того или иного социального класса, если этот класс физически исчез с исторической арены (даже если отдельные представители этого класса продолжают служить в новых институциях). Социальная структура есть явление, развитие которого должно быть доказано прямо и непосредственно во всех его возможных мутациях и

5. Ibid., p. 12, 22.

флуктациях, — если этого нет или это невозможно доказать, никакие аналогии ничего не стоят. Это жёсткое условие, но оно придумано не нами, — это общепризнанная конвенция методологии современной науки.

Например, если удаётся доказать, что группа первых марксистов создала политическую организацию (партию, Интернационал и т.д.), затем эта организация разветвилась, преобразовалась, и одна из модернизированных ветвей взяла власть в одной из стран и, применяя на определённое число процентов (от 1 до 100) исходные принципы, осуществила ряд политических действий (например, истребила несколько десятков миллионов человек), — то можно говорить об исторической преемственности I Интернационала и ЧКГБ. С другой стороны, если не удаётся доказать, что после 1924 года марксизм как правящая идеология исчез в СССР, что к власти пришли люди, не имеющие никакого отношения к социалистической партии и её революции, что проведённые ими мероприятия (скажем, коллективизация крестьян, ликвидация фермерства как массы и свободного крестьянства как класса, закрепощение индустриальных рабочих и т.д.) противоречат главным программным установкам, заранее сформулированным в документах коммунистического движения (в "Коммунистическом Манифесте" и др.), — если всего этого не удаётся доказать, то утверждать какое-то замещение нейтрального социализма репрессивным русским наследством — нельзя, оставаясь в пределах научной методологии. Если не удаётся доказать, что под видом социалистов к власти на территории бывшей Российской Империи пришёл тайный орден черносотенцев или спрятанная в веках ложа последователей Ивана III, или что класс служилого дворянства пошёл с прежними классовыми заданиями в правящую коммунистическую партию и вытеснил её неслужилое интеллигентское ядро и т.д. — если этого не удаётся доказать, то утверждать нейтральность социализма и преемственность старой русской истории — значит, отказаться от следования научной методологии XX века. Повторяем, условия предельно жёсткие, но ведь не мы их устанавливали, — это правила игры в том, что именуется социальной, политической и исторической науками, и поэтому игра краплёными картами запрещена!

Поэтому можно делать какие-угодно смелые обобщения, шагать из 14-го века до Рождества Христова в нынешний 20-й век, из древней Африки в СССР и т. д., но: стадиальность есть стадиальность, аналогия есть аналогия, — и то и другое допустимо, но преемственность есть преемственность, и аналогия не преемственность, а преемственность прямая — не есть отклонение из-за наличия каких угодно аналогий. Кто не признает этих условий — автоматически выбывает из игры.

Мы вынужденно принимаем эти условия (чтобы говорить на языке, понятном не только нашим христианским единомышленникам, но и научным людям западного склада ума) и соответственно применяем далее испытанный метод проверки теории фактами. И сразу же обнаруживается, что отстаиваемая проф. Р. Хейли и многочисленными его единомышленниками теория с этой позиции смотрится как очень слабая. Достаточно взглянуть на документы и политические действия В.И. Ленина и И.В. Сталина, многократно описанные в литературе и хорошо известные всем специалистам разных направлений, чтобы убедиться, в какую сторону они подталкивали историю и это представляется бесспорным, независимо от того, имеются ли при этом аналогии с Иваном III или не имеются, и независимо от того, в какую сторону подталкивал историю XX века Иван III, если даже допустить, что ему удалось как-то это делать. Ссылка на Роя Медведева является недостаточным аргументом для доказательства, что подавления не есть результат социализма, когда, кажется, никто не станет отрицать, что эти подавления произошли как-никак после 1917 года, после совершения социалистической революции и системы социалистических преобразований бывшей Российской Империи. Правда, существует точка зрения, что сама революция не была социалистической и преобразования после неё (социализация земли, потом социализация сельскохозяйственного производства, то же и в промышленности) не были социалистическими, — но при этом трудно найти в этих явлениях черты товарно-денежного хозяйства и частной собственности, то есть черты античного рабства, феодализма, частного крепостничества, капитализма и т. д., — к тому же серьёзные западные исследователи, включая

проф. Р. Хейли, и не оспаривают социалистического характера революции 1917 года, и поэтому остается бездоказательным утверждение, что социализм и его революция никак не связаны с подавлениями, произошедшими именно в ходе строительства социализма, а не в каком-то другом столетии. И если не признавать переселения институций и классов через переселение душ — а этот путь мы уговорились выше отвергнуть, — тогда трудно понять, откуда всё-таки взялись подавления после социалистической революции, если не от самого социализма. Кроме того, последнее подтверждается всей совокупностью известных фактов. Хорошая подборка этих фактов содержится в книге С.П. Мельгунова "Красный террор в России",[6] факты самого раннего коммунистического террора частично представлены в нашей работе, известной читателям "Вестника".[7] Есть немало других исследований на эту тему, в том числе выполненных и западными учеными. Что касается прямого руководства И.В. Сталиным террором 1920х - 1930-х и последующих годов — то это даже Рой Медведев признаёт, даже в начале 1960-х годов признавали официальные советские ученые, и сегодня можно найти только две категории историков, которые в этом сомневаются — историки Албании и профессор Р. Хейли, причём даже албанские историки выглядят более последовательно: сталинский террор они списывают на Н.И. Ежова, Л.П. Берию и т.п. деятелей — деятелей всё-таки XX века, тогда как проф. Р. Хейли сталинский террор списывает на Ивана III и других деятелей, исполнявших свои служебные обязанности, во всяком случае, до 1917 года.

В таком же сомнительном состоянии находятся и другие аргументы языческой школы при свете научной методологии и внимательном отношении к фактам. Так, большинство населения СССР было терроризировано "при помощи латышей и евреев" в основном в первые годы социализма в СССР, когда у власти ещё не стоял один только "грузин", когда же "грузин" взялся самолично руководить террором, роль "латышей и евреев" была уже не самой ведущей. Затем, большевики

6. S.P. Melgunov. The Red Terror in Russia. 1917-1924. NY-L., 1928.
7. "Le Messager", № 120.

"смешали марксизм с шовинизмом" (если такое смешение не присутствовало в марксизме уже в пору его появления, — см. об этом в нашей статье в №126 "Вестника") — как принято считать на Западе, в конце 1940-х годов, а национал-большевизм появился даже не в СССР, а в германской коммунистической партии в начале 1920-х годов, в истории же русских политических групп всегда был не абсолютно официальным явлением и тоже появился в начале 1920-х годов (так называемое "сменовеховство").

Р. Хейли и другие авторы его направления до 1924 года вообще видят только "западничество", либеральные реформы, а жертвы хотят списать на "грузина, евреев и латышей", да на Ивана III как их направителя. Социализм здесь ни при чём, чему самое сильное доказательство — ссылка на Роя Медведева, а у других авторов на то, что еврейские левые интеллектуалы получили гражданское право уничтожать синагоги и расстреливать раввинов.

Потом по этой схеме идут 30 лет "грузина" как "вождя великорусского национализма", а сейчас, как пишет С. Эндерс Умбуш, который составляет экспертизы по "русскому вопросу" для Правительства США, идет интегральное нашествие русского национализма, в котором лидирует А.Н. Шелепин, Д.С. Полянский, И.Р. Шафаревич, А.И. Солженицын, писатели-"деревенщики" и журнал "Вече", — руководство же КПСС ведёт похвальную половинчатую политику: умеренных националистов поддерживает, а экстремистов репрессирует: выслало А.И. Солженицына, выгнало с работы А.Н. Шелепина, посадило В.Н. Осипова.[8]

В американских университетах, вообще либеральных кругах, в значительной степени в прессе, и даже на подступах к правительству США (М. Шульман, и др.) идёт то, что мы в одной из лекций в Чикагском университете назвали

> "разрядкой с коммунистическим режимом СССР и холодной войной против народов СССР, прежде всего русского народа".

8. S. Enders Wimbush. The Great Russians and the Soviet State: the Dilemmas of Ethnic Dominance. — "Soviet Nationality Policies and Practices. Ed. by Jeremy R. Azrael". NY-L-Sydney-Toronto, Praeger, 1978, pp. 352-358.

Огромную поддержку эти западные интеллектуальные слои получили сейчас от тех представителей "третьей эмиграции", которые пишут и печатают книги и статьи о том, что нынешний Архипелаг ГУЛаг — это мелочь, руководство СССР — это умеренные, а вот страшная сила надвигается — "славянофилы", "идейный основатель нового ГУЛага" — А.И. Солженицын,[9] которым пока противостоит Брежнев, и поэтому Запад должен поддерживать его против "славянофилов".

Цитированная статья Р. Хейли полностью повторяет все приведённые стандартные извращения национального вопроса в СССР, — слава Богу, без политических выводов в пользу Брежнева, хотя и последнему проф. Р. Хейли отпускает полукомплимент:

> "Всё-таки нельзя сказать, что Брежнев чувствовал бы себя как дома при дворе Ивана III или, скорее, Бориса Годунова".[10]

В итоге Брежнев оказывается ближе не к исчадиям ада Ивану III, Борису Годунову, А. И. Солженицыну, а к глашатаю истины Рою Медведеву. Впрочем, в том, что Брежнев ближе к Рою Медведеву, чем к Ивану III и тем более А. И. Солженицыну — это, пожалуй, единственное точное заключение, которое не расходится с фактами в статье Р. Хейли.

Совершенно комической выглядит генерализация проф. Р. Хейли о "городских парнях" как воплощении вечного русского служилого класса, которые били деревню. Эта схема борьбы города и деревни – даже не знаем, где впервые появилась: то ли в американских университетах, то ли в речах Мао Цзе-дуна. Как и всякая слишком общая генерализация, не основанная на знании дела, схема проф. Р. Хейли легко опровергается фактами. Во-первых, уничтожение т.н. "кулаков" началось не в конце 1920-х годов и не связано с индустриализацией: оно началось в 1918 году, достаточно прочесть соответстующие документы КПСС и

9. А. Янов. На полпути к Леонтьеву. Парадокс Солженицына. — "Демократические альтернативы. Сборник статей и документов. Л. Плющ и др. Составил В. Белоцерковский". Ахберг, ФРГ, 1976, стр. 202.

10. R. Hellie. Op. cit. p. 22.

В.И. Ленина[11], и имело целью простое истребление товарного крестьянского хозяйства для насаждения военного коммунизма, — как слитно формулировали К. Маркс и В.И. Ленин, ликвидировать всё крестьянство как класс и превратить всё население в работников.[12] Во-вторых, совершали уничтожение "кулаков" не "городские парни", а отряды интернационалистов, а во главе процесса уничтожения стояла интернационал-социалистическая интеллигенция. В-третьих, в конце 1920-х годов уничтожением крестьян занимались опять же не столько "городские парни" (многие так называемые "25-тысячники", если опираться на более серьёзные источники, чем роман "Поднятая целина", просто поехали из голодных городов подкормиться в деревню и были втянуты в мясорубку), сколько партийно-интеллигентские уполномоченные и, конечно, просто армия: не говоря уже о прямых военных подавлениях и введениях войск в деревню, достаточно взглянуть на статистику: в 1930 году приказом Реввоенсовета от 30 января было отправлено в сельские местности 100 000 солдат в качестве

"военных организаторов социалистических деревень".[13]

Наконец, в-четвёртых, никаких "городских парней" ("city boys"), в России и СССР никогда не существовало в природе. Это совершенно специфическое явление американских городов-гигантов — никогда и нигде не работавшие люди, живущие на специальные социальные пособия от государства, штата или города. В основном это чёрное и пуэрториканское население, то есть отличающееся этнически и расово от "бело-протестантского большинства" США. Этих людей проф. Р. Хейли может во

---

11. См.: В.И. Ленин. Полное собр. соч. 5 изд., том 37, стр. 40-41 сл.; том 41, стр. 153, 433-434, 544. Подборку материалов см., напр.:. В.И. Ленин и КПСС о социалистическом преобразовании сельского хозяйства. М., 1971, стр. 20-25, 27, 28, 33, 41, 42, 44, 45, и мн. др.
Ленинский сборник. Том XVIII. М. 1931, стр. 71-192, 200-209, 290-299. См. также следующую сноску.

12. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 586. Их же. Соч. 2 изд. том 4, стр. 446-447. В.И. Ленин. ПСС, т. 39, стр. 273-274, 277, 278-279.

13. Декрет РВС от 30.1.1930 — "Правда", 1930, № 31, 1 февраля.

множестве встречать в Гайд-парке (район Чикагского университета), но ничего подобного никогда не было в России. Очевидно, проф. Р. Хейли известен этот простой факт, и его генерализация подразумевает не "безработных цветных", а русский рабочий класс. Однако последний никак не подходит под определение ни "городских парней", ни "служилого класса". А главное, не русский рабочий класс помогал коммунистическому режиму давить крестьянство. Источники (если их изучить) сообщают нам, что русский рабочий класс от первых недель интернационал-социалистической оккупации России оказывал самое упорное сопротивление режиму[14], которое доходило до таких явлений, как грандиозное Ижевское восстание во второй половине 1918 года, причём рабочие и крестьяне восставших Ярославля, Ижевска, Воткинска и др. сражались в одном строю против ландскнехтов коммунизма.[15] Однажды мы спросили

---

14. Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда. № 1-2. 18 марта 1918. — "Континент". кн. 2. Париж, 1975, стр. 385-419.
А.Г. Ефимов. Ижевцы и воткинцы. Борьба с большевиками 1918-20 гг. Конкорд, Калифорния, 1975.
Г.Я. Аронсон. Движение Уполномоченных от рабочих фабрик и заводов в 1918 году. Нью-Йорк, 1960.
А. Ган (А. Гутман). Россия и большевизм. Ч. 1. 1914-1920. Шанхай, 1921, стр. 262-271.
Г. Аронсон. Рабочее движение в борьбе с большевистской диктатурой. — "Против течения". Вып. 1-2. Нью Йорк, 1952, стр. 66-77.
Н. Сапожников. Ижевско-Воткинское восстание. Август-ноябрь 1918 г. — "Пролетарская революция". М., 1924, № 8-9, стр. 5-41.
Владимирцев. Как рабочие и крестьяне восстали против большевиков. Омск, 1919.
Из недавнего прошлого. Ижевск, 1921.
Газета "Ижевский защитник", 8 августа — 7 ноября 1918.
Г. Струмило. Из записок рабочего. — "Заря". Берлин, 1922, №№ 2, 3, 4, 5, 6.
И. Уповалов. Как мы потеряли свободу. — Там же, 1922, № 7, 8. 1923, № 2,3.
Его же. Рабочее восстание против Советской власти. — Там же, 1923, № 4, 5, 6-7.
В. Сергеев. Ижевск в огне гражданской войны. 1917-18 годы. Ижевск, 1933.
Шестнадцать дней. Ярославль, 1924. И мн. др.

15. См. предыдущую сноску и: Шестнадцать дней, стр. 62-64, 195. А. Ефимов. Ижевцы и воткинцы. Присоединение к восставшим крестьян. — "Вестник Общества русских ветеранов великой войны". Сан-Франциско, № 200, 1954, декабрь, стр. 20-23.
С.Н. Лотков. Камско-Воткинский завод и его рабочие. — Там же, № 179-181.

профессора Р. Хейли, хорошо ли он знаком с историей Ижевского восстания. Проф. Р. Хейли ответил, что никогда о таком не слышал. В этом случае лучше избегать поспешных обобщений о русском рабочем классе, а ещё лучше вообще не упоминать его ни в каком контексте.

Мы не станем далее спорить за недостатком места с другими ошибками фактического порядка в статье проф. Р. Хейли ("Опричнина = III отделение = КПСС и Рабкрин"; или "Чёрная Репартиция"[16] и т.п. — опровержение легенды о "чёрном переделе" требует специального места, но специалисту по русской истории XVI века следовало бы знать, что «черные крестьяне» были как раз свободные крестьяне, владевшие свободной частной землей, — по мнению ряда специалистов это была разновидность аллода[17]).

Все эти многочисленные фактические ошибки и надуманные генерализации заставляют прийти к выводу, что нагромождение их не случайно. Когда в арсенале историка главенствует стремление натянуть факты на схему, но объективно нет ничего, кроме поверхностных аналогий, — приходится ему тем заниматься, что как-то систематизировать аналогии вместо фактов. Тогда и появляются замкнутые цепи, скорее напоминающие ритуальные языческие формулы с повторами: сначала "грузин при помощи евреев и латышей" бил русских, потом русские при помощи "грузина" нашли своё преемство от дальних веков и начали бить евреев и латышей; в то же время "городские парни" били деревенских, а потом к власти пришла вековечная русская деревня и стала бить "городских парней", сиречь исконная Русь победила

16. R. Hellie. Op. cit., p. 18, 14, etc.

17. Л.В. Черепнин. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960.

А.Д. Горский. Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. М., 1960.

И.И. Смирнов. Заметки о феодальной Руси XIV-XV вв. – "История СССР". М., 1962, кн. 2.

Ю.Г. Алексеев. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. М.-Л., 1966.

А.П. Новосельцев, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин. Пути развития феодализма. М., 1972. Особенно см. Н.Е. Носов в: "Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России". Л., 1972.

влияние индустриального Запада, которое насаждали царь Алексей, его сын Пётр и их преемник В.И. Ленин, пока последнего не хватил третий удар в 1924 году, и тогда пришёл "грузин" и т.д. до бесконечности. В общем, это материал скорее для фольклористики, чем для научной критики. Мы же не критикуем "У попа была собака..." как исследование по церковной истории...

Мы пока оставляем в стороне довольно любопытный вопрос, почему такого рода фольклор под видом научных работ пользуется немалым успехом в кругах специалистов Запада, и хотим сосредоточиться на другом, более интересном для нас вопросе: что же происходит с методологией научного исследования, когда рациональный научный взгляд заменяется не осознанной самим исследователем языческой мистикой. Конкретизируем вопрос: влияет ли идея переселения душ от Ивана III до Брежнева на сами конкретные методы научной работы, такие, как обращение с фактами, обращение с источниками, обращение с цитатами и т. д. Пример проф. Р. Хейли недостаточен для ответа — и потому, что пример всегда недостаточен для обобщения, и потому, что проф. Р. Хейли производит перверзию фактов, которыми он не владеет свободно, и поэтому его случай может быть объяснён наличием вполне простительных ошибок, когда специалист по XVI веку пишет историю от Ильи Муромца до Брежнева.

Поэтому мы считаем полезным взять для ответа на поставленный вопрос другой пример (недостаточный, но показательный): пример специалиста, который пишет на свою главную тему, на тему, избранную им, изученную в течение долгих лет, и в которой он стал лучшим в мире знатоком. Такой благодарный пример дает нам 126 книга "Вестника" , а именно опубликованная в ней глава профессора Р. Пайпса из его второй книги о Петре Бернгардовиче Струве, глава "П. Б. Струве о русской революции" ("Вестник РХД", № 126, стр. 166-192, все ссылки приводятся далее в тексте простым указанием страниц). В этой работе собран обширный материал, приводятся цитаты из П. Б. Струве не только из широко известных публикаций, но и из забытых газетных статей, из публичной лекции и т.д. Есть тонкие наблюдения, к которым можно присоединиться: взгляды П. Б. Струве не были им изложены систематически, имеют не-

мало непоследовательностей, разночтений, противоречий, — во многом из-за того, что П. Б. Струве по своей манере избирал разные отправные точки обзора: то историка, то социолога, то политического деятеля; вместе с тем, во взглядах П. Б. Струве на революцию есть главная пронизывающая линия, и её-то и надо реконструировать исследователю (стр. 166-168).

Найти основную линию у мыслителя масштаба П. Б. Струве — это задача нелёгкая, требующая своего рода конгениальности, или, по меньшей мере, большого методологического мастерства, каковое естественно ожидать от проф. Р. Пайпса. Впрочем, есть проверенные приёмы ремесла историка, и какой-то минимум систематики и реконструкции могут помочь сделать даже они. Вообще возможны два подхода: может быть, несколько примитивный профессиональный, — и публицистический, непрофессиональный. Профессиональный подход подсказывает: надо как-то классифицировать высказывания П. Б. Струве, отделить прежде всего главное от наносного, — но это отделение произвести методологически корректно. Например, можно отобрать те работы П. Б. Струве, которые он сам считал программными, писал долго и тщательно, публиковал в ответственных изданиях, потом на них неоднократно ссылался, — и отдельно отложить случайные скороспелые газетные статьи, устные лекции и т.д. Затем можно рассмотреть, что сказано по принципиальным соображениям, а что — по тактическим, именно с позиции «политического деятеля». Вслед за тем можно рассмотреть конкретные исторические условия, в которых писалась каждая отдельная работа, если она цитируется, и отделить в ней случайные впечатления времени от главных и постоянных мыслей.

Наконец, главные мысли надо рассмотреть с точки зрения того угла, под которым они постоянно подавались мыслителем и составляли его особенность, и как этот угол зрения производил некоторое постоянное смещение сквозь всю эволюцию мыслителя, и это смещение надо показать для окончательной реконструкции концепции П. Б. Струве.

Возможен и другой подход к делу, непрофессиональный, и гораздо более лёгкий: разделить взгляды П. Б. Струве на те, которые близки и понятны исследователю, и на те, которые

чужды и непонятны. Первые выпятить, от вторых отмахнуться. Итог подать как итог.

С первых же страниц главы профессора Р. Пайпса поражает, что он неуклонно и последовательно идёт именно этим вторым, непрофессиональным, путём, и приведённые выше простейшие ремесленные методы анализа просто игнорирует, нет и следа методологической работы. В итоге, конечно, никакого П. Б. Струве не остаётся — перед читателем предстаёт приглаженный и утёсанный "правый либерал", то есть alter ego самого проф. Р. Пайпса. И только из-под придавленных комментариями длинных цитат пробивается религиозный и патриотический пафос выдающегося русского мыслителя.

Чтобы полностью опровергнуть искажающую реконструкцию проф. Р. Пайпса, нам пришлось бы писать отдельную работу о взглядах П. Б. Струве, и такая работа очень нужна России и Западу, но мы не можем этого сделать, и мы ограничимся более локальной целью — отметить искажения, сделанные проф. Р. Пайпсом, и тем самым проиллюстрировать, что происходит с методологией научного исследования, когда автор руководствуется языческой мистикой.

Начнём с того, что в статье Р. Пайпса ни одного раза не встречаются понятия, которые были главными для П. Б. Струве и пронизали всё его творчество примерно от 1902-1905 годов и до самой смерти: эти понятия религиозное начало, государственное начало, патриотизм и антисоциализм. Правда, мыслитель, зиждущий свою линию на таких узловых понятиях, не может быть подведён под шапку "правого либерала", — но это уже не вина П. Б. Струве. Очевидно, он просто был Православным Христианином, в свободе видел просто необходимое начало жизни, а не политическую самоценность, в государстве оценивал не степень либеральности, а степень наличия положительных созидательных начал, бесконечно любил свою Родину, ценил всё высокое, что было в её национальной истории, важнейшим фактором считал органическую историческую преемственность национальной жизни, крайне отрицательно относился ко всякой революции против органического строя жизни и ко всей деятельности левых либеральных и просто либеральных интеллектуалов, — то есть в

политическом смысле был законченным консерватором с уважением к свободе и к порядку, с ненавистью к анархии и к нигилизму. Эпиграфом к творчеству П. Б. Струве второго периода его жизни, исследуемого Р. Пайпсом, наверное, вернее всего поставить те слова, которые сам П. Б. Струве написал в предисловии к сборнику "Из глубины" (стр. 25 изд. 1967):

> «Всем авторам одинаково присуще и дорого убеждение, что положительные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания и что разрыв этой коренной связи есть несчастье и преступление. Как такой разрыв, они ощущают то ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение, которое постигло наш народ и наше государство».

Эти ключевые слова проф. Р. Пайпс не цитирует и не упоминает, и мы подозреваем, что они ему просто непонятны. Эпиграфом к своей главе о взглядах П. Б. Струве на революцию проф. Р. Пайпс избирает совсем другие слова П. Б. Струве:

> «Большевизм нездоров — и как народная дикость, и как интеллигентская этикетка. Но и в том и в другом своём качестве он глубоко национален, он подготовлен всем историческим развитием народа и интеллигенции. Это — глубокая и в известной мере органическая болезнь, от которой нельзя излечиться одними лишь хирургическими средствами» (стр. 166 статьи Р. Пайпса).

Обращает на себя внимание, что две приведённые цитаты находятся на разных этажах сознания и на разных уровнях глубины. Вторая цитата, выхваченная из контекста, звучит довольно двусмысленно: в ней есть и критика большевизма, и критика интеллигенции, — но уже последняя именно в этой цитате выражена довольно мягко и неопределённо: большевизм как "интеллигентская этикетка". Вместе с тем определённо звучит одно: большевизм есть глубоко национальное русское явление, он подготовлен всем историческим развитием России, это органическая болезнь — по-видимому, опять же самой

России, и т. д. Надо отдать должное проф. Р. Пайпсу: ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы раскопать эту цитату в выходившей в Хельсинки газете «Северная жизнь», в 1 номере которой эта статья опубликована — проф. Р. Пайпс не объясняет, что за газета, на какого читателя рассчитана, как попала туда статья П. Б. Струве, по какому поводу написана, когда и где писалась, и насколько эта газетная публикация важна в творчестве П. Б. Струве. Никаких этих обязательных ремесленных методических разработок проф. Р. Пайпс не делает, — и в итоге цитата задаёт общий тон, ведёт общую линию статьи.

А ведь цитируемая статья, судя по времени и месту её публикации, написана случайно, второпях, в гонке конца 1918 года, — и выражает поспешные, случайно соединившиеся и, надо сказать, раздражённые слова.

Проф. Р. Пайпс предупредил читателя: П. Б. Струве не всегда последователен, и надо вести линию только его постоянных мыслей. Коли так, проф. Р. Пайпс должен отдавать себе отчёт, что цитированный пассаж из газеты — едва ли не единственный в таком роде во всём многолистном творчестве П. Б. Струве, ну, ещё два-три таких можно найти, но для этого снова придётся ехать в архив в Хельсинки. Это уже работа следователя, а не исследователя: натянуть на обвинение или на оправдание, а не истину передать. И это печально напоминает советскую методологию, когда авторам, чтобы напечататься, чтобы доказать законность своих взглядов перед начальством, — надо раскопать какую-нибудь хоть самую кургузую цитатку из Брежнева или, на худой конец, Ф. Энгельса.

Далее проф. Р. Пайпс пишет, что, по мнению П. Б. Струве, большевизм совершенно немыслим на Западе, что большевизм объясним только чертами русского народного характера и исторического опыта. Насчёт немыслимости большевизма на Западе никакой цитаты из П. Б. Струве не следует — одна глухая ссылка, — а ведь это главная проблема, ключевое место концепции — нет, не П. Б. Струве, а проф. Р. Пайпса. Насчёт объяснения большевизма русским национальным характером и русским историческим опытом — нет даже и глухой ссылки на

П. Б. Струве, это уже проф. Р. Пайпс добавляет от себя (ЧЧ (стр. 173). Очевидно, хельсинкская цитата на этот счёт всё же была в арсенале проф. Р. Пайпса единственной в таком роде.

Далее следует ещё ряд цитат, которые можно толковать и так, и эдак, после чего проф. Р. Пайпс приходит к выводу, что П. Б. Струве считал, что главным и единственным виновником революции 1917 года были века русского самодержавия (стр. 175). Цитата здесь используется такая:

> «Русская монархия рушилась в 1917 году оттого, что она слишком долго опиралась на политическое бесправие дворянства и гражданское бесправие кретьянства». (стр. 174).

Вывод проф. Р. Пайпса из цитаты такой:

> «Следовательно (! — М.Б.), в конечном счёте вина за то, что произошло, всецело лежит на монархии — мнение совершенно противоположное тому, которого придерживались русские консервативные круги. То, что Струве держался (! — М.Б.) этого толкования и до и после 1917 года, ясно указывает, что, несмотря на правизну (! — М. Б.), его политическая позиция была либеральной» (стр. 175).

Идея проф. Р. Пайпса понятна: ему надо реабилитировать П. Б. Струве, «несмотря на правизну», перед западным либеральным лагерем. Это напоминает, как советские литературоведы при Хрущёве робко протаскивали в печать прежде запрещённых писателей и искажали их политические взгляды, чтобы реабилитировать перед начальством. Но счёты проф. Р. Пайпса с его либеральным начальством — "ветром века", как метко выразился А. И. Солженицын в Гарвардской речи, — нас здесь мало волнуют, и мы не можем даже посочувствовать проф. Р. Пайпсу, боимся, что либеральное начальство реабилитации П. Б. Струве всё-таки не произведёт (к слову: попытки проф. Р. Пайпса реабилитировать П. Б. Струве всё-таки создали переполох в американском либеральном мире, и один профессор-славист специально ездил в Хельсинки, чтобы на всякий случай

подготовить цитату из статьи П. Б. Струве в какой-то газете в 1907 году, из каковой цитаты можно вытянуть, что П. Б. Струве однажды высказывал неудовольствие по поводу еврейского журналиста...). Нас здесь занимает другое: проф. Р. Пайпс пишет: "следовательно", — а ведь оно вовсе и не следовательно. П. Б. Струве в приведённой цитате говорит очень простую вещь: русская монархия рушилась в 1917 году оттого, что не имела под собой социальной базы. Это очень простая и правильная мысль, хотя следовало бы уточнить — и в других местах П. Б. Струве неоднократно уточняет, что в XX веке в результате реформ П. А. Столыпина социальная база консервативной государственности создавалась. Но П. Б. Струве в приведённой цитате не говорит ничего больше, чем: почему пала монархия. Он вовсе не говорит, что «в конечном счёте вина за то, что произошло» — то есть за коммунистическую революцию, — «всецело лежит на монархии». Это всё говорит за П. Б. Струве проф. Р. Пайпс и говорит после слова «следовательно», хотя вовсе никакого «следовательно» и нет. И поэтому никакого расхождения П. Б. Струве с консервативными взглядами пока не выходит, хотя Р. Пайпс делает такую надстройку на своей прежней надстройке — на «следовательно».

А всё это нужно проф. Р. Пайпсу вот для чего: перевернуть главную политическую идею П. Б. Струве о вине интеллигенции за коммунизм, или, в терминах Ф. М. Достоевского, о вине либералов за бесов. Проф. Р. Пайпс цитирует П. Б. Струве:

> «Систематически отказывая сперва этому классу (дворянству), а потом развившейся на его стволе интеллигенции во властном участии в деле устроения и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Это отщепенство и есть та разрушительная сила, которая, разлившись по всему народу и сопрягшись с его материальными похотями и вожделениями, сокрушила великое и многосоставное государство» (стр. 175).

Кажется, мысль однозначна и не допускает кривотолков: государство отказывало интеллектуалам в разделении с ними власти и тем создало в социальной психологии интеллектуалов традицию отщепенства от государства и национальной жизни. Эта традиция отщепенства и есть главная причина разрушения страны, интеллектуалам удалось спустить эту разрушительную силу в массы, — и государство рухнуло, и пришёл коммунизм. Таким образом, прямая и главная вина за коммунизм лежит на интеллектуалах, на силе отщепенства от государства; косвенная вина соучастия лежит на народе, который поддался «материальным похотям и вожделениям» — или вообще материальные похоти и вожделения людям присущи, мысль вполне христианская; затем косвенная вина этиологическая лежит на самом государстве, на самодержавии. Но чёрным по белому: не самодержавие, не века самодержавия создали коммунизм, а отчуждённые интеллектуалы, созданные государством, создали коммунизм, разрушили великое государство.

Очень это не согласуется с тем, что проф. Р. Пайпс на той же странице выше говорил: вина за то, что произошло, всецело (! — М. Б.) лежит на монархии». Тем менее приведённая цитата согласуется с тем выводом, который сразу после неё делает из неё проф. Р. Пайпс:

> «Подчиняясь воле правительства (абстрактному государству) русская интеллигенция постепенно потеряла чувство реальности государства, с его чиновниками и учреждениями. Она стала жертвой (!! — М.Б.) всякого рода абстракций, особенно социализма ...Таким образом (!) русская интеллигенция стала не только виновницей, но и жертвой» (стр. 175-176).

Здесь не просто полная перверзия того, что сказал П. Б. Струве, — здесь даже больше, здесь начинается то, что один русский террорист XIX века называл «марксятиной». Проф. Р. Пайпс контрабандой вводит марксистское объяснение: дескать, «абстрактное государство» (ничего подобного П. Б. Струве нигде

не говорит, он такими категориями не пользуется), интеллектуалы поэтому теряют чувство реальности государства (ясно, ведь оно абстрактное), причём теряют его «подчиняясь воле правительства» (когда такое было?! — М. Б.), отсюда идёт «отчуждение», «эйлианация» интеллектуалов от абстракции, увлечение поэтому абстрактными идеями, особенно социализмом (напомним читателю из проф. Р. Хейли: социализм — абстракция, пустота, а конкретность — извечные русские репрессии). Вывод вбивается в головы дважды: интеллигенция — не виновница, а жертва! жертва! В цитате П. Б. Струве прямо говорит: отщепенство интеллигенции разрушило Россию. В комментарии проф. Р. Пайпс говорит: интеллигенция из-за отчуждения от абстрактного государства стала жертвой других абстракций и потому не виновница разрушения государства, а жертва — жертва того же «абстрактного» государства.

Чтобы забить последний гвоздь, проф. Р. Пайпс продолжает:

> «Таким образом, русская интеллигенция стала не только виновницей, но и жертвой; её действия были следствием того, что монархия, ревниво охранявшая свои автократические прерогативы, отказалась предоставить ей возможность приобрести иные политические навыки. Искра, зажёгшая революцию, была вызвана политическим и духовным искоренением дворянства и его наследницы — интеллигенции». (стр. 176).

Итак, перверзия завершилась: не интеллигенция разрушила государство, а государство десятилетиями "искореняло" интеллигенцию, — интеллигенция есть жертва государства, а не государство есть жертва интеллигенции, — а революцию государство, таким образом, в конечном счёте устроило само против себя. Вину за коммунизм несут русское государство и русский народ.

Для доказательства этих итоговых положений приводится — сразу после цитированного текста проф. Р. Пайпса — такая цитата из П.Б. Струве:

> "Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи мозгом нации" (стр. 176).

Чтобы так доказывать, так цитировать, так комментировать, как это делает проф. Р. Пайпс, надо быть совершенно уверенным, что уже некому схватить за руку. Проф. Пайпс может исповедовать любые идеи, но нельзя же так издеваться над ремеслом историка!

П.Б. Струве выразил свою мысль предельно ясно, и это освобождает нас от необходимости её объяснять. Добавим только, что в работе П.Б. Струве, к которой проф. Р. Пайпс неоднократно обращается и обильно цитирует — в статье в сборнике "Из глубины" — имеется совершенно ясная и чёткая квалификация той идеи, которую проф. Р. Пайпс пытается навязать П.Б. Струве: идеи, что старый режим и русский народ погубили страну и вызвали коммунизм. Квалификация идеи проф. Р. Пайпса в тексте П.Б. Струве такая:

> "Ссылку на некультурность народных масс мы должны решительно отклонить как поверхностную и, сказать откровенно, просто глупую. Родственна ей ссылка на "режим" ("старый порядок" и т.п.)." ("Из глубины", стр. 291).

А в остатке остаётся то, что вслед за проф. Р. Пайпсом из П.Б. Струве цитировали и мы: "Россию погубила безнациональность интеллигенции".

Вопрос о старом режиме и об интеллектуалах будем считать освещённым и скажем немного о другом вопросе, не менее важном: как проф. Р. Пайпс толкует позицию П.Б. Струве насчёт социализма.

Во-первых, проф. Р. Пайпс пишет, что бывало, что П.Б. Струве отрицал связь большевизма с социализмом, поскольку считал большевизм продолжением "экономически реакционного народничества" (стр. 185). Мы не видим в этом утверждении П.Б. Струве ничего такого, что давало бы основания сомневаться, что он считал большевизм социализмом. Ведь народничество — это тоже социализм! Мы, наоборот, считаем постоянное, и в раннем,

и в позднем творчестве П.Б. Струве, антинародничество — одной из главнейших заслуг П.Б. Струве перед мировой экономической и политической мыслью. Народничество, "популизм" — сейчас является одной из главных сил в создании национал-социалистических режимов в т.н. третьем мире. Идея борьбы с капитализмом и товарным хозяйством как таковым, идея перехода от общины, минуя капитализм, к индустриальному социализму — была важной идеей в учении К. Маркса,[18] а сейчас принцип "минуя капитализм" активно навязывается мировым коммунистическим движением развивающимся странам. В этом плане очень важно, что П.Б. Струве фактически, в своей борьбе с русским народничеством, был первооткрывателем важного явления: социализм идёт в разных странах единым фронтом, объединяя и синтезируя различные ветви и течения, социалистов псевдокрестьянских и социалистов псевдорабочих, народников и марксистов, эсеров, меньшевиков и большевиков. Все они вместе составляют левое крыло интеллигенции, а вся либеральная интеллигенция в целом расчищает дорогу интегральному социализму-коммунизму. Так на современном языке мы бы решились реконструировать смысл многолетней борьбы и многолетних печатных работ П.Б. Струве. На более глубоком уровне открывается мысль такая: социализм глубоко экономически реакционен, он отвергает современное экономическое общество, товарное хозяйство, — он есть реакция на экономические достижения человечества и стремится возродить самые реакционные институты — общину, трайбы, азиатские деспотии.

Опорные точки этой современной мысли (нашедшей законченное выражение в выдающейся книге академика И.Р. Шафаревича "Социализм как явление мировой истории") можно найти у славянофилов, у русских консервативных писателей XIX-XX веков, наконец, в трактате Шигалёва, в "Бесах" Ф.М. Достоевского, а экономическую характеристику этого явления, как яркий ориентир, даёт нам П.Б. Струве.

Проф. Р. Пайпс совершенно не говорит о том, что антипопулизм П.Б. Струве был тем специфическим углом зрения, под

[18] Подборку материалов см., напр.: "Архив К. Маркса и Ф. Энгельса". Кн. 1 М., 1924, стр. 269-286.

которым П.Б. Струве смотрел на вещи, и поэтому если П.Б. Струве назвал большевизм "экономически реакционным народничеством", это на его языке означает, что большевизм есть крайняя реакционная форма разрушения экономики, хозяйства, собственности, жизни, — крайняя реакционная форма социализма. Далее, проф. Р. Пайпс цитирует работу П.Б. Струве 1921 года:

> "Экономическая политика советской власти всецело подчинена социалистической идее и программе... Отрицать социалистический характер советского законодательства значит отрицать нечто логически очевидное" (стр. 185).

После цитаты проф. Р. Пайпс пишет слово "следовательно", и мы уже знаем, что надо ждать комментария в духе, прямо противоположном цитате. Но комментарий проф. Р. Пайпса на этот раз превосходит все наши ожидания, ибо открывает то главное, что профессор Р. Пайпс хочет сказать всей своей статьёй и, наверное, и книгой. Комментарий после приведённой цитаты идёт такой:

> "Следовательно, хотя во многих своих проявлениях и в особой жестокости большевизм и уклонился от идеалов социализма, в своих основных чертах он всё же был его выражением.

Что это доказывало? Что социализм неосуществим" (стр. 185). П.Б. Струве чёрным по белому пишет: всё, что есть в советской власти, — экономика, политика, законодательство, — это и есть полный социализм, полное выражение социалистического идеала, социалистической идеи и программы. Проф. Р. Пайпс комментирует: в основных чертах большевизм — это социализм, но во многих проявлениях и в особой жестокости большевизм уклонился от идеалов социализма, — это значит, что идеалы социализма неосуществимы.

Теперь можно свести воедино, что хочет сказать проф. Р. Пайпс. Россия, её государство, её история были причиной революции и коммунизма. Именно они были причиной особой жестокости, с которой воцарился большевизм. Интеллигенция была только жертвой старого режима и не была виновницей рево-

люции. Идеал социализма неосуществим, большевизм во многом уклонился от идеалов социализма, потому что большевизм и его жестокости являются наследниками русской истории и русского государства.

Можно свести воедино и то, что, вопреки профессору Р. Пайпсу, говорит о социалистической революции 1917 года П.Б. Струве. В 1917 году произошла победа социалистической равно коммунистической революции на территории России. Главным виновником революции был интегральный интеллектуализм с его безрелигиозным отщепенством от государства, каким бы несовершенным оно ни было, и от национального бытия русского народа. Непосредственной причиной проявления разрушительных сил была первая мировая война:

> "война поставила народ в условия, сделавшие его особенно вприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей". ("Из глубины", стр. 291).

Интеллектуалистическое отщепенство расчистило дорогу большевикам, которые воплотили синтез социалистических идей. Идеал социализма полностью осуществлён коммунистами в революции Октября 1917 года. Уже революция Февраля 1917 года была "национальным банкротством и мировым позором". ("Из глубины", стр. 289). Подведшая итог этой интеллигентской революции, революция крайних интеллигентских групп в Октябре 1917 года, использовав анархию и крушение государственности, воплотила социалистический идеал, который является полным уничтожением всей прежней национальной России, её государственности, её экономической культуры, её вековой национальной истории.

Лучше всего об этом сказал сам П.Б. Струве:

> "Торжество социализма или коммунизма оказалось в России разрушением государственности и экономической культуры, разгулом погромных страстей, в конце концов поставившим десятки миллионов населения перед угрозой голодной смерти.
>
> Таково реальное воплощение в жизни проповеди револю-

ционного социализма, опирающегося на идею классовой борьбы". ("Из глубины", стр. 297).

"Жизненное дело нашего времени и грядущих поколений должно быть творимо под знаменем и во имя нации... Нация — это духовное единство...

Все задачи нашего будущего сходятся и объединяются в одной: воспитание индивидов и масс в национальном духе... Чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святынями, творилась и поддерживалась Россия, как живая соборная личность и как духовная сила. Ими, их духом и мощью мы только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое России, и только оно, есть залог её будущего..." (там же, стр. 303-305).

И человека, сказавшего такие слова, хотят вогнать в рамки какого-то "правого либерала" и под авторитетом его имени оправдать интеллектуалистское отщепенство и даже идеалы социализма!

Альтернатива проста и выводы тоже просты. Истреблено около 55 миллионов человек. Или это сделал социализм, и ответственность соучастия несёт мировая левая интеллигенция, — или это сделала русская история, и мировая левая интеллигенция может попробовать ещё где-нибудь. Если сделал социализм, и от этого не отвертеться, — тогда либеральным интеллектуалам придётся отказаться от верований нескольких веков. Последнее трудно, невозможно. Значит, 55 миллионов человек истребило наследство старой русской истории. И это необходимо доказать, иначе у целого слоя современного западного общества почва уходит из-под ног. Но и доказать это тоже трудно, невозможно, не удаётся.

Тогда в теории приходит на помощь языческая мистика,

единственно способная связать концы с концами концепция переселения служилого класса через века, а место научной методологии заступают искажения фактов, надуманные схемы, подтасовки и просто явные фальсификации.

Мы позволим себе смелость высказать одну гипотезу. Описанные явления выражают на подсознательном уровне совершенно реальный процесс. Интеллектуальный взрыв языческой мистики в нынешней западной историографии России и СССР является реакцией на происходящее духовное возрождение России. Это есть один из симптомов мирового предчувствия, что русские мученики преодолеют напрочь интернационал-социализм и что Россия героев антикоммунистической борьбы и мучеников Архипелага — с презрением перешагнёт столетия антихристианского интеллигентского мирового язычества, — произойдёт, по предсказанию и призыву А.И. Солженицына в его Гарвардской речи, рывок человечества Вверх.

Но здесь уже начинается разговор на мистическом языке, выходящий за рамки данной статьи и за рамки нашей компетенции. С другой стороны, разговор в пределах нашей компетенции закончен, ибо пока ясно, что со многими западными исследователями России и СССР разговор на рациональном языке научной методологии — бесполезен и бесперспективен. И поэтому пора поставить точку.

Михаил Бернштам

ОПРАВДАНИЕ ЗЛА

(По поводу мемуаров академика Н. Дубинина)

I

Когда вышла книга Н. Дубинина "Вечное движение", многие читатели выразили недоумение, едва взглянув на титульный лист, на котором стояло название издательства. Ведь в "ПОЛИТИЗДАТЕ" издается только политическая литература, начиная с докладов Л. Брежнева и кончая "опытом пропагандистской работы". А тут огромным тиражом, причем солидных, явно не свойственных этому издательству размеров, издана книга биолога, генетика, орнитолога. Правда, известного, можно даже сказать — знаменитого. Но все же не по профилю...

Удивление, несмотря на всю его, казалось бы, логичность, все же неоправдано. Генетика, ее история развития в Советском Союзе давно уже перестала быть предметом только биологии. Усилиями Сталина и Лысенко она перешла в область политики, и в определенном смысле — большой политики. Вокруг генетики шли горячие споры отнюдь не узко научно-технического, а мировоззренческого характера и издание такой книги в "Политиздате" — дело естественное, нормальное.

И все же первое чувство настороженности отнюдь не обмануло тех, кто его испытал. Оно только усиливалось по мере чтения этой весьма примечательной книги, пока, наконец, не перешло в чувство досады и возмущения. Внешне ведя спокойный и якобы деловой разговор, Н. Дубинин из кожи лезет вон, чтобы одно оправдать и реабилитировать, другое заставить забыть, а третье, применяя иезуитские методы, по-своему интерпретировать. За текстом всегда — подтекст, зачастую в пользу как раз тех, кто душил любимое его детище — генетику, а заодно и ее создателей — многих сотен, многих тысяч ученых.

Но возможно ли это? — спросит, может быть, тот, кто знает, что сам Н. Дубинин не только был в числе этих несчастных, но, более того, основной удар-то был направлен против него. В этом все дело. На это и рассчитывали те, кто стоит за его спиной. В этом кроется маленький секрет, почему она и вышла в "Политиздате", двумя изданиями и таким тиражом.

Да, Дубинин не рядовой ученый среди замечательной плеяды генетиков. Но главное — он проявил огромное личное мужество в годы сталинско-лысенковских репрессий. Это влекло к нему сердца, его имя было окружено ореолом славы. В книге Н. Дубинина рассказывается в этом отношении интересный эпизод. Когда однажды, в дни печально знаменитой августовской (1948) дискуссии ВАСХНИЛ, он нарушил правила уличного движения, его остановил милиционер. Но, посмотрев, что это "тот самый" Дубинин, отпустил его, несмотря на то что из всех репродукторов, из всех газет, и особенно в "Правде", сыпались на него проклятия и обвинения. Подобным же образом поступил однажды солдат, выразивший ему свое восхищение. Я не знаю ни чувств солдата, ни, тем более, милиционера. Но, судя по всему, они если не мои ровесники, то определенно люди моего поколения, и я могу сказать, что такие чувства к Дубинину — явление правдоподобное, типичное, оно отражает поистине всенародное уважение. Поэтому не случайно, повторяю, выбрали именно Дубинина, когда понадобилось слово в защиту гонителей и в тонкой, иезуитской, незаметной на первый взгляд, клевете на гонимых. И Дубинин оправдал надежды своих хозяев, причем, надо полагать, довольно высокопоставленных. И этим опозорил свое имя. Да как может быть иначе, если он с внутренней заинтересованностью, не жалея живота своего защищает такого человека, как Митин. Если он как бы скорбит, печалится о жертвах сталинско-лысенковских репрессий, а сам иезуитски "тонко" бросает тень на деятельность таких мучеников, как Н. Вавилов, Н. Кольцов, А. Серебровский...

2

Я только что нелестно отозвался о Митине, но, уверен, тот не привлечет меня за клевету: он прекрасно знает, что против

него свидетельствуют факты, документы, живые люди, оплакивающие мертвых — его жертвы. Он, конечно, помнит, как в Институте философии Академии наук после разоблачения культа Сталина молодые философы, члены редколлегии стенной газеты, из номера в номер изображали характерную фигуру в пенсне, строчащую "очередной донос", и каждый без труда узнавал Митина. По его доносам, по спискам, им составленным, погибли сотни талантливых философов и только потому, что рядом с ними восходящая в то время "звезда" — Митин выглядел пигмеем. И вот в этом человеке Дубинин, как он сам пишет, почувствовал "локоть друга" во время одной из ответственнейших дискуссий по вопросам генетики, организованной в 1939 году философским журналом "Под знаменем марксизма", на которой председательствовал Митин. Конечно, дружба и символизирующий ее "локоть" — дело интимное, субъективное, каждый выбирает себе друзей по своему вкусу, и можно было бы пройти мимо такого странного содружества. Если бы не одно обстоятельство.

Митин во время дискуссии 1939 г. — не просто рядовой председатель рядового собрания, на котором заседали ученые и неученые коллеги и оппоненты. Дело в том, что уже 9 лет, как он был тогда правой рукой Сталина, едва ли не самым любимым его детищем на поприще идеологии. Митин пользовался неограниченным доверием Сталина, он — его ставленник в деле наметившегося на той дискуссии разгрома генетики — то, что Дубинин и назовет через много лет таким колоритным "локоть друга". Это один из кульминационных моментов его фальсификаций, ибо дело не в Митине, конечно, а в тех силах, которые за ним стояли. В этом один из центральных моментов иезуитства Дубинина: говоря несколькими строками выше, что "Митин и его коллеги сделали большое дело", ибо благодаря им рука Лысенко, поднятая на генетику, "повисла в воздухе", утверждая далее, что при оценке роли философского руководства 1939 г. мы должны отдать должное его (Митина) позиции, Дубинин хочет реабилитировать те "высшие" силы, которые за ним стояли. Через официального председателя собрания — Митина он защищает неофициально стоящего за ним Сталина, который, как свидетельствует сам Дубинин, в Лысенко души не

чаял. И поскольку Сталин с маниакальной последовательностью благоволил к Лысенко, то Митин принципиально, ни за что на свете не мог выступить даже с подобием критики и защищать генетиков — его злейших врагов, какими Лысенко их всю жизнь считал. Ложь дубининского "локтя" обнаруживается во всей ее наготе, поскольку Митин пользовался неограниченным доверием Сталина. Он — один из руководителей всей сложной сталинской пропагандистской машины, академик, член ЦК, депутат Верховного Совета, редактор официального журнала ЦК "Большевик", редактор газеты европейских коммунистов "За прочный мир" — да кем он в разное время только не был в иерархии сталинских приближенных. И все потому, что стал опытным царедворцем. Говорят, он по малейшему шевелению сталинских бровей угадывал его тайные желания — кто же поверит Дубинину, что Митин проводил на дискуссии какую-то свою особую линию. Не логичнее ли предположить, что все обстояло наоборот: дискуссия потому и проходила под эгидой философского журнала и его главы Митина, что у последнего был огромнейший опыт проведения подобных "мероприятий". И Сталин знал, что Митин не подведет, помня, как тот ложью, клеветой, угрозами, двусмысленностями за девять лет до этого разоружал своих прежних оппонентов — группу философа Деборина. Правда, при неограниченной поддержке ЦК и лично Сталина. Но кто мог сомневаться в неограниченной поддержке Сталина и на сей раз, в 1939 году, когда Сталин задумал было нанести тяжелый удар по генетике на радость своего любимца — Лысенко. Митин и на этот раз повел дело безукоризненно, конечно, с точки зрения обскурантов, мобилизованных для этой цели. Митин еще раз доказал, что они на него могут положиться, и даже Дубинин не сможет через 35 лет доказать обратное, как бы он ни старался. Ибо против него говорят факты — самая упрямая в мире вещь: перед ними рано или поздно (при жизни или после смерти — безразлично) не может устоять ни один диктатор. Тем более Дубинин.

3

Перейдем же к фактам. Их много. Но все же придется

чистить авгиевы конюшни: без этого не будет ясно, что речь у Дубинина идет не об отдельных случайных ошибках, а о задуманной фальсификации, иезуитскими методами осуществленной.

Как полагается председателю, Митин выступил с заключительным словом, которого, как пишет Дубинин, они ждали "с большим нетерпением". Что же вдохновило его в этом заключительном слове на вечную благодарность к председателю? Отвечает он на это буквально детским лепетом. Оказывается, Лысенко имел глупость заявить, что он без единого эксперимента отверг законы Менделя, а Митин, видите ли, сказал, что как представители философии диалектического материализма "мы" не можем и не должны пытаться давать ответы на такие вопросы, которые должны решаться практикой, экспериментом. Так вот эта пустая, ничего на значащая, формальная фраза буквально привела Дубинина в изумление: "мы со вздохом облегчения услыхали" эти слова, с серьезным видом пишет ученый с мировым именем. И даже если бы они были брошены в лицо Лысенко — и тогда не было бы причин для восторга — за их незначительностью. Но оказывается, сказаны они были не по адресу Лысенко, а просто как самый общий принцип: мол, эксперимент, практика — критерий истины. Дубинин же берет слова Лысенко, сопоставляет их со словами Митина и хочет создать у читателя впечатление, что Лысенко был этим чуть ли не сражен, а он, Дубинин, "вздохнул с облегчением". Жульничество, настоящее жульничество.

Дальше он уже сознательно искажает истину, утверждая, что "Митин нанес серьезный удар по основным философским претензиям Т. Д. Лысенко". Кто знаком со стилем тех лет, знает: удар по "основным философским концепциям" наносился тогда, когда ученого отлучали от этих самых "основ", что означало если не немедленное, то постепенное уничтожение. Почему же Лысенко, якобы получивший серьезный удар, не только не был уничтожен, но, наоборот, значительно укрепил свои позиции? — позволительно спросить Н. Дубинина. Да потому, что никакого удара по нему не последовало. Дубинин просто, как всегда, смещает акценты.

Дело в том, что удар по философским претензиям действительно был нанесен, но не по Лысенко, а по его философскому консультанту И. Презенту. Лысенко в самом деле обиделся и Дубинин с готовностью приводит реплику, брошенную им: "Для того чтобы бить работы, надо бить Презента?" И, верный своей манере цитировать, вырывать из контекста цитаты, Дубинин заявляет, что этой репликой Лысенко признал, что критика Митина была направлена своим острием против его теоретических, философских представлений.

Ответ Митина он, однако, не приводит. Уже это одно доказывает, насколько непрочны его позиции. Ибо ответ этот гласил: "Вы не можете сказать, что мы сколько-нибудь недооцениваем ваши работы. Мы говорим, тов. Лысенко, не о ваших работах, их высокую оценку как в смысле практическом, так и в смысле теоретическом вы слышали..." и дальше он повторяет, что критиковались философские концепции одного лишь Презента.

Еще большего осуждения заслуживает Дубинин за его попытку изобразить Митина эдаким защитником кадров генетиков. Будь это правда — Дубинину удалось бы найти светлое пятнышко на черном митинском фоне, причем довольно принципиального значения. Но все дело в том, правда ли это?

Дубинин говорит, что философское руководство во главе с Митиным сыграло большую роль, его позиция во многом способствовала сохранению кадров генетиков. Он приводит следующее место из выступления Митина: "...мы должны одернуть администраторов от науки, которые мешают развитию нашей науки". Прочитаешь такие слова и действительно начнешь верить, что Митин это тот самый человек, которого генетики должны боготворить. Вот одно только настораживает: почему Дубинин приводит не все слова Митина, почему он начинает цитировать где-то с середины, одним словом, почему столько многоточий?

Потому, что много искажений. Опуская одно, не договаривая другое, Дубинин старается создать у читателя соответствующее впечатление, наивно веря при этом в многоточия, как иногда верят в то, что не осталось улик. И если улики юристы порою действительно добывают с большим трудом, то

нам достаточно только полностью привести препарированные Дубининым места, чтобы увидеть, насколько напрасны были его надежды на безнаказанность. Так мы и сделаем.

Как ни покажется это неправдоподобным, но вся часть выступления Митина, касающаяся кадров, направлена, вопреки Дубинину, против генетиков и в защиту лысенковцев. Этому посвящен 4-й раздел выступления, в котором рассматривается вопрос о взаимоотношениях между работниками в области генетики и селекции.

С чего начинает его Митин? С недвумысленного указания на то, что "мы имеем со стороны формальных генетиков недопустимое барство по отношению к новым кадрам, пришедшим со своими достижениями в генетическую науку". Для баланса — а Митин большой мастер этого жанра — он добавляет, что "с другой стороны... со стороны отдельных, некоторых (я подчеркиваю "отдельных", некоторых) представителей другого направления мы имеем проявление своего рода махаевских настроений". Как поднимается у Дубинина рука писать, что Митин ратовал за кадры генетиков, когда всеми фибрами души он на них обрушивается, обвиняя в том, что с их стороны проявляется недопустимое барство к новым, лысенковским кадрам, подчеркивая при этом и в тексте, и в скобках, что со стороны лысенковцев махаевское, то есть пренебрежительное отношение к кадрам своих оппонентов встречается только в "некоторых", "отдельных" случаях! Вот это деление на "отдельные" отрицательные случаи со стороны лысенковцев и на сплошное, тотальное, так сказать, обвинение генетиков проходит красной нитью по всему выступлению. "Я допускаю, что со стороны отдельных, так сказать, администраторов от науки в тех или других отдельных учреждениях были перегибы: я имею в виду руководителей кафедр, вузов и т. д..." Это о лысенковцах. "Должно быть заклеймено и такое положение, когда представители генетики, находясь во главе ли учреждения, во главе ли тех или иных кафедр и т. д. проявляют неправильное, администраторское отношение к представителям мичуринско-лысенковского направления". Металл в голосе появляется только, когда Митин упоминает генетиков... Как же можно все так "повернуть", как сделал Дубинин? Уму непостижимо!

Постижимо только одно: честный ученый сделать так не сможет ни при каких обстоятельствах.

Тем более, что он участник этих событий и поэтому должен знать, что и история их развития тоже свидетельствует в пользу только что сделанного вывода. К 1939 году сложились опытные кадры биологов, в частности генетиков, которые по праву действительно занимали почти все ключевые места почти во всех научных и учебных заведениях. Но вот появился в начале 30-х годов Лысенко. Росло число его приверженцев. И ученые, стоявшие во главе, как Митин говорит, учреждений и кафедр, сразу увидели в них тех, кем они были на самом деле: отрицающими гены и физико-химические методы их изучения, отрицающими теорию вероятностей, то есть не владеющими, абсолютно не владеющими необходимыми научными методами анализа. Более того, они активно, принципиально их отвергали. Их на работу и не брали в эти самые учреждения. Но, как правило, не из узко-групповых соображений, а потому, что это были неучи. Вот почему Лысенко и его окружение подняли такой вой. А поддержал Митин их и только их, ибо генетики не нуждались в его помощи: к тому времени они и без него прочно сидели на своих местах, завоевав их не криками и интригами, а изнурительным многолетним трудом ученых, причем многие из них были ученые с мировым именем. А лысенковцы как раз рвались к власти, к "местам', а так как честным трудом этого добиться им было невозможно, то они и обратились за помощью к митинским угрозам. Помощь была этим кадрам щедро оказана. И задним числом Дубинину не удастся доказать обратное.

Но могут сказать: пусть примеры, приведенные Дубининым, мягко говоря, не соответствуют его выводам, однако общая оценка событий была дана тогда философским руководством объективно, она соответствовала тому, как воспринял ее Дубинин, посчитав это руководство другом генетиков, почему он и почувствовал его "локоть". Давайте и с этой, общей, стороны рассмотрим вопрос.

Уже обзор совещания, появившийся в "Под знаменем марксизма", ясно указывал, на чьей стороне симпатии редколлегии, возглавляемой Митиным. Совещание проходило в

Москве с 7 по 14 октября 1939 г. В 10-м номере журнала даны только информационное сообщение редакции и выступление Митина. В 11-м же номере дан общий обзор совещания, в котором каждое слово, каждая буква свидетельствуют, что все симпатии были на стороне Лысенко и его окружения. Это видно уже из первого абзаца обзора, в котором указывается, что на дискуссии резкой критике подвергли "метафизические концепции так называемой классической, или формальной, генетики", а с другой стороны, под сомнение были поставлены "достижения сторонников мичуринского направления в генетике, возглавляемого акад. Лысенко". Таков тон, который был задан. Прямо скажем: он ничего хорошего не означал тогда для генетиков. А сейчас — для позиции, которую занимает Дубинин.

В каждом слове "Обзора" чувствуется, чье задание выполняется. Например, дается отчет о выступлении Н. И. Вавилова. Отмечается, что не было в нем "решительной самокритики" и что "речь его была проникнута пиэтетом перед зарубежной наукой и нескрываемым высокомерием по адресу отечественной науки". Запомним это место, дорогой читатель, — мы к нему скоро вернемся.

Но кульминацией в этой цепи событий следует, конечно, считать наступление П. Юдина на одного из виднейших генетиков — А. С. Серебровского. Чтобы понять весь смысл этого диалога, надо иметь в виду, что Юдин в то время был заведующим отделом ЦК партии по пропаганде. Бесцеремонно прерывая выступление почтеннейшего ученого, Юдин спрашивает: "... Кто, с вашей точки зрения, является носителем идеализма, проявлением идеализма в области генетики в СССР?" Серебровский, как сказано в отчете редакции, затрудняется в ответе. Но Юдин не отпускает свою жертву, задавая во второй и в третий раз этот динамитообразный вопрос. А редакция резюмирует: "Тов. Серебровскому чрезвычайно трудно было найти идеалиста в современной генетике, хотя для этого ему требовалось сделать совсем незначительное усилие и посмотреть... в зеркало".

Митин в своем заключительном слове не прошел мимо "находки" своего друга Юдина, поддержал его и зло поиздевался над почтеннейшим ученым. Обращаясь к нему, он выговаривал

как школьнику за то, что на вопрос Юдина "вы не могли ничего ответить. Вы сказали, что у нас нет идеалистов. А ведь одной из черт идеализма... является отрыв теории от практики, который столь ярко проявляется в вашей деятельности". Представить себе состояние этого человека нетрудно: ведь это был 1939 год и никто еще не знал, кончилась ли волна репрессий 1937-1938 годов, а "идеализм" — далеко не академическое, не безобидное обвинение...

Такова была общая обстановка на дискуссии, которую Дубинин пытается теперь изобразить как спасительную для генетики, а философское руководство во главе с Митиным и Юдиным как спасителей. Но правда на свете одна и честь у человека — тоже одна. А правда в том, что над генетикой нависла смертельная опасность, и Дубинину этого не затушевать.

4

Это четко видно из заключительного слова Митина — итогового документа дискуссии. Уже в первые минуты было брошено: общественный смысл борьбы в вопросах генетики состоит в том, что "идет борьба представителей передовой, революционной, новаторской в лучшем смысле этого слова науки против консервативных, догматических, устаревших концепций, против консервативного направления в науке, которое не желает считаться с достижениями практики, за которое цепляются и с которым вместе идут самые реакционные элементы в науке". Каждое слово — огонь, каждое слово — стреляет, клеймит, уничтожает. Кого же? Уж не Лысенко ли считается здесь представителем учения, "за которое цепляются и с которым вместе идут самые реакционные элементы?" Даже Дубинин не станет этого утверждать. В столь мрачных красках, убийственных выражениях нарисован портрет генетиков. Так открыто агрессивно до тех пор не говорили. Возьмите первую дискуссию по генетике 1936 года. Она была довольно сдержанной, без таких откровенно подчеркнутых убийственных эпитетов. Да, эта, вторая дискуссия 1939 г. была задумана для разгрома генетики, и приведенная "общественно-политическая"

оценка Митиным предвещала огромную опасность. И так как Сталин никогда не отступал от своих злодейских замыслов, то есть все основания полагать: что-то очень важное помешало ему осуществить свой замысел до конца в этом случае. Мы постараемся ответить на вопрос, что именно, но пока обратим внимание на следующее.

Дубинин рассказывает, как, слушая на дискуссии одного из ораторов, заведующего отделом генетики харьковского института экспериментальной зоологии И. М. Полякова, который "уходил в дебри слов и оговорок", он, Дубинин, физически ощущал громаднейшую опасность, которая подстерегает генетику. Когда кончился перерыв, нервы не выдержали "и отчаяние потрясло меня до глубины моего существа". Такие слова не могут не вызвать уважения. Но если только "дебри слов и оговорок" так потрясли легко ранимую душу ученого, то неясно, почему же в десятки раз более опасное для генетики поведение представителей ЦК — Юдина и Митина — вызвало не подобного рода ощущения, а, наоборот, чуть ли не чувство благодарности? Перечитывая их речи сейчас, любой читатель физически ощущает какие-то злые, черные тучи, поистине зловещую опасность, которая уже ползла, подкрадывалась к генетике — любой читатель, но не Дубинин. Странно, очень странно, если только не предположить самое верное, естественное объяснение: сознательное искажение истины.

Только один раз прорвало академика, когда он, приводя некоторые высказывания Митина, направленные против гена как основы генетики, заметил: "Эти заявления будили тревогу о будущем генетики". Но замечание это буквально тонет в многочисленных оговорках и вывертах, о которых мы уже говорили. Да что стоит такое сетование по сравнению с тем, что тремя строками ниже Дубинин пишет: позиция философского руководства явилась преградой для монополизма Лысенко. "Наша борьба за генетику получила в этой позиции М. Б. Митина и других философов серьезнейшую реальную поддержку". Не верится, что можно такое написать. Однако это написано.

Нет, философские руководители ничего не сделали для спасения генетики. Наоборот, каждое их слово, каждое действие

указывало на большую опасность, которая тогда нависла над генетикой. Скажем прямо: видна связь между резкой критикой Н. Вавилова на дискуссии и его арестом буквально через несколько месяцев. Такие совпадения в то время случайными не бывали: решено было обезглавить генетику, и дискуссия 1939 года подготовила почву.

Что же дает основание так заключить? Характер критики Вавилова. Критиковались не научные основы его учения — все время искали и находили политический аспект для обвинений. Мы это видели уже в общем обзоре дискуссии, где сказано, что его речь была проникнута преклонением перед зарубежной наукой и нескрываемым высокомерием по адресу отечественной науки — обвинение, которое через несколько лет получит название "космополитизм" и станет достаточным, чтобы людей снимали с работы, сажали в тюрьму. Может быть, к Вавилову это обвинение впервые и было применено. Но что устроители придавали первостепенное значение политическим обвинениям Вавилова, а не научной против него аргументации — свидетельствует выступление того же Митина.

Он все время внушает: Вавилов забыл, что в генетике идет борьба прогрессивных и реакционных начал. "Неужели существует одна сплошная линия в развитии генетики и в этой науке нет противоречий, нет борьбы? — спрашивает Митин. — Неужели в генетике нет борьбы дарвинизма с антидарвинизмом, неужели в генетике нет материалистических и идеалистических тенденций, неужели нет борьбы метафизики и диалектики и т. д. Это все тяжелые политические обвинения — утеря классового чутья, партийного, боевого отношения к философским противникам и т. п. И рядом все то же обвинение, что для выступления Вавилова характерно преклонение перед "толстыми сборниками" буржуазных ученых, "весьма солидных, напечатанных к тому же на хорошей американской бумаге". "Простите, Н. И., за откровенность, — обращается Митин к Вавилову, — но когда мы слушали вас, создавалось такое впечатление: не желаете вы теоретически ссориться со многими из этих, так называемых, мировых авторитетов, с которыми, может быть, надо подраться, поссориться".

А как он издевается над Н. Вавиловым за его предисловие к

вышедшей в 1935 году книге Менделя "Опыты над растительными гибридами"! Даже за то, что Вавилов цитирует одного автора, указывающего на генетику как на науку, дающую возможность предвидеть будущее человека — то, что позже назовут "кодом", а в то время ученый называл "гороскопом". Митин зачитал это место, придрался к нему и, обращаясь к генетикам, сказал: "Ваше глубочайшее заблуждение состоит в том, что вы преподносите в наших вузах такую гороскопическую "науку". Совершенно не имея представления о значении теории вероятностей в деле познания биологических процессов, Митин обрушивается на то же предисловие Вавилова за "похвалу гороскопу" и теории вероятностей: 'что это такое: два туза, две двойки, две четверки и т. д. (примеры из теории вероятностей, И. Я.) — как не настоящее гадание, гороскоп! Ничего общего с наукой тут нет! Это безобразие, когда подобную дребедень пытаются выдавать за научную популяризацию или же за научные откровения"! И эти невежественные слова были брошены Вавилову — человеку выдающемуся, признанному во всем мире авторитету. Не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять: не посмели бы так разговаривать с таким человеком, если бы не задумано было то, что через четыре месяца, в начале 1940 г. и осуществили — арест, а затем гибель Н. И. Вавилова.

Судьба Вавилова — предвестник судьбы генетики. Дискуссия, которая была в 1948 году и привела к разгрому генетики, должна была, судя по всему, состояться в 1940 или 1941 году — после ареста Вавилова. И Сталин никогда бы не отступил от однажды задуманного. Но достаточно посмотреть на только что поставленные даты, чтобы понять, почему зверский замысел был отложен на целых 6 или 7 лет: помешала война.

Сам Дубинин говорил о большой опасности, нависшей в 1939 году над генетикой, заявив при этом, что философское руководство — представители ЦК, отвели руку Лысенко, замахнувшегося на нее. Мы видели, что это ложь — они бы это не сделали, если бы даже могли. Спасла генетику историческая случайность — угроза, а затем реальная Вторая мировая война.

5

Но едва ли не наибольшего порицания заслуживает Н. Дубинин за его попытки бросить тень на деятельность таких мучеников — жертв сталинского террора, как Н. Вавилов, А. Серебровский, Кольцов. Верный своей манере, он пытается сделать это как можно "тоньше". Он с похвалой отзывается о них как о своих учителях. Говорит о них как о выдающихся ученых. Одним словом, он прекрасно знает, что говорить нынче о Вавилове языком "лысенковских" времен — неприлично. И он относится к ним вполне уважительно. Но, вместе с тем, тонко, в подтексте — впрочем, вполне прозрачно — вплетена мысль: эти ученые сами во многом повинны, что генетику постигла такая участь. В эту точку он все время бьет. Это стало его лейтмотивом. Но это фальшивый мотив.

Начинает он с того, что у генетики была слабая отдача народному хозяйству, слабая связь с практикой. Он находит проникновенные слова, чтобы обелить при этом Сталина: "Сам Сталин, — пишет Дубинин, — хотя он лично поддерживал Т. Д. Лысенко, вместе с тем был увлечен потоком общественного внимания к попыткам прямой связи науки и практики. В своей деятельности Т. Д. Лысенко использовал благородные чувства народного доверия к науке". Сталин просто поддался обаянию благородных народных чувств, он хотел как лучше...

С другой стороны, на фоне "общественного внимания к попыткам прямой связи науки и практики" генетики и их "возня" с мухами-дрозофиллами явно проигрывают. Они не давали немедленных результатов по увеличению урожайности, не обещали немедленного увеличения надоя молока. И хотя, надо полагать, сам Дубинин далек от такого обывательского понимания проблемы, вместе с тем он все время как бы говорит: были, были основания у руководителей партии и правительства считать генетику бесплодной...

И ни одного гневного слова, ни одного слова осуждения. А вместе с тем есть что сказать в адрес душителей генетики. Хотя бы то, что такой утилитарный, близорукий подход не достоин "гения". Именно на примере генетики видно, что вся стратегическая линия (сиюминутные результаты) была

ошибочной, попросту глупой. Она принесла огромный вред, отбросила страну на десятки лет назад в научной области, которая выдвинулась вперед и как раз приносит огромные практические результаты. За это диктаторское вмешательство в науку, в область, в которой он ничего не смыслил, за бандитски учиненный разгром — вечный ему позор. А Дубинин говорит о его каком-то увлечении "потоком общественного внимания"...

Но и это не все: документально доказано, что Лысенко ничего, буквально ничего не дал народному хозяйству, его крики о "дополнительных миллионах пудах хлеба" — обман. В дни августовской сессии 1948 года Ю. Жданов, зять Сталина и заведующий отделом науки ЦК, оправдываясь, почему он выступал против Лысенко, вместе с тем писал в своем письме в "Правду", что последний не имеет никаких результатов. Следовательно, не в "практических результатах" дело — налицо субъективизм и волюнтаризм Сталина или, попросту говоря, голый каприз диктатора, оправдывать которого могут только недостойные люди.

Будучи под впечатлением обвинений в недостаточной связи с практикой, Н. Вавилов и А. Серебровский как-то взяли на себя обязательства, нереальность которых была очевидна. Дубинин не преминул использовать этот факт, да под таким углом зрения, что это не могло не бросить тень на самую генетику. Провал обещаний Н. И. Вавиловым и А. С. Серебровским серьезно подорвали веру в силу генетики — пишет он. А ведь из того, что известно о Н. Вавилове и А. Серебровском можно и без Дубинина понять, что факт этот не дискредитирует ни их, ни, тем более, генетику. Если Вавилов и Серебровский взвалили на свои плечи непосильную ношу обязательств, то только потому, что были поставлены в такие условия, когда это была единственная возможность противостоять нечеловеческому нажиму и спасти свое детище — генетику. Здесь не было и тени неправды или лицемерия — тому порука благородный и верный характер этих ученых. Но что они еще могли противопоставить хвастливым уверениям Лысенко? Только готовность работать день и ночь. А если и это не помогло, то вину несут те, кто вынуждали ученых так поступать. Дубинин же подает это в отрицательном для Вавилова и

Серебровского свете.

Однако основной удар был направлен против Н. Кольцова. По мнению Дубинина, это самая подходящая иллюстрация того, что генетики дискредитировали свою науку, они, а не их гонители во многом виноваты. Он подробно излагает те места из книги Д. Л. Голикова "Крах вражеского подполья", в которых описывается смертный приговор, вынесенный Кольцову, и его последующее помилование с явным подтекстом: ну как осуждать тех, кто "после этого" не доверял ученому, а заодно и науке, которую он представлял. А ведь из того, что теперь известно как по существу состряпанного против Кольцова "дела", так и о методах, которыми вообще действовали ЧК-ГПУ, Дубинин мог бы иначе изложить случившееся и немного посомневаться в оправданности подобного рода приговоров. Он же, наоборот, излагает версию ЧК так, что сразу видны его намерения. "Много лет мое чувство уважения к Н. К. Кольцову было чистым и глубоким, — пишет он. — Однако наступили дни, которые бросили иной свет на эту, казалось бы, великолепную жизнь".

ЧК-ОГПУ открыли, оказывается, ему глаза на учителя, пролили "новый" свет на его деятельность. И далее идет уже совсем нечто иезуитское: только теперь, после опубликования этих материалов, говорит Дубинин, стала ясной причина той тени, которая сопутствовала деятельности Н. Кольцова. Окружающие люди, не зная этой стороны его жизни, оказались "не вооруженными против ее теневых сторон". Здесь все неправда: "окружающие люди" знали тогда и о приговоре и о "помиловании", как знают сейчас многие и то, что все было выдумано ЧК, как и миллионы других подобного рода "дел". Дубинин же использует версию ЧК, чтобы заявить: "Строя новую жизнь России, творцы этой жизни могли простить эту ошибку, но они не имели права ее забыть". Более яркого саморазоблачения придумать трудно. Ибо в пору Дубинина спросить: ну а "тень", сопутствовавшая Серебровскому — ее чем объяснить? Ни "заговора", ни смертного приговора за его плечами не было. Чем же объяснить, что Серебровского не менее Кольцова третировали, преследовали, а жизнь Вавилова вообще трагически оборвалась?

Еще на одну сторону дела хочется обратить внимание.

Дубинин бросает тень не только на Кольцова, но и на генетику, одним из создателей которой он был. А вместе с тем Дубинин, по крайней мере должен был понять, что к самой генетике, к науке о наследственности это ровным счетом никакого отношения не имеет. Весь же контекст посвященных Кольцову страниц говорит об одном: ученый сам во многом дискредитировал генетику и не удивительно, что ее постигла такая тяжелая участь. Это ли не смещение угла зрения, это ли не попытка направить читателя по ложному следу? Если бы предъявленные Кольцову обвинения ЧК были даже истинными, если б его не только не помиловали, но даже привели в исполнение вынесенный ему тяжелый и, конечно, несправедливый приговор — генетика от этого не могла стать менее истинной, как не стала ложной Космогоническая теория Д. Бруно или теория кровообращения Гарвея от того, что их создатели погибли на кострах инквизиции.

Дубинин делает отчаянные попытки выискать некоторые незрелые, с точки зрения современной генетики, суждения Кольцова, чтобы у читателя создать впечатление: не такие уж варвары те, кого он обеляет — ведь классическую генетику хотели "взять целиком", вместе с ее ошибками, а этого они не могли допустить. Однако Дубинин не может не знать, что развитие науки идет не только через истину, но и через заблуждения, ибо на каждом этапе развития науки возможности ученого ограничены. Но зерно истины — если это действительно зерно — остается. Только обскуранты могут, например, на передний план выдвинуть тезис Демокрита о неделимости атома с целью дискредитировать основную идею — что мир вообще состоит из атомов. Пусть аналогии условны, но можно сказать: с высоты 2-й половины 20-го века Дубинин может найти много незрелых мыслей, высказанных учеными, включая Кольцова, в 20-х годах, но не эти ошибки определяют суть их научного подвига. Именно потому, что у них не было современных методов анализа, их учение о гене отмечено печатью гениальности. И если они, а не их оппоненты-лысенковцы в основном и главном оказались правы, то никакие частные ошибки не в состоянии бросить тень ни на них, ни, тем более, на науку, которую они создавали. Дубинин пытается им приписать

пороки, от которых они были совершенно свободны. Такого человека можно простить, если он делает это из незнания сложности развития науки и тех трудностей, которые встречаются на пути каждого поколения ученых. Но что сказать о человеке, который поступает так, преследуя, как мы каждый раз убеждаемся, определенную, причем далеко не благовидную, цель?

Тут же, попутно, Дубинин бросает Кольцову еще одно обвинение — в механицизме, впрочем, не уточняя, в чем это "механицизм" состоит. Люди, мало-мальски знакомые с историей советской философии знают, насколько распространен был этот ярлык. Он фигурировал наравне с идеализмом каждый раз, когда речь шла об обвинении в ереси. Несмотря, однако, на столь широкое распространение этого понятия, его история в подробностях ждет еще своего освещения. Да что "в подробностях" — сущность его далеко еще не раскрыта. А вместе с тем, ни один жупел не принес столько вреда, как этот. Почему?

Дело в том, что по мере развития науки вставал вопрос о взаимосвязи различных ее областей: физики, химии, биологии, математики и т. д. В этой связи были допущены упрощения, приведшие к крайне отрицательным для науки результатам. Лысенко, например, стал утверждать, что применение физико-химических методов анализа к биологическим явлениям — это механизм, попытка свести высшие формы развития мира — биологические — к низшим — неорганическим его формам.

Вот этот жупел и вытащил Дубинин против Кольцова. Кольцов, не в пример Лысенко, действительно глубоко понимал, что биологической науке нужны самые современные, причем точные, методы анализа. В своей статье "Биология", опубликованной в 6-м томе Большой Советской Энциклопедии (1-е издание), он, избегая, правда, термина "механистический", употребляет вместо него слово "машинистический". Это не только одно и то же, но еще больше подчеркивает позицию автора, считавшего, что "все жизненные явления могут быть сведены к причинам того же порядка, как те, которые действуют в неживой природе", и что даже в наиболее сложных областях биологии и психологии "расширяется применение каузального,

машинистического объяснения". Кольцов также верил, что, как он писал в той же статье, физиологию можно связать с "химией, физикой и физической химией, а эволюционное учение — с цитологией и через ее посредство — с химией". За это и назвали в 1935 году воззрения Кольцова механистическими на страницах философского журнала, возглавляемого Митиным. Но повторять это сейчас (как делает Дубинин), когда доказана абсолютная истинность слов Кольцова, — не слишком ли? Увлекаясь доказательствами, он и не заметил, что заимствует их из самых сомнительных источников. Ибо безграмотных обвинений в "механицизме" за призывы превратить биологию в точную науку на основе познания механизма действия ее процессов избегают сейчас многие. Многие, только не Дубинин. Считать себя главой генетической науки и одновременно бояться проделанной работы — кто же после этого не усомнится в его добросовестности?

Н. Дубинин поверил в довольно распространенное мнение, что любое зло можно оправдать, надо только подыскать подходящие аргументы. Но это только иллюзия. Софизмы, как и преступления, рано или поздно разоблачаются.

Об этом забыл Дубинин. Пусть же содеянное им ляжет тяжелым камнем на его совесть.

Профессор И. Яхот

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОБЛОМОВКА

Вот мы целый век сокрушались о себе, что народ — компилятивный, подражательный, — заучившийся иностранцами до последнего, — и ничего решительно не умеющий произвести оригинального из себя самого. И никто, кажется, не сокрушался более об отсутствии самобытности у русского народа, как я сам. Пришла революция, и я подумал: "Ну, вот, наконец, пришла пора самому делать, творить. Теперь русского народа никто не удерживает. Слезай с полатей, Илья Муромец, и шагай по сту верст в день".

И все три месяца, как революция, я тороплюсь и тороплюсь, даже против своего обыкновения. Пишу и письма, утешаю других, стараюсь и себя утешить. Звоню тоже по телефону. Но ответы мне — хуже отчаяния. О Нестерове один литературный друг написал мне, что он было окончил огромное новое полотно с крестным ходом, в средоточии которого — царь и патриарх, дальше — народ, городовые, березки, — и вот что же теперь с такою темою делать, кому она нужна, кто на такую картину пойдет смотреть. Сам друг мой, сперва было очень о революции утешавшийся, и поставивший в заголовке восторженного письма: "3-й день Русской Республики", со времен приезда в Петроград Ленина — весь погас и предрекает только черное. "Потому что ничего не делается и всё как парализовано". По телефону тоже звонят, что "ничего не делается и последняя уже надежда на Керенского". Керенского, как известно, уже подозревают в

Эта неопубликованная статья В. Розанова получена нами от друзей из Финляндии. В. Розанов предполагал включить ее в книгу "Черный огонь". РЕД.

диктаторских намерениях, а брошюрки на Невском зовут его "сыном русской революции". Он очень красив. Керенский много ездит и говорит, но не стреляет; и в положении "не стрелятеля" не напоминает ни Наполеона, ни диктатора.

Как это сказал когда-то митрополит Филипп, взглянув в Успенском Соборе на Иоанна Грозного и на стоящих вокруг него опричников, в известном наряде: кафтан, бердыш, метла и собачья голова у пояса. Митрополит остановился перед царем и изрек: "В сем одеянии странном не узнаю Царя Православного и не узнаю русских людей". Нельзя не обратить внимания, что все мы, после начальных дней революции как будто не узнаем лица ее, не узнаем ее естественного продолжения, не узнаем каких-то странных и почти нетерпеливых собственных ожиданий, и именно мы думаем: "Отчего она не имеет грозного лица, вот как у былого Грозного Царя и у его опричников". Мы не видим "метлы" и "собачьей головы" и поражены удивлением, даже смущением. Даже — почти недовольством. Как будто мы думаем, со страхом, но и с затаенным восхищением: "революция должна кусать и рвать". "Революция должна наказывать". И мы почти желаем увеличения беспорядков, чтобы наконец революция и революционное правительство кого-нибудь наказало и через то проявило лицо свое.

Чтобы всё было по-обыкновенному, по-революционному. "А то у нас — никак у других", и это оскорбляет в нас дух европеизма и образованности.

Между тем нельзя не сказать, что революционные преступления у нас как-то слабы. Самый отвратительный поступок было дебоширство солдат где-то в Самарской губернии, на железной дороге, где эти солдаты избили невинного начальника станции, и избили так, что он умер. Их не наказали, не осудили и не засудили. По крайней мере, об этом не писали. И еще избили также отвратительно, по наговору какой-то мещанки, священника, но, к счастью, не убили. Это писали откуда-то издалека, с Волги. Затем "Кирсановская республика", "Шлиссельбуржская республика" и "отложившийся от России Кронштадт", с его безобразной бессудностью над офицерами и неугодными матросами. Но если мы припомним около этого буржуазную Вандею, если припомним "своеобразие" опричнины, припомним

"наяды", т.е. революционные баржи, куда засаживали невинно обвиненных и, вывозя на середину Роны, — топили всех и массою, то сравнивая с этими эксцессами и злобою свои русские дела, творящиеся собственно при полном безначалии, мы будем поражены кротостью, мирностью и до известной степени идилличностью русских событий. Мне хочется вообще с этим разобраться, об этом объясниться, этому привести аналогию и литературные примеры, а также исторические и этнографические параллели и прецеденты. Я шел вчера по улице: на углу Садовой и Невского — моментально митинг. И вот две барыни накидываются на рабочих и солдат, что они "все болтают, а ничего не работают". Еще раз, в трамвае, одна дама резко сказала рядом сидевшим солдатам: "вы губите Россию безобразиями и неповиновением". Солдаты молчали, ничего не возразили, очевидно признавая правоту или долю основательности слов. Вообще я не замечаю нисколько подавленности или робости в отношении рабочих и солдат. Это было только в первые испуганные дни революции, — но затем от обывателя пошла критика, и она говорится прямо в лицо, и это, конечно, хорошо и нужно, без этого нет правды, и без этого осталась бы величайшая опасность, как во всякой социальной лжи. Но разберемся. Для социальной жизни, как и для личной жизни существуют те же заповеди, из которых главная:

Не убий.

Не прелюбы сотвори.

Не укради.

Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.

Ну, и так далее. Вечное десятословие. И мы по нему измеряем качество не только личной жизни, но и жизни общественной, жизни наконец исторической. Бывают отвратительные эпохи. Какова была эпоха римской империи, — Тацита и Тиверия? Да и наша времен ли Грозного, времен ли Бирона. Ну, и наконец, грозные эпохи французской революции, жакерии во Франции, пугачевщины и Степана Разина на Волге. Вспомним слова Пушкина о "русском бессмысленном и жестоком бунте", которые действительно оправдываются веками былыми. И вот нельзя же не констатировать, что по части этих всех "заповедей" скорее дело обстоит неблагополучно в теории, в тех раздающих-

ся лозунгах, которые созданы десятилетиями нашей неосторожной литературы, нежели в действительности. Вообще, тут для разбора чрезвычайно мало материала. Революция снизошла на землю как-то вдруг, — чуть удерживаюсь сказать привычный церковный термин "по благодати". "Вчера ничего не было — сегодня все случилось". Вчера не плакали, вчера все звали революцию. Звали, требовали. И когда она пришла и преуспела, вдруг многие заплакали, потому что она не совсем идет так, как ожидалось. По мне кажется было безумие слов скорее за 50 лет проповеди революции, нежели при теперешнем ее осуществлении. Напомню чигиринское дело в 70-х годах прошлого века. В местечке около Чигирина крестьяне восстали против помещиков, действуя под влиянием подложных революционных манифестов, изданных будто бы от имени царя и предлагавших крестьянам отбирать от помещиков земли, так как-же — де помещики противятся воле царя, который хочет крестьянам отдать все земли, да дворяне не допускают его до этого. Крестьяне восстали, затем были усмирены и претерпели. Но сколько же было революционной радости об этом волнении крестьян, попытке крестьян. Сколько сожалений, что дело не удалось, что пожар не охватил всю Россию. И вот, читаешь об этом в "Былом" эпохи Бурцева и Богучарского. Слова сказаны, произнесены. "Слово — не воробей, вылетит не поймаешь". О чем же теперь, когда творится неизмеримо меньшее, творится как эксцесс и случай, никем не одобряемый, творится как исключение, а не как правило — плачутся и сожалеют главы правительства, социалисты? Почему теперь этого не хотят Церетели, Пешехонов, "министры земледелия" и прочее, когда раньше хотели? "Слово — не воробей, вылетит не поймаешь". А "слово"-то уже "выпущено". Как винить толпу, которая слушает. И естественно громадная масса толпы слушает заключительные слова теории, а вовсе не сложную ткань теории, — как и в богословии христианин знает заключительные слова Евангелия о любви к ближнему и Богу, а не может разобраться и не умеет разобраться во всем богословии.

Мысль моя заключается в той очевидности, что революция наша идет не только не низменнее, но она идет гораздо чище и лучше, нежели шла целых шестьдесят лет теория революции. Вот

это-то и не принимается во внимание. "Воробей слова" был гораздо гнилостнее, нежели "пугало действительности". Действительность все-таки делает поправку в десяти заповедях. Не полную поправку, я не говорю: но здравый смысл населения останавливается все-таки перед прямыми указаниями "прелюбодействуй" и "воруй". А мы, еще с гимназии, прошли школу, прошли и главное заучили на память, — и "Что делать?" Чернышевского, и Прудона с его лозунгом или вернее с его умозаключением к сложным политико-экономическим теориям, что, "всякая собственность есть, собственно говоря, — кража".

Это узнал я в 4-м классе гимназии, когда прочел у Лассаля — статью "Железный закон". И, помню, с таким отчаянием ходил по нагорному берегу Волги, в Нижнем, под огненным действием этой статьи. Оно было огненное, это действие. К Лассалю присоединялось действие романа Шпильгагена "Один в поле не воин", с его героической и гибнущей личностью Лео Гутмана ("Гутман" — "хороший человек" по-немецки). Все рабочие, все трудовое человечество представлялось затиснутым в тиски заработной платы, спроса и предложения и системы косвенных налогов, — так что, в изложении Лассаля, не оставлялось никакой надежды на улучшение и облегчение путем нормального хода истории, и, можно было чего-нибудь ждать просто от разлома истории, от бунта, от революции и насилия. Буржуазия, тоже фатально и роковым образом для себя сложившаяся, тоже виновная и без вины, кроме естественного желания себе "прибылей", тем не менее сидела пауком над народом, высасывающим все соки из него просто по какой-то зоологическо-экономической натуре и по зоологическо-экономическому своему положению. "Так устроено", тоже чуть ли не "поблагодати": и революция была единственной зарею, которая обещала сокрушение этого окаянного царства проклятой "благодати". О, вот где терялась религия, Бог и все десять заповедей. Терялись с радостью, терялись с единою надеждою. "Потерять Бога" значило "найти все". Потому что в человеческом сердце как-то живет: "Бога-то еще я не очень знаю, он туманен. Но мне на земле дано любить человека, *прижаться* к человеку: и если Бог этому мешает, если Бог не научает, как помочь человеку — не надо и Бога". Да и хуже, чем "не надо":

произносились слова такие, что и страшно повторить. И произносились — в детстве, а стариком страшно повторить.

И так мы все росли, целое юношество целого поколения. Даже не одно поколение, так как я уже очень стар. Приблизительно со 2-го курса университета, проезжая в Нижний, я услышал разговор мужиков рабочих о Курбатове, мучном торговце в Нижнем, который отправлял свои баржи с хлебом в разные концы России. Курбатов, Блинов — это нижегородские старообрядцы. И вот говорят мужики про свои личные дела, про свои деревенские дела, и краем голоса — про большие нижегородские дела, ярморочные дела. И говорят они совсем не тем голосом, как учился я все время в университете и в гимназии, из Шпильгагена и Лассаля и Прудона; как в гимназии еще я вычитывал в книге Флеровского: "К положению рабочего класса в России". Это была толстая основательная книга, с таблицами. И, появившись в 70-х годах, она была раннею зарею теперешней нашей революции, конечно.

Крестьяне, из сельца Черняева, верстах в 30-ти от Нижнего по направлению к Москве, говорили, как я помню, что "если бы не отец Курбатов (имя и отчество я забыл), то все они погнили бы с голодухи". Они выражались как-то хлебно, рабоче. И говорили, что он и из деревни хлеб берет, — и дает зарабатывать на пристанях. "Куль хлеба носят", припомнил я из книги Максимова, народника, по заголовку популярной его книги — "Куль хлеба". Меня поразила эта беседа мужиков "про свои дела", так непохожая на то, что я читал "из Лассаля и Прудона". Там ненависть и перспективы отчаяния. Здесь любовь и явная благодарность. Но там, однако, наука. Хотя и здесь тоже явно ощущение. А главное ощущение человека всегда чего-нибудь стоит. Конечно, человек ошибается, думая, что "Земля недвижна", а "солнце встает", однако смотреть, как оно "встает по утру" — так счастливо, и за все это по мелочам скажешь: "слава Богу".

Я перестал размышлять и о Прудоне и о Лассале, а стал присматриваться, как "по мелочам" складывается жизнь и как где людям живется хорошо, а где — не хорошо. И вот за всю жизнь, уже за сорок лет наблюдения, вижу и видаю: везде, где людям живется деятельно, работяще, трудолюбиво — там живут

они и хорошо, а где нехватка работы — живут не просто плохо, а — окаянно. Тут не только что не хватает в хозяйстве, но от хозяйства действительно все перекидывается и на душу, на мораль: наступает такое настроение души, что Бога клянешь, жизнь клянешь и сам как-то становишься проклят. Но дело-то действительно в "работишке" и "заработной плате". Все дело — "в Курбатове", говоря лично и местно, говоря о Нижнем Новгороде и не восходя к планете. Собственно, для меня сделалось совершенно очевидно, что всякая данная местность живет худо или хорошо от прихода в эту местность или от зарождения в этой местности людей с инициативой, соображением, с каким-то широким раскатистым глазом и духом, которые решились бы "начать", а "уж мы — при них". "Как", "что" начать — вопрос десятый. Мы, ленивые и недогадливые — ко всему примкнем. Ко всему пристанем и поможем. Но у нас нет смекалки, нет собственно — воображения. Нет и смелой предприимчивости. Нет вот этих собственно практических даров, хотя теоретические дары, может быть, и больше. Я пою песни, я говорю сказки, наконец, я способен к мысли и философии: но не умел в жизни. И вот, уверен: переспроси кого угодно, переспроси миллионы людей, и все эти миллионы равно скажут, что они готовы кое-в чем поступиться, кое-в чем дать выгоду перед собою тароватому практически человеку, лишь бы выдумал что-нибудь, решился на что-нибудь, завел промысел, "дело", и припустив нас к работе своей, к помощи себе — дал, однако, и нам существовать. Собственно, тут нет даже "несправедливости" в мнимом "экономическом преимуществе" тароватого человека: дело в том, что он зато не знает песен, сказок и, может быть, не имеет прелестной семьи или удачной любви — как я. Может быть, он имеет большую любовь, обширную любовь, но — продажную, покупную, которая ничего на мой взгляд не стоит. Во всяком случае, в сумме психологических богатств, сумме здоровья и долгой жизни, в смысле спокойной жизни — я даже счастливее его, или не менее счастлив, чем он, если и беден или если очень ограничен в средствах. И вот потому охотно даю ему из своих "грошиков" кое-что, именно ту часть, из-за которой Прудон все собственности назвал "кражею", если он изобретательностью и предприимчивостью "дал мне жить", хотя и бедно.

Я понял, что эти расчеты на бумаге у политико-экономистов если и верны, то верны лишь алгебраически, а не в "именованных числах" пудов, фунтов, часов, месяцев, мер веса и времени. И они верны "вообще в мире", но неверны "в нашей Нижегородской губернии", и еще обобщение: что они верны у Лассаля и Шпильгагена, но не имеют никакого применения ко мне, обывателю. Из-за чего же я сердился? А я горел. О, как горел!

Мне представилось, что весь вопрос о деятельных людях и в деятельных живых, оживленных местностях. И что вот талант — "зажечь местность деятельностью" есть в своем роде Пушкинский дар, Лермонтовский дар. Именно от того, что я так пережил это в огорчениях души, и еще немного потому, что сам я решительно неизобретателен и даже скрытно ленив — я оценил эти практические дары, думаю — редчайшие и труднейшие дары человека, самою высокою мерою, ни в чем не уступает их подвиг и дар поэтам и философам. Всегда мне представлялось, что люди как Курбатов, Сытин, Морозов — суть как бы живители местностей, а в сумме своей, в сумме золотых голов своих и энергий — живители всей России. Тут соединились в моем представлении сведения о Петре Великом: я читал, ребенком почти, как царь иногда шел "по улице под руку с каким-нибудь фабрикантом". Я читал в таком возрасте, что не понимал еще разницы между фабрикантом и рабочим: и зажав место в книге пальцем — кинулся к матери рассказать, что "Царь иногда ходил разговаривая под руку с рабочим". Мать не поняла или не расслышала и ничего не сказала. Но мысль, что "вот так можно делать" — очаровала меня. В бедноте детской жизни мы знали только фабричных с фабрики Шиповых и Мухиных, в Костроме. Но жизнь бедных всегда была мне понятна. И вот вдруг это представление, на место социал-демократического, алгебраического; — Э! была бы оживлена местность! Были бы хорошие базары! Было бы много лавочек. Мастерских бы побольше, контор. Фабрики мне представлялись еще слишком страшными. Погуще бы были городские ряды (центральный базар в Костроме). И тогда — все будет хорошо, в нашем Нижнем, в Новгороде хорошо. А Шпильгагена и Лассаля — по боку. Все это какая-то астрономия политической экономии, от которой ни тепло, ни холодно. "Солнце, может быть, и не встает: а Богу

молишься все-таки на встающее солнце". Жизнь играет и может век играть, может века играть — если люди живы, деятельны, предприимчивы, скромны и трудолюбивы. А если нет — то люди на одном поколении, на глазах одного поколения — передохнут в голоде, отчаянии, злобе. Нужно заметить, что эту гибель людей от нужды я конкретно видел в детстве. Не буду скрывать, что именно так погибла наша собственная семья — от "неудавшейся работы", от того, что "негде было работать", и вообще от того, что не было около деятельного и заботливого человека.

В.В. Розанов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

И. В. МОРОЗОВ
(1919 — 1978)

"Ибо он за дело Христово был близок к смерти..."
(Филипп. 2. 30)

В понедельник 6-го ноября 1978 года ушел из этой жизни Иван Васильевич Морозов, преподаватель русской церковной истории в Свято-Сергиевском Православном Богословском институте и еще недавний директор ИМКА-Пресс и "Объединенных Издателей", а также бывший более чем два десятка лет генеральным секретарем РСХД во Франции. Покойный был крупным явлением. Его личность, место, которое он занимал в русской православной общественности заграницей, а также самый уход его заставляют всмотреться в его духовный облик и постараться раскрыть значение его дела и жизненного пути.

Родился Иван Васильевич 14 августа 1919 года в семье крестьянина-хлебороба, в Печорском крае, который тогда входил в состав Эстонской Республики. Низшее и среднее образование он получил у себя на родине. Отбыв в чине унтерофицера военную службу в эстонской армии, он осенью 1938 года прибыл в Париж для поступления в Богословский институт. Его желанием было получить богословское образование и затем вернуться домой, в Прибалтику, где он принимал участие в работе движенских кружков, организованных покойным И.А. Лаговским, и там, среди русского православного меньшинства, послужить Православной Церкви и русскому культурно-просветительному делу.

Выдержав вступительный экзамен, он был принят на 1-ый курс Института. Ваня Морозов, тогда продолжавший еще носить свою гимназическую куртку и эстонскую форменную фуражку с большим козырьком, принялся рьяно за изучение преподаваемых ему богословских предметов. Он поразил своих учителей вдумчивостью, страстной любовью к русской религиозной мысли и своим горением перед всем, что помогало ему разрешать свои глубокие богословские и философские запросы.

В сентябре 1939 года вспыхнула вторая мировая война. Значительная часть профессоров и студентов Богословского института, уехавшая на лето за границу, из-за развернувшихся событий не смогла к началу учебного года вернуться в Париж. Иван Васильевич оказался среди той небольшой группы студентов, которые, вместе с находящимися в Париже профессорами, решили, что Институт, несмотря на то, что из-за войны он лишился средств, которые присылали ему его экуменические друзья, закрываться не должен и будет продолжать свое дело.

Здесь не место подробно описывать, какими чудесами Бог помог этой маленькой группе ревнителей высоко пронести знамя русского богословия среди трудностей и опасностей всей эпохи войны и оккупации. Напомним только, что Ваня Морозов в эти героические дни был одним из ведущих. Чтобы прокормить себя при всеобщей голодовке и заработать немного средств для продолжения учения, он с другими студентами нанимался на тяжелый труд, таскал ящики, нагружал камионы, пилил доски на лесопилке. В нетопленных аудиториях он, завернутый в пальто и старые одеяла, с энтузиазмом слушал лекции профессоров, а ночами, несмотря на усталость и недоедание, с жаром обсуждал всевозможные богословские вопросы и спорил с такими же энтузиастами, как он сам.

Осенью 1942 года Иван Васильевич кончил писать кандидатское сочинение на выбранную им тему "О тварной свободе" и подал его о. Сергию Булгакову. Ему была присуждена степень кандидата богословия с дипломом окончившего по 1-му разряду. Он был оставлен при Институте для усовершенствования еще на один учебный год. Вторая мировая война близилась к концу. Международное положение, которое она создавала, не позволяло и думать о возвращении в Прибалтику и о возможно-

сти вести там активную религиозно-просветительную работу. Приходилось оставаться в Париже и принимать статут эмигранта-апатрида. И.В. Морозов поступил на место псаломщика при церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости в Париже, настоятелем которой тогда стал иеромонах Сильвестр. В это же время Иван Васильевич встретил свою подругу жизни, Александру Всеволодовну Бурда. Свадьба состоялась 17-го ноября 1944 года.

Весной 1945 года на Западном фронте война была кончена. Еще перед этим, когда оккупационные войска оставили Париж, председатель РСХД профессор В.В. Зеньковский, во время войны принявший священство, стал заботиться о восстановлении деятельности Движения во Франции. С 1940 года Движение, закрытое оккупационными властями, смогло "негласно" просуществовать, благодаря Введенскому приходу. Так как Иван Васильевич вел уже движенскую работу в Прибалтике, а в Париже в последние годы войны зарекомендовал себя, как руководитель юношества в летних колониях, покойный о. Василий Зеньковский, искавший для Движения генерального секретаря, остановил свой выбор на Иване Васильевиче. И. В. предложение принял. И тут горячая, кипучая геройская натура нашла себе полное применение.

Движение, закрытое в продолжении многих лет и до войны испытывавшее серьезные финансовые затруднения, не располагало никакими средствами. Несмотря на пустую кассу, Иван Васильевич бесстрашно принялся за дело. Он стал привлекать к работе и старых движенцев и новых, молодых из студентов Богословского института и французских высших учебных заведений. Возобновились движенские съезды. Первые съезды собирались в Курсельсюр-Иветт. На этих съездах выступали известные лекторы — о. Василий Зеньковский, о. Г. Флоровский, Л.А. Зандер, В.В. Вейдле, и молодые, начинающие: С.С. Верховской, о. А. Шмеман, о. А. Князев, И. Ф. Мейендорф. Съезды привлекали все больше и больше людей. Количество участников стало достигать 250 человек. Движение шло в гору. Деятельность его была как никогда блестящей.

Одновременно с этим Иван Васильевич разыскивал средства, тщательно составлял и проводил бюджеты. Его старания-

ми и усилиями прихожан и богомольцев Введенской церкви, возглавляемых покойным настоятелем, о. Виктором Юрьевым, в начале пятидесятых годов Движение смогло приобрести в собственность дом на улице Оливье де Серр. Пошли другие виды движенской работы: доклады, публичные беседы, памятные вечера. Начались миссионерские поездки в далекие провинциальные приходы, где Иван Васильевич и другие члены Движения читали доклады, помогали настоятелям в просветительной работе и даже устраивали маленькие съезды, вследствие чего многие "провинциалы" стали приезжать на весенние и осенние съезды РСХД. Стал выходить снова "Вестник РСХД". Иван Васильевич оказался его первым редактором послевоенного времени. Но особо следует упомянуть о деятельности И. В. в связи с летними движенскими лагерями для юношества и студентов.

Юношеский отдел РСХД, который смог, благодаря В. А. Нерсессиану скрыто продержаться во время оккупации, устроил свой первый лагерь после войны летом 1946 года. Иван Васильевич вступил в лагерное дело в следующем, 1947 году. С помощью покойного Ю. И. Демидова он вел студенческое отделение. Но с 1950 года оказался во главе летних лагерей. Он занимался и материальной стороной дела, вел финансы, ездил за продуктами; вдохновлял культурную жизнь лагеря: устраивал беседы, чтения, кружки. Он заботился о наличии в лагере опытных лекторов. Вместе со старшими мальчиками и студентами ставил палатки, носил кровати, играл в "медведицу", пел в хоре в лагерной церкви. Он организовывал в лагере театральные постановки, которые зимой повторялись в Париже. Сам И. В. неоднократно участовал в этих спектаклях. Всюду создавал дружную, веселую рабочую атмосферу. Популярность его среди детей, подростков и студентов была огромной. Свою любовь и привязанность к нему они выразили в боевом прозвище Jeanjean, которое они ему дали.

В 1965 году Движение праздновало 20-летие деятельности И.В. Морозова на посту генерального секретаря. Оно его горячо благодарило за неустанный труд, за вдохновение, энергию, жертвенность, за результаты его усилий: престиж РСХД, как организации церковной и миссионерско-культурной оказался

поставленным как никогда высоко в глазах православной русской (и уже не русской) и тоже инославной экуменической общественности.

Но деятельность И.В. Морозова не ограничилась пределами РСХД. Начиная с Епархиального Съезда 1952 года он вместе с другими возглавителями Движения, о. Василием Зеньковским и о. Виктором Юрьевым, постоянно был избираем в Епархиальный Совет Западно-Европейского русского Экзархата Вселенского Престола (с 1966 года ставшего Архиепископией). В сентябре 1961 года скончался учитель Ивана Васильевича профессор А.В. Карташев, занимавший в Богословском институте кафедру церковной истории. Совет Богословского института пригласил Ивана Васильевича на преподавание истории Русской Церкви. Приблизительно тогда же американская организация ИМКА начала сокращать, а затем постепенно ликвидировать свою деятельность во Франции. В этом порядке оно решило передать Движению свое издательское и книжное отделение в Париже, т.е. ИМКА-Пресс и "Товарищество Объединенных Издателей", в которых до и после второй мировой войны было издано и переиздано немалое количество трудов русских православных мыслителей. Для Ивана Васильевича открылось новое поприще. Продолжая нести все свои прочие обязанности, он проработал на нем до самых последних дней своей жизни.

Он принялся за новое для него дело ответственно, со всей присущей ему хозяйственностью и серьезностью. Почти два года он посвятил тщательному изучению книжного дела и его постановки. Его стараниями и усилиями издательства продажа книг была перенесена с улицы Сен-Дидье, на которой редко кто бывал, в Латинский квартал, университетский и книжный центр Парижа. На улице Монтань-сент-Женевьев открылся просторный, всем хорошо известный и всеми любимый магазин. Он сделался местом, куда постоянно заходят все любящие русскую книгу и где можно найти всю выходящую религиозную литературу связанную с православием. Размеры настоящего очерка, к сожалению, не позволяют привести список новых, при Иване Васильевиче выпущенных книг. И.В. Морозов также отождествил себя с делом по изданию и распространению рус-

ской книги, как он отождествил себя с Движением. Возглавляемое им издательство получило вдруг международную, новую славу: в нем стали выходить на русском языке печатаемые за границей произведения А.И. Солженицына.

Но, говоря о И.В. Морозове, нельзя обойти молчанием тяжкие испытания, посланные ему в жизни. Их каталог был бы столь же длинным, как и его трудов. Эмигрантское бытие, скудость средств для существования, особенно в первые годы. Долгое время ему приходилось жить с семьей в скромной квартире родителей его жены, где у него не было даже настоящего угла для работы. Рано для него начались и утраты: еще совсем молодым, будучи уже отрезанным от своей родины, он окольным путем узнает о последовавшей под советским режимом кончине своего отца, узнает о мученической кончине И.А. Лаговского, из Прибалтики увезенного внутрь СССР. Глубоко он пережил смерть своего тестя, В.М. Бурда, которого искренно почитал. В шестидесятых годах ушли его духовные отцы и наставники по Движению о. Василий Зеньковский и о. Виктор Юрьев, а также его друг и верный помощник Ю.И. Демидов. Недолго перед этим трагически погиб в горах, во время одного из летних лагерей, всеми любимый 16-тилетний Миша Краевич. Большим горем была тоже для него совсем недавняя кончина Б.Ю. Физа, его близкого друга, советника и соратника по Движению и по Издательству. Но особым бременем на него стали ложиться заболевания: заболевания в семье и, наконец, его собственная болезнь. Переутомленный, больной, он по требованию врачей в 1970 году должен был сократить свою деятельность.

Он оставляет секретарскую работу в РСХД и ведение лагерей. Но продолжает возглавлять издательство и остается на этом посту около восьми лет. Он продолжает читать лекции по русской церковной истории в Богословском институте. Конечно, после перенесенной болезни, силы его были уже не те. Но он сохранил прежнее трудолюбие, чувство ответственности, серьезность в делах, свою идейность и удивительную любовь ко всему связанному с русской православной культурой. Он имел радость видеть, как искренно полюбили его студенты Богословского института за горение его духа, за убедительность слова и

за его способность передавать им все то великое и святое, что несет в себе история русской Церкви. Он тоже имел счастье видеть, какой переворот в умах у всего мира совершили издаваемые им книги А.И. Солженицына. Это его окрылило, вдохновило, породило в нем новые надежды.

Но вот разразился над ним новый, последний удар. При обстоятельствах, которые в Париже у всех в памяти, в мае прошлого года ему пришлось покинуть ИМКА-Пресс и книжное дело "Объединенных Издателей". Это не могло не подкосить его энергии. В конце учебного года, во время выпускного завтрака, он со скорбью сказал своим коллегам и студентам по Институту: "Я был изгнан из дела, которому я отдавал всю свою жизнь". Прошло лето 1978 года. Как обычно, Иван Васильевич отдыхал с семьей и друзьями в Сен-Жорж-де-Дидонн, у Атлантического океана. В октябре начался новый учебный год в Богословском институте. Иван Васильевич со всем педагогическим составом возобновил чтение своих лекций. И вдруг, во вторник 7 ноября Париж облетела роковая весть о накануне последовавшей его кончине.

В четверг 9 ноября, при огромном стечении молящихся всех поколений, его с благоговением и любовью отпевали на Сергиевском Подворье. При таком же большом стечении народа тело его было предано земле в тот же день на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И теперь, когда Ивана Васильевича нет уже в этом мире, когда, совсем недавно бывшее неотъемлемой частью нашего настоящего, общение и непрестанное сотрудничество с этим незаурядным человеком трагическим образом неожиданно оборвалось, трудно не вспоминать его и не вопрошать, не оказались ли тщетными его труды и жизнь, которая могла бы стать житием, не оказалась ли она сведенной на нет, так вдруг оборвавшись.

Однако дело его уже вошло в историю. И.В. Морозов был одним из тех, которые здесь, далеко от России, продолжали упорно строить великую, христианскую культуру духа, созидание которой там с неумолимой жестокостью было остановлено, даст Бог только на время. Имена их запишет история не только русской эмиграции, но русской культуры, русской Церкви, Христовой Церкви. С их именами будет упомянуто и его имя.

Имя И.В. Морозова тоже написано в сердцах всех кто знали его, особенно в сердцах тех, кто прошли через Движение, через его съезды и лагеря. Это великое множество сердец несет ему столь же великую благодарность за все светлое, радостное, святое, что в них вошло через его пламенность, его жертвенность, его доброту. А это позволяет верить, что имя его тоже написано на небесах.

И.В. Морозову выпало познать всю горечь, которую приносят свойственные всякой эмиграции, и нашей русской особенно, распри, деления, мелкое соперничество, борьба за влияние и за какие-то ничтожные первые места. Он столкнулся с неблагодарностью, пережил горькое разочарование. Те, на которых он возлагал все надежды в своем служении Церкви, русскому делу и правде, прошли мимо драмы, не проявив участия к ней.

"Он за дело Христово был близок к смерти". Так писал ап. Павел христианам в Филиппах об одном ученике своем, который не щадил ни здоровья, ни сил в вверенном ему деле благовестника (Филипп. 2. 25-30). То же делал и покойный. И апостол языков прибавляет: "таких имейте в уважении" (там же, ст. 29). Как несущие крест они в чести и у Господа. Вот почему мы дерзновенно молимся и верим, что Господь сохранит его дело и в своем милосердии укрепит и утешит всех его родных и близких, а преставившемуся служителю своему подаст венец правды (II Тим. 4.8), сопричтя его ко всем возлюбившим Его явление.

30 ноября 1978 г. *Протопресвитер Алексей Князев*

БИБЛИОГРАФИЯ

А.М. РЕМИЗОВ. КУКХА. РОЗАНОВЫ ПИСЬМА. Издательство Серебряный век. 1978.

Писем В.В. Розанова А.М. Ремизову в этой книге сравнительно мало, но зато много замечательных ремизовских комментариев. Одна из главных тем Розанова — эротика: нечто для него священное, вызывающее благоговение. Но интересовали его и подвальные этажи эротики — самое подполье пола! По-видимому, именно об этом он любил болтать с Ремизовым, и не у себя на дому, потому что строгая жена — Варвара Дмитриевна — не допустила бы таких вольных разговоров, а в квартире Ремизовых, куда Василий Васильевич любил заходить вечерком. Там хозяин и гость что-то рисовали, перешептывались, хохотали. Эти дружеские враки забавляли Розанова.

Ремизов вспоминает, как в 1903 г. он основал свой фантастический обезьяний орден великой вольной палаты и Розанов стал первым и старейшим его кавалером. Кто только не был пожалован этим знаком отличия. Из ныне здравствующих к ордену принадлежат Р.Б. Гуль, Андрей Седых, я... Мб, еще кто-нибудь.

Розанов в *кукхе* убедительно живой, преимущественно в литературном и семейном быту.

В.В. любил говорить с евреями. "Спросишь его по телефону, — вспоминает Ремизов, — назовешь (еврея) — никогда не откажет: какое-то было у него особенное пристрастие и любопытство к евреям". Вообще, давно пора кончить с обвинениями Розанова в антисемитизме и в антихристианстве, хотя он постоянно ругал и евреев и священников. Да, он отталкивался от них, иногда резко, грубо, но и влекся к ним.

Ремизов постоянно жаловался на свою бедность и Розанов тоже казался ему бедным и ненавистником богатых. Но В.В. сам писал, что около 1910 г. у него было 35 тысяч рублей на банковском счету и в

Новом Времени А.С. Суворина он зарабатывал 10-12 тысяч рублей в год. Вопреки Ремизову, Розанов был уже признан при жизни как публицист, а символисты, напр. Мережковские, титуловали его гением. Слава его растет и в наши дни, даже в Сов. Союзе. В 3-м номере журнала *Контекст* были изданы письма Горького к Розанову с подробными комментариями, с изложением основных мыслей Розанова, но всё-таки, его книги выдаются в сов. библиотеках только с особого разрешения. Тем не менее, в Москве пишется о нем монументальный труд. За последние два года были изданы 3 английские книги о Розанове. "Кирпич" избранных сочинений — переводы князя Никиты Романова с комментариями Роберта Пэйна и моими. Монография Анны Л. Крон, которая сближает Розанова с футуристами, собрание переводов Спенсера Робертса. Наконец, его неизданные рукописи, присылаемые из Финляндии, печатаются в *Новом Журнале* и *Вестнике РХД*. У меня хранятся книги трех дочерей В.В. — Татьяны, Веры, Надежды (воспоминания, записки).

Ремизовской *Кукхе* повезло. В Ученых Записках Иерусалимского университета (Славика Хиеросолимитана, т. 1, 1977 г.) находим основательный — поистине классический разбор этой книги Л.С. Флейшманом. Вот что он пишет: Кукха "с жанровой точки зрения вписывается в традицию контаминирования 'эпистолы и разговоров в загробном царстве', т.е. поэтических посланий, обращенных к 'некроадресатам' ... На этом фоне *кукха,* построенная, как письмо к Розанову в 'надзвездье', отличается рядом особенностей (...) форма эта связана здесь с 'домашним' отбором и описанием 'событий', литературная тема эпизодична...". Так что РОЗАНОВИАНА, как и близкая ей ЛЕОНТИЕВИАНА (посвященная К.Н. Леонтьеву), продолжает расти и вызывает широкую дискуссию об этих двух ересиархах русской литературы.

Ю. Иваск

АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ. О ПОСТОРОННЕМ. 4-й сборник стихов. Париж. 1979 (58 стр.).

Русские любят (или любили!) говорить о самом главном, и именно об этом только и говорит в своих стихах Анатолий Величковский, хотя и намеренно, из скромности, уверяет, что занимается *посторонним!* В его книге те "преуменьшения", которыми англосаксы так восхищаются в коротких рассказах Чехова.

Есть в его поэзии простота — освежающая и восхищающая после чтения стихов т.н. авангардных поэтов, повторяющих *зады* "проклятых" поэтов Франции или заумников, дадаистов. Вместе с тем, это вполне современные стихи. Вот строфа о новом Мефистофеле:

Он говорит — "не бойтесь чёрта —
Вы можете соединить —
С дарами моего комфорта,
Желанье лоб перекрестить".

И вот на экране телевизора (мб, после рекламы лучшего мыла) появляется "батюшка с крестом".

Стихи четкие, меткие, выверенные, но есть в них и стихия: хотя бы дождя, и мы слышим его — "Великий драгоценный шум". Рифма: ум, как будто уже шаблонная, но в данном контексте именно она уместна.

Величковский свободно, уверенно движется в тесной клетке стихотворения и голос его до нас доходит. Любую антологию русской поэзии украсило бы это восьмистишие *моей жене:*

Вот как для бега — расстоянье,
Или для света — темнота,
Или для голоса — молчанье,
Для удивленья — красота,
Так точно мне необходимо —
Присутствие твое — во имя
Победы над печалью жизни
Без славы, веры и отчизны.

В последнем горестно отрицательном стихе есть та ранящая *игла,* которую так любил Георгий Адамович в поэзии Анненского, а также в предельно сжатых стихах Анатолия Штейгера.

Не замечательно ли, что многие эмигрантские поэты, в осень дней — всё еще совершенствуются, растут и радуют.

Ю. Иваск

ЗАПОЗДАЛАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Недавно получил я от Анатоля Величковского его новый сборник стихотворений "О постороннем" (Париж, 1979). Поэт не просил меня написать отзыв, но та напряженная духовность, которой этот сборник пронизан, побудила меня перечитать его предыдущую книгу стихов — "С бору по сосенке" (Париж, 1974). Думал я, что напишу об обеих, но уже из первой сделал столько выписок, что, закончив внимательное чтение, решил ограничиться для первого раза разбором изданной пять лет назад книги.

Основное в творчестве Величковского — духовность, притом, по-моему, более высокая, чем у Гумилева, Ходасевича, Георгия Иванова. Казалось бы, он может войти в узкий круг лучших поэтов Зарубежья. К сожалению, довольно часто поэт облекает свои мысли и наблюдения в невыверенную и как бы поспешную форму.

Есть у Величковского просто прелестные стихотворения (например, "Ты несколько рубашек днем") и превосходны почти всегда описания природы (грозы, осени, рассвета, утра, заката, дождя, моря, гор), малочисленность которых у зарубежных поэтов-горожан огорчает наших почитателей в Сов. России. Кстати, А. Величковский всегда придает своим описаниям природы некий философский смысл.

Главное в поэзии А. Величковского, очевидно, — его метафизика, повсюду находимые им доказательства схождения неба на землю. В чудеса мы не верим, а когда они совершаются, подозреваем какое-то жульничество ("Нищий"). Безверие, то есть "научное мировоззрение", обрекло бы поэта на состояние неизбывного страха и отчаяния "в земном аду", но, к его и нашему утешению, "...сквозь государственный билет / Водяные знаки проступают,/ Если взять и посмотреть на свет". Надо только научиться смотреть на свет, чтобы увидеть, что "здесь небесной славой / Расцветают яблони в саду"/ и что радуга и даже "зияние слепящих трещин", раскалываемое молниями ночное небо — залог "света животворящего", едва видимого "из черной пропасти земли".

Воистину, "чем ночь темней, тем звезды ярче" — и тем ближе Бог. Поэта делает поэтом не честолюбие, а страх, даже отчаяние:

"Всю жизнь свою витаю в облаках
И существую на земле при этом:
Перед земным существованьем страх

Меня заставил сделаться поэтом.
И я живу, живу поверх всего,
Поверх себя, поверх незримой крыши,
Поверх отчаяния моего —
Меня ведет отчаяние свыше".

Присутствие неба на земле смягчает ужас жизни, примиряет с неизбежностью потерь, даже с самой смертью, ибо *отсюда* — снизу — смерть бессмысленна, а *оттуда* — сверху — она только один шаг, один переход:

"Могила матери в Савойе
Мне, как родимый уголок.
Здесь дышит высотой покоя
Высокий, горный ветерок,
Здесь запах хвои, земляники,
Вкус воздуха и вкус воды,
Как бы Предвечного Владыки
Еще не стертые следы".

К Тютчеву больше всего приближает А. Величковского ощущение двойственности в строении мира. "О, как ты бьешься у порога /Как бы двойного бытия!" — обращался Тютчев к своей "вещей душе", а Величковский видит эту двойственность не только в параллелизме духа и вещества, но и в разных слоях кажущегося вещественным мира. Тонко раскрывает он безнадежное одиночество всего видимого множества "городских зданий, окон учреждений и квартир" — и его стремление преодолеть это одиночество хотя бы посредством удвоения самого себя в зеркалах речной воды.

Мир во зле лежит: зло проявляется во всем. Больнее всего ощущает поэт жестокость человека (якобы "разумного") к животным: к лошадям, собакам, кошкам, к цыпленку, которого "мальчики повесили", к ежу, которого они же "на костре живьем сожгли". Не найдет поэт добрых слов для "подвигов" охотников и рыболовов, для отравителей морей, вынуждающих китов выбрасываться на берег. Идея прогресса, сопровождающегося истреблением жизни, А. Величковскому ненавистна: "мир технический, второй" — измышление диавола, понравившееся человеку: в итоге, "куда ни ступит человек, /В озера, в воды чистых рек/ Течет фабричное зловонье". Оживает, возвращается природе даже "покинутый навеки дом" — именно потому, что он покинут человеком!

Лучшее в человеке — это как бы самочинное сияние пережитков сознательно отвергаемой веры в высшее начало — в душе, "где, потемнев, остыло /То, что на солнце было в ней похоже"./ Единственный раз нынешнему "положительному" человеку поют и говорят стихами только "псаломщики у гроба". В действительности мира своих ощущений такой человек не сомневается: надо быть философом или поэтом, чтобы заподозрить возможность мнимости собственного существования — "Я, может быть, сон для деревьев неясный и зыбкий" ("Путаница").

Собственное неверие в Бога А. Величковский переживает болезненно: он хочет верить, он завидует верующему: "Мне вера не дана,/ Не верю в Бога. / Не верю, но хочу/ До ужаса, до стона — / Чтоб прав был тот,/ Кто набожно свечу / Перед иконой/ Жжет..."

"Поэты это те, кто жил уже", — мудро утверждает А. Величковский ("На заре"), одной строкой подытоживая учение о перевоплощении, о принесенном с собою из прошлых жизней богатстве мира поэта, который здесь, раскрыв глаза, не столько познает, сколько узнает давно знакомое. Это и есть "эхо памяти". Принесенная из другого слоя бытия чувствительность делает неуютным мир прогресса, жестокости и всего здешнего быта, даже нелепой одежды. Вопреки "необычному" поэта подавляет и оскверняет "обычное". Но память о подлинном бытии остается всегда: "Есть миг, когда одних ресниц длиной / Я отделен от жизни неземной"; оттуда и "поздний сон", и "дальний звон", который будет "новыми стихами ... почти помимо слов запечатлен".

Умно говорит А. Величковский о России, о своем — и нашем — изгойстве: "Только я за темными горами, /Вдалеке от родины своей/ Научился говорить стихами / И влюбленно думаю о ней". Вспоминает он белое движение, как неприятие хамства, захлестнувшего Россию, и предсказывает, что раньше или позже "Выйдут внуки красных командиров / И допишут мемуары белых" (сдвиги в этом направлении уже м. б. заметны).

В зарубежной публицистике (у Н. Ульянова) приведено целиком стихотворение А. Величковского "Забытая в углу конюшни" (помещенное в "С бору по сосенке") — о нашей поэзии. В углу конюшни расцвела всего-навсего старая метла, но поэт видит не только внешнее: "Упорство этого цветенья, / Цветенья веток без корней / Похоже на стихотворенья / Лишенных родины своей". Нельзя лучше сказать о духовном смысле изгнания.

Анатолий Величковский — тонкий, сложный, крупный поэт, но в то же время смиренный, свободный от соблазнов славолюбия, далекий от всяких "движений", чуждый полемическому задору. А ведь это и показывает его как поэта подлинного, поэта милостью Божьей.

Валерий Перелешин

FRANCOIS CORNILLOT. TIOUTCHEV. Poete-Philosophe. 1974 (548 p.)

Франсуа Корнильо посвятил свою монографию философии Тютчева. Лучшие страницы в его книге посвящены всестороннему анализу ночных мотивов тютчевской поэзии. Он отчасти соглашается с В. Сечкаревым, который убедительно писал о влиянии Шеллинга на Тютчева. Но, вместе с тем, К. утверждает, что Тютчев был и под влиянием Юнговых *Ночей*. Однако, не увлекаясь исканием сходства, он указывает и на различия: у Юнга великая ночь бытия истолкована в христианской традиции, а у Тютчева ночь — первоначальная стихия.

Интересна попытка К. объяснить Тютчева в понятиях экзистенциальной философии, в особенности, Хейдеггера, который на склоне лет изучал загадочного и малопонятного Хёльдерлина. Но К. не анализирует самую словесную ткань стиха, как это делал, пусть иногда и произвольно, Хейдеггер.

Все стихи Тютчева даны К. в оригинале, но и с французским переводом, иногда слишком литературно-гладким и поэтому неточным. Так, К. цитирует знаменитые строки Тютчева:

О, страшных песен сих не пой,
Про древний хаос, про родимый...

Здесь хаос — *сразу* и страшный, и родной — даже *родимый,* что придает особую интимность или домашность этому эпитету, для которого К. не нашел соответствующий французский эквивалент: patrie (родина) нечто другое, это более абстрактное выражение. Здесь у Тютчева сложная поэтическая эмоция тревоги, но и упоение этой тревогой. Но философов, напр. Юнга, который в противоположность Тютчеву был больше философом, чем поэтом, такие эмоции, настроения, тоже связанные с мыслями, едва ли интересовали. Всё же

нельзя отрицать и академическую традицию философствующих литературоведов, которые отделяют идеи и всякое вообще "содержание" от т.н. формы, от поэтики. И К. написал ценную монографию именно в этой традиции, и в ее пределах, основательно, чётко разобрал идейное наследие поэзии Тютчева. Он, несомненно, обогатил разрастающуюся тютчевиану.

К. выражает благодарность двум достаточно объективным советским знатокам Тютчева: К.В. Пигареву и Б.Я. Бухштабу. Но, как многие западноевропейские и американские литературоведы, он недостаточно знаком с русской эмигрантской литературой. Так, он не обратил внимания на книгу Бердяева *Новое средневековье*, где дается оригинальное и чисто философское истолкование тютчевской ночной поэзии. Также забыты Г. Адамович, В. Вейдле, писавшие о Тютчеве.

В приложении к своей книге К. дает два интересных и еще неопубликованных письма Тютчева к кн. И.С. Гагарину.

Юрий Иваск

С. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. ЭПИЗОДЫ. Изд-во "Заря". Лондон. Канада. 1978.

В кратком предисловии автор говорит о содержании книги, в которую он включил эпизоды, произведшие на него "сильное впечатление в ранней молодости, либо в значительно более поздние годы". В конце книги помещены статьи, тематически не связанные с личными воспоминаниями. Это статьи о принадлежности А. Ф. Керенского к масонству и о Екатеринбургском злодеянии. Начну обзор с этих статей.

На основе документальных данных, заявлений Е. Д. Кусковой и признания самого Керенского мы узнаем, что А. Ф. Керенский "стал членом ложи в 1912 году", когда якобы, по исследованиям С. П. Мельгунова, "русские масоны прервали деятельность". Заявление Мельгунова было ошибочным, так как деятельность масонства в России продолжалась.

Две статьи "Голощекин" и "Советская версия" имеют важное значение в связи с растущим интересом молодого поколения в СССР узнать правду о революции, о трагедии в Ипатьевском доме. С. Войцеховский сопоставляет жизнеописание чекиста Филиппа Исаевича Голощекина по очерку в книге "Комиссары" (Политиздат, Москва, 1969), содержащей двадцать пять биографий "глашатаев ленинской

правды" с жизнеописанием Голощекина, данным судебным следователем Н. А. Соколовым в его книге "Убийство царской семьи" (Издательство "Слово". Берлин, 1925). И хотя, пишет С. Войцеховский, "прямым участником убийства императора Николая Александровича и его семьи был Яков Юровский", но, как установил Соколов, "Голощекин играл на Урале гораздо большую роль, чем Юровский".

В статье "Советская версия" С. Войцеховский приводит цитаты из статьи сотрудника журнала "Звезда" (1972 - 1973) М. Касвинова "Двадцать три ступеньки вниз" и подвергает статью критическому анализу. Большевики, будучи не в состоянии скрывать убийство царя и царской семьи, вынуждены были прервать молчание, но заговорив, как всегда исказили истину.

Преобладающая часть книги состоит из воспоминаний о людях, с которыми автору пришлось столкнуться на его длинном жизненном пути. Перед читателями "Эпизодов" совершаются уму непостижимые совпадения, происходят неожиданные встречи, пересекаются судьбы людей.

Интересны очерки "Императорская портупея" и "Книга".

Интересен рассказ о талантливом художнике Иване Мясоедове, авантюристе, величайшем мастере подделки американских долларов и английских фунтов. Интересен и очерк "Саша", о малом мира сего, сыгравшем важную роль в жизни С. Войцеховского.

Часть книги касается жизни русских в Польше до войны 1939 года и, главным образом, во время немецкой оккупации. Для будущего историка российского рассеяния это очень ценный раздел книги, документ, исходящий от человека, возглавлявшего "русское меньшинство" в созданной немцами "Генеральной губернии". С. Войцеховский объективно и верно представляет общее настроение русских эмигрантов и их отношение к немцам и к их пагубной "Восточной политике". Особое внимание обращает на себя статья С. Войцеховского "Новая Германия и русский вопрос", напечатанная в "Часовом" от 5-го августа 1937 года, почти за четыре года до войны Германии с СССР, полностью воспроизведенная в "Эпизодах", которая заканчивается весьма знаменательным предостережением: "Борьба с коминтерном мыслима и возможна без посягательства на национальное достояние России. От того, насколько это будет понято в Берлине, зависят на долгие годы взаимоотношения между германским и русским народами".

Та же мысль постоянно подчеркивалась Председателем Русского

Комитета С. Войцеховским в его официальных и неофициальных сношениях с немецкими чиновниками и военными, стоявшими близко к этому "русскому вопросу". В очерке "Три письма" образно переданы прямо-таки "жюль-верновские" перипетии русских варшавян, эвакуированных Комитетом в Словакию.

Книга написана свойственным автору сжатым, хорошим языком. Многие события, изложенные в ней, имеют историческое значение, раскрывают новую страницу в жизни зарубежной, взвихренной войной России.

Оберлин, Охайо *Сергей Крыжицкий*

ТИБЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ. *КАМЕННЫЙ ВЕК.* Пересказ с тибетского Ю. Парфионович. Рисунки Р. Вольского. "Детская литература". Москва. 1976.

АМУРСКИЕ СКАЗКИ. Дмитрий Нагиткин. Иллюстрации Георгия Павлишина. Хабаровское книжное издательство. 1975.

В предисловии к книге "Каменный век" можно прочесть: "Прочитай сказки народа и ты узнаешь его душу". Я не буду касаться содержания сказок (некоторые из них весьма поэтичны), но обращу внимание на внешний вид издания. Рисунки условно-тяжеловесны и вряд ли понятны детям, отнести это издание к разряду художественных, к сожалению, нельзя. Книжка издана весьма скромно, на плохой бумаге.

Книгу же "Амурские сказки" надо выделить по ее внешнему оформлению. В послесловии академика А.П. Окладникова говорится: "Сказка, миф, предания — вся сила художественного слова и фантазии не просто призваны развлекать человека и наполнить его сердце радостью. Они несут воспитательную, морально-этическую службу. Разумеется, тому обществу, которое их создало, — родовой общине. Дмитрий Нагиткин в совершенстве постиг устное творчество народов Дальнего Востока... сказки представляют собой как бы целую этнографическую энциклопедию —Книгу Бытия и древней культуры коренных народов Дальнего Востока".

О рисунках Георгия Павлишина акад. Окладников пишет: "...в творчестве Павлишина снова возродились в новом качестве — не как подражание, а как самобытное творчество — тысячелетние традиции народного искусства амурской земли".

Книга издана прекрасно: 222 страницы большого формата, меловая бумага, 100 цветных иллюстраций, из которых 38 во всю страницу. У каждой сказки свои заставка и концовка. Первое, что замечаешь в рисунках, — их ковровая декоративность и явное желание быть в русле иллюстраций И. Билибина, особенно его рисунков к былине "Вольга". Некоторые заставки удались художнику даже лучше больших иллюстраций, в которых обилие деталей мешает иногда восприятию целого. Хорошая гамма красок, отличное знание анатомии человека говорят о зрелом художнике, но всё же строгости и цельности стиля билибинских рисунков у худ. Павлишина еще нет.

Мне приходилось раньше отмечать в "Новом журнале" две основные линии развития в СССР иллюстрирования детских книг: одна исходит из иллюстраций И.Я. Билибина, другая из рисунков В. Лебедева. Иллюстрации Г. Павлишина идут путём, намеченным еще в начале нашего века художником И.Я. Билибиным.

Е. Климов

З. ШАХОВСКАЯ. РАССКАЗЫ, СТАТЬИ, СТИХИ. Париж. 1978.

В Париже недавно вышла книга "Рассказы, статьи, стихи" Зинаиды Шаховской. Многое из нее было напечатано в "Новом журнале" и в "Вестнике христианского движения".

"Собачья смерть" — отрывок из воспоминаний З. Шаховской, пожалуй, самое сильное, что есть в книге. "Я не плакала, — пишет Зинаида Шаховская, — когда под конвоем увозили моих родных (как раз после того, как мы узнали, что в Рязанской губернии конвой по дороге в город зверски убил брата и сестру моего отца), не плакала тогда от гордости, чтобы не показать врагу мою слабость и страх, но встреча со страданием, агонией и смертью в великолепном, ослепляющем блеске весны была мне не под силу. И от поруганной любви я, стоя на майском ветру, не плача, прокляла то, что было частью меня самой, землю, которая утробно во мне жила".

Есть в "Собачьей смерти" и психологически и формально что-то родственное "Окаянным дням" Ивана Бунина. Эпоха военного коммунизма исполосована для Зинаиды Шаховской росстанями (дорогами), как ударами плети. В подтверждение приведем концовку "Собачьей смерти: "Поскрипывали колёса. Дорога уводила меня всё дальше и

дальше, неизвестно куда от моего русского прошлого, а затем из России".

Шаховская печатала свои произведения и по-русски и по-французски. Из французского опыта писательницы вырос остродраматический рассказ "Чужой в городе" и лирико-драматический рассказ "Пустыня". Своеобразно и умно написан этюд "Старость Пушкина". Шаховская мысленно представила себе, что бы произошло, если б не Дантес убил Пушкина на дуэли, а Пушкин тяжело, но не смертельно ранил Дантеса. Вот отрывок из этюда "Старость Пушкина": "Шли к нему привидения и воспоминания, светотени памяти, питающие творчество... Много напраслины возводили на Николая I-го, да я и сам к этому руку приложил. Ну, какой он был тиран? Ведь много раз хотел спасти меня он, меня самого".

С этюдом "Старость Пушкина" перекликается статья из "Русской мысли" — "Веселое имя Пушкина". Направлена она против тех, кто и в наши дни пытается "сбросить Пушкина с корабля современности". Отвечая на вопрос, почему Пушкин бессмертен и в нашей современности, З. Шаховская пишет: "Кто из русских может сказать: "Печаль моя светла". Кто из русских может написать эротическое стихотворение, не превратив поэзию в порнографию? Кто из русских не отыщет в себе это магическое сияние, которое идет от творческого (и одновременного) освоения чувства греха и чувства спасения от греха, чувства бодрости жизни и восторга перед ней". Но когда от Пушкина Шаховская переходит к Блоку, утверждая, что Блок оставался горожанином, интеллигентом, чужаком среди русского простонародья, с ней согласиться нельзя. Откуда же такая преданность Блоку у Есенина и других крестьянских поэтов? Однако отзвуки музыки Блока и Ахматовой слышны в стихах Зинаиды Шаховской, вошедших в отчетный сборник. Вот стихотворение "Памяти Святослава".

Так жизнь и смерть установили,
И в равновесьи роковом
Я с отвратительным бессильем
Смотрю на опустелый дом.
Смотрю на глупые предметы,
Ненужность бренную вещей
И всё мне кажется, что где-то
Есть память памяти моей.

Но мне молчанье отвечает
И я одна, и я молчу
И время молча погашает
Неногасимую свечу.

Статьи З. Шаховской, вошедшие в этот сборник, тематически разнообразны. Но всё же при отборе их Шаховская отдала явное предпочтение литературоведческой тематике. Отметим статью о Прусте (в связи со столетием со дня его рождения), о неоромантических мотивах в творчестве Мальро, о Булгакове, о Солженицыне. Особенно интересна в этом сборнике заметка о затворе Солженицына, который уединился в своей Вермонтской усадьбе, как в скиту.

Когда-то Пастернак писал: "Если нам улыбнется материальное счастье, будем зажиточными. Но да минует нас опустошающее человека богатство". И Шаховская убеждена, что опустошающее человека богатство Солженицына миновало. Свою статью о затворе Солженицына Шаховская заканчивает так: "Когда отзвучат шумы современности, всё ещё будет звучать глас Солженицына".

Книга З. Шаховской талантлива и интересна.

В. Завалишин

К. ВАГИНОВ "КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ". Изд, "Серебряный век" Нью Йорк. 1979.

Недавно в Соединённых Штатах был переиздан роман Константина Вагинова "Козлиная песнь", печатавшийся в 1926-27 годах в сокращённом виде в советских периодических изданиях, а позже, в 1928 году, выпущенный отдельной книгой.

Константин Вагинов скончался в 1935 году, преследуемый критикой и цензурой. Издатели "Серебряного века" считают, что стихи и проза Константина Вагинова выдержали испытание временем, сохранив и в нашей современности смелость мысли и формальную новизну. Например, вот как Тептелкин, герой "Козлиной песни", отзывался о партийном надзоре в Советском Союзе после постановления ЦК РКП(б) в 1925 году о перестройке литературных организаций: "Современники отличаются невозможной формой изложения, отсутствием духа критики, невежеством и чрезвычайной наглостью... при упадке гуманитарных наук и при крайней скудости в хороших книгах возможна лишь пустая болтовня, а не научный спор..."

Так было в середине двадцатых годов. А разве сейчас положение улучшилось?

В романе Константина Вагинова "Козлиная песнь" запечатлены события из дореволюционной и пореволюционной жизни многих деятелей культуры и искусства XX века: Бахтина (историка литературы с большим именем, автора монографий о Достоевском и Рабле, притесняемого при Сталине и частично воскрешённого после смерти диктатора), Валентина Стенича (поэта, писавшего в письменный стол, редкого знатока иностранной литературы, отлично зарекомендовавшего себя переводами Джойса и романов Дос Пасоса. В ежовщину Стенич был арестован и погиб), Адриана Пиотровского (человека большой культуры и больших дарований, он переводчик Аристофана и Катулла, кинодраматург, автор бесподобного сценария фильма "Чортово колесо", соавтор либретто балетов "Болт" и "Светлый ручей" Шостаковича, искусствовед и музыковед. Адриан Пиотровский был расстрелян в ежовщину), Венедикта Марта (поэта-футуриста и автора авантюрно-приключенческих романов для юношества. Венедикт Март был расстрелян в ежовщину, а его сын, живущий ныне в Америке, известный русский поэт Иван Елагин, выведен в романе "Козлиная песнь" семилетним мальчиком).

В "Козлиной песне" Вагинов, безусловно, оказался дальновидцем: верно, что многие прототипы его книги, действительно, посмертно вернулись в русскую культуру — Павел Медведев, Валентин Стенич, Адриан Пиотровский и другие, не говоря уже о тех, у кого Вагинов учился и как прозаик и как поэт, то есть о Фёдоре Сологубе, о Михаиле Кузмине, об Осипе Мандельштаме.

"Пусть, — думает Тептелкин, главный герой романа, — ярко освещены электричеством деревни, пусть мычат коровы в примерных совхозах, пусть сельскохозяйственные машины работают на лугах, пусть развёртывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня — чего-то не хватает в новой жизни".

В первой главе "Козлиной песни" Константин Вагинов так раскрывает замысел своего романа перед читателем:

"В городе ежегодно звёздные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо — Тептелкин. Его часто можно было видеть, идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окружённого нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи казались ему

сияющими солнцами из Пантелейского мрамора".

Роману "Козлиная песнь" предпослано, как пишет сам Вагинов, "предисловие, произнесённое появляющимся автором". В нём мы читаем:

"Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер... Любит он своих покойников и ходит за ними ещё при жизни, и ручки им жмёт, и заговаривает, исподволь доски заготовляет, гвоздики покупает, кружев по случаю достаёт".

У кандидатов на кладбище есть одно несравненное преимущество перед живыми: они по инерции живут духовной и интеллектуальной жизнью и дышат воздухом тайной свободы и европейской культуры, — пусть в разреженном состоянии. Но у них болезненное ощущение отрыва и от европейской культуры и от былой дореволюционной культуры, бережно охраняемой русской зарубежной литературой и искусством.

На Вагинова теперешние издатели смотрят, как на посредника между советской и русской зарубежной литературой.

В известном смысле Константин Вагинов всегда был таким посредником.

Вагинова замолчали в советской литературе и недооценили в русском зарубежье, которому он оказал неоценимую услугу. Тем более заслуживает внимания теперешнее переоткрытие творчества Вагинова.

Вяч. Завалишин

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Ю. Домбровский. Хранитель древностей. Изд-во ИМКАпресс. Париж. 1978 (255 стр.).

Россия и евреи. Сборник статей: И. Бикерман, Г. Ландау, И. Левин, Д. Линский, В. Мандель, Д. Пасманик. Отечественное Объединение Русских евреев заграницей. Переиздано ИМКАпресс. Париж. 1978 (228 стр.).

К. Леонтьев. Отец Климент Зедергольм. Иеромонах Оптиной пустыни. Москва. 1882. Переиздано ИМКАпресс. Париж. 1978 (193 стр.).

Ф. Светов. Отверзи ми двери. Роман. Изд. Объединенных Издателей. Париж. 1978 (560 стр.).

В. Набоков. Отчаяние. Переиздано Ардис, 1978 (201 стр.)

В. Набоков. Другие берега. Переиздано. Ардис. 1978 (268 стр.)

Л. Копелев. И сотворил себе кумира. Ардис. Анн Арбор. 1978 (335 стр.).

Е. Эткинд. Материя стиха. Париж. 1978. (506 стр.)

Ф. Искандер. Сандро из Чегема. Ардис. 1979 (603 стр.)

К. Криптон. История советского образования и его изучение в США. Kordume Press. Lakewood, N.J. 1978. (235 стр.)

Память. Исторический сборник # 2. ИМКАпресс Москва-Париж. 1979. (598 стр.)

Леонид Ржевский. Дина. Роман. Обложка худ. С. Голлербаха. Изд. Новое Русское Слово. Нью Йорк. 1979 (167 стр.)

Анатолий Величковский. О постороннем. Стихи.. Изд. "Рифма". Париж. 1979 (58 стр)

Avril Pyman. The Life of Alexander Blok. Vol. I. The Distant Thunder. 1880-1908. Oxford University Press. 1979 (359 p.)

Mandelstam. The Complete Critical Prose and Letters. Edited by Jane Gary Harris. Translated by Jane Gary Harris and Constance Link. Ardis. Ann Arbor. 1979 (725 p.)

Kira Slavin. It could be verse. 1978 (55 p.)

Jerry E. Hough and Merle Fainsod. How the Soviet Union is Governed. Harvard University Press. 1979. (679 p.)

Mark Raeff. Russian Intellectual History. An Anthology. With Introduction by Isaiah Berlin. ew Jersey: Humanities Press Sussex: Harvester Press. Reprint 1978 (404 p.).

Jacques Catteau. La création littéraire chez Dostoïevski. Institut d'Etudes Slaves. Tome XLIX. Paris 1978 (609 p.)

Nicolas Ogarev. Lettres Inédites à Alexandre Herzen fils. Introduction, traduction et notes par M. Mervaud. Institut d'Etudes Slaves. Tome XXV Paris. 1978 (343 p.)

Léon Chestov. Bibliographie. Establie par Nathalie Baranoff. Institut d'Etudes Slaves. Tome XXXVI. Paris 1975 (96 p.)

Bibliographie des Etudes sur Léon Chestov. Establie par Nathalie Baranoff. Institut d'Etudes Slaves. Tome XXXVI/2. Paris 1978 (62 + 5 p.)

M. Bulgakov. Rannjaja neizdannaja proza. Sostavlenie i predislovie F. Levina. Herausgegeben von W. Kasack. Verlag Otto Sagner. München. 1976

(S.216).

M. Bulgakov. Rannjaja Nesobrannaja Proza. Sostavil F. Levin i L. Svetin. Herausgegeben von W. Kasak. Verlag Otto Sagner. München. 1978. (S.251)

Volker Levin. Das groteske in M. Bulgakovs Prosa. Herausgegeben von W. Kasak. Verlag Otto Sagner München. 1975 (S.158).

A. Remizov. Bibliographie. Etablie par H. Sinany. Institut D'Etudes Slaves. Paris. 1978. (255 p.).

А. Седых. Далекие, близкие. Изд. 3-е. Нью Йорк. 1979 (281 стр.)

Xenia Gasiorowska. The Image of Peter the Great in Russian Fiction. The University of Wisconsin Press. Madison. 1979. (199 pages).

Colloque Berdiaev. Institut d'Etudes Slaves. Paris. 1978. (81 p.)

Yuri Krotkov. The Red Monarch. Scenes from the Life of Stalin. Translated by T. Mairs. Edited by Carol Houck Smith. W. Norton, N.Y. 1979. (253 pages).

Dr. Alex Shtromas. Who are the Soviet Dissidents? Univ. of Bradford. England. 1977. (19 p.)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ "НОВОГО ЖУРНАЛА" С 114-й ДО 135-й КНИГИ

ПРОЗА

Андреев, Г. — Минометчики, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133.

Анстей, О. — Рассказы, 126.

Беллоу, С. — Будущий отец, 132.

Булгаков, М. — Ревизор, киносценарий, 127.

Вадот, К. — Долли, 119.

Валентинов, Е. — Иван Петрович, 117.

Вейдле, В. — Из архивов страшного суда, 119. Замок Утиэль, 120. Четыре дня, 124. Белое платье, 129.

Волин, М. — Исследователь обоев, 115.

Герц, А. — К вольной воле заповедные пути, 120, 121, 122, 123, 124.

Горный, В. — Палач и его мастер, 114.

Грибановский, П. — Странный иностранец, 116.

Гуль, Р. — Я унес Россию, 131, 132, 133, 134

Докторова, Л. — Поминовение, 134.

Енютин, В. — Дикие рассказы, 123. Верка, 126. Тени детства, 127.

Зингер, И. Б. — Друг Кафки, 125.

Ильин, И. — Праведный народ, 129.

Кашина, А. — Под серпом и молотом, 128.

Коротюков, А. — Одолжение, 122.

Кротков, Ю. — Партийная баба, 116. Стеклянный глаз, 121. Во дворце брака, 123. "Мехлис, чаю!", 124. "Гамлет", 128. Сирень, 130. Бабушка Граня, 131.

Максимов, Вл. — Стань за черту, 116, 117.
Мальцев, Ю. — Репортаж из сумасшедшего дома, 116. Месть. Супружеское согласие, 117, Оперируемый, 118.
Мамлеев, Ю. — Три рассказа, 120. Голубой, 122. Сказка, 125.
Маслей, О. — Сон, 134.
Муравьев, П. — Нос, 124. Березовый гриб, 126. Встречи нигде, 132.
Палий, П. — Замостье, 130. Военнопленный № 7172, 132, 133.
Пильняк, Б. — Заштат, 134.
Ржевский, Л. — Полсантиметра от Воркуты, 118. Конец Сергей Сергеича, 125.
Ровнер, Аркадий — Птицелов, 115.
Суконик, А. — Встреча с приятелем, 119.
Табачник, Г. — Всего-Диче, 114. У парома, 126.
Ульянов, Н. — Сириус, 118.
Франк, А. — Бред, 125.
Шаламов, В. — Визит мистера Поппа. Боль, 115. В больницу, 116. Протезы. Прокуратор Иудеи, 117. Домино, 118. Как это началось, 119. Два рассказа, 120. Тайга золотая, 121. Ключ алмазный, 124. Рауш-наркоз, 125.
Шаховская, З. — Чужой в городе, 114.
Эрдман, Н. — Самоубийца, 114.
Эткинд, Е. — Два памятника, 129.

СТИХИ

Айхенвальд, Ю. — Из цикла "Воробьиные песни", 116, 117.
Алексеева, Лидия — 117, 124, 125, 131, 134.
Анстей, О. — 117, 119, 126, 128.
Бальмонт, К. — Изящный дом, 116.
Вейдле, В. — Три стихотворения, 132. Костер Геракла, 133, 134.
Величковский, А. — 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 134.
Владимирова, Л. — 114, 115, 116, 119, 123, 124, 127, 132.
Волин, М. — 121, 124, 127, 129.
Волохонский, А. — Из цикла "О картах", 120. Стихи, 121, 122, 125, 127.

Волошин, М. — Доблесть поэта, 132. Владимирская Богоматерь, 133, Благословение, 134.
Глинка, Г. — 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 126.
Головина, А. — 127, 128, 131.
Елагин, И.— 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 127, 129, 131, 132.
Иванк, Юрий — 115, 118, 120, 125, 126, 128, 129, 134.
Ильинский, Олег — 115, 117, 118, 119, 123, 124, 126.
Иофе, Ю. — 121, 125, 126, 133.
Кардиналовская, М. — 115.
Кленов, А. — 114.
Кленовский, Д. — 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131.
Коржавин, Н. — Поэма греха, 116.
Крейденков, В. — 114, 116, 117.
Крепс, М. — 122, 123, 125, 126, 133.
Мандельштам, Р. — 129.
Моршен, Н. — В миниатюре 114. Поэтический мутант, 116. Стихи, 118. Юродивый, 120. Кусты над рекой, 121. Иванушка, 122. Стихи, 124.
Нарциссов, Б. — 124.
Нестеровский, В. — 128.
Одоевцева, Ирина — 117, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 132.
Орлов, Б. — 126, 132.
Осторог, Л. — 124.
Перелешин, В. — 115, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134.
Псевдоним — Чужие речи, 119.
Росс, Е. — 126.
Синкевич, В. — 132.
Таубер, Ек. — 115, 122, 125.
Раевский, Г. — 125.
Тупицын, В. — 120.
Филановская, Т. — 134.
Хвостенко, А. — 125.
Худяков, Г. — 120.
Цветаева, М. — Червонный валет, 115.

Чиннов, И. — 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134.
Шаховская, З. — 114, 117.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андреев, Г. — Загадка Чехова, 118.
Анстей, О. — Златоустая Анна всея Руси, 127.
Болт, Дж. — Русский конструктивизм и художественное оформление сцены, 126.
Арсеньев, Н. — А.Н. Толстой, 122.
Вагин, Е. — Об эпиграфе поэмы "Мцыри", 130.
Вейдле, В. — Звучащие смыслы, 114. Критические заметки, 115, 116. Батюшков и Мандельштам, 117. Мнимые вымыслы, 125.
Герра, Р. — Профиль Шаршуна, 122.
Голлербах, С. — Заметки художника, 121, 125, 128, 132.
Гуль, Р. — Прогулки хама с Пушкиным, 124.
Забытая статья Н. Гумилева (Публикация Г. Струве), 133.
Добужинский, М. — О рисунках Пушкина, 125.
Дубинин, М. — "Меркантильные обстоятельства" Пушкина, 118, 120. Дополнения к статье о Пушкине, 121.
Зернов, Н. — Основоположник и завершитель соцреализма, 121.
Зорин, Ю. — Художник, который молчит, 121. Балет "Паганини", 125.
Зубов, В. — Сергей Параджанов, 125.
Иваск, Ю. — "Голос из хора" Синявского, 116. Венеция Мандельштама и Блока, 122. Эмилия Дикинсон, 128. Воронежский Мандельштам, 132. Разговоры с Адамовичем (1958 - 1971), 134.
Климова, Алла — "Блаженное наследство" О. Мандельштама, 117.
Климов, Конст. — Метнер и его квинтет, 117.
Круговой, Г. — Гностический роман М. Булгакова, 134.
Крыжицкий, С. — Бунин в "Литературном Наследстве", 114.

Мамантов, И. — Религиозные мотивы у Солженицына, 114.
Маркадэ, И. — Значение Малевича в совр. живописи, 130.
Натова, Н. — Пушкинские темы у Достоевского, 120.
Нарциссов, Б. — Бунин — поэт, 114. Письма о поэзии, 118. Под знаком дифференциала, 125.
Небольсин, А. — Владимир Вейдле, 118.
Плетнев, Р. — Об одном рассказе А.П. Чехова, 115. О духах зла и дьяволе у Достоевского и Толстого, 119. О злом суемудрии А. Терца, 121. О некоторых мыслях у Достоевского и Толстого, 129. Л. Толстой и звукоподражания, 130.
Раннит, А. — О рисунках Ю. Анненкова, 120. Поль Сезанн, 122.
Ржевский, Л. — Строфы и "звоны" в современной русской поэзии, 115. О поэзии Ив. Елагина, 126.
Рудинский, Вл. — Джозеф Конрад, 116.
Садовской, Б. — Заметки, 133.
Святополк-Мирский, Д. — О современной русской поэзии (Публ. Г. Струве, послесловие Дж. Смита), 131.
Седуро, Вл. — А все-таки встреча Достоевского с Гоголем была, 117. О "Петербурге" Осипа Мандельштама, 134.
Скидан, А. — Александр Черепнин, 132. Н. Набоков и его "Багаж", 133.
Суконик, А. — Урок Бахтина, 124.
Ульянов, Н. — О зарубежной литературе, 115,

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Азбель, В. — Два года в Сибири, 116.
Алексеев, В. —Московские протодиаконы, 117, 118. Московские проповедники, 121.
Андреев, Н. — Бунин о Л. Андрееве, 131.
Из дневника С. П. Бартенева (Публ. Т. Закидальского), 129.
Бахрах, А. — По памяти по записям. Разговоры с Буниным, 126, 130, 131, 133.
Письма А. Белого (Публикация Роберта Кийза), 122, 124

К биографии А. Белого (Публикация Г. Струве), 124.
Блатные и лагерные песни, 116.
Бразоль, А. — Николаевское Кавалерийское училище, 120.
Письма И. А. Бунина (Публикация А. Звеерса), 132, 134.
Письма И. Бунина к М. Вейнбауму (Публикация А. Раннита), 133.
Вадот, К.— В женском рабочем лагере, 115, 116.
Войцеховский, С. — Саша (памяти друга), 117. Опечатка, 115. Доктор, 119. Новое о тресте, 123.
Неопубликованные воспоминания А. Вырубовой, 130, 131.
Головань, С. — Условия для осведомительной деятельности в Швейцарии, 127.
Гиппиус, З. — Proffession de foi, 121.
Гроссен, Г. — Н.П. Богданов-Бельский, 114.
Гурвич, А. — Артистическая Москва в 1917-20 гг., 129.
Добровольская, О. — Император Николай II и А. Керенский, 114.
Письма М. Добужинского к Е. Климову, 120.
Стихи священника Д. Дудко, 115, 116.
Полк. Елисеев, Ф. — В Индокитае, 133.
Прот. А. Киселев — Облик ген. А. А. Власова, 125.
Крамова, Н. — Расправа с М. Зощенко, 129.
Кромиади, К. — Русская национальная народная армия (РННА), 119, 120. Формирование РОА на фронте, 121.
Кротков, Ю. — Конец маршала Берия, 133.
Крыжановский — В. К. Плеве, 118. О перлюстрации до революции, 121.
Левицкий, С. — Воспоминания о Лосском, 126. Памяти великого философа (С. Л. Франк), 127.
Лурьи, Ю. — На процессе ВСХСОН, 119.
Луцкий, С. — Exodus 1947, 122.
Марков, Ю. — Московское народное ополчение, 123.
Мочалова, О. — О Вяч. Иванове, 130.
Письма В. Муромцевой-Буниной (Публикация М. Грин), 128.
Новое о Тресте (Публикация Г. Струве, коммент. С. Войцеховского), 125.
Новосильцев, И. — А. А. Власов, 129.

Одоевцева, И. — На берегах Сены, 116, 124.
Озеров, Н. — В Аскании-Нова, 121.
Павчинский, А. — Как пала монархия, 128.
Письма русских писателей (публ. С. Крыжицкого), 124.
Раевский, И. — Толстой о науке, 134.
Рапопорт, А. — В Берлинском торгпредстве, 116, 118, 120.
Резникова, Н. — Воспоминания о А.М. Ремизове, 115. А. Ремизов о себе, 118.
Ржевский, Л. — Загадочная корреспондентка К. Чуковского, 123.
Письма В. Розанова (публ. Д. Перчонка), 130, 134.
Розанов, В. — Последние листья, 132. Неизвестные опавшие листья, 132. Письма к С. Рачинскому, 134.
Розанова, Т. — Воспоминания о В. В. Розанове, 121. Воспоминания об отце В. В. Розанове, 124.
Синявин, И. — Творческая вылазка, 128, 130.
Столыпин, А. — Конница Буденного, 131.
П. Б. Струве о судьбах России, 132.
Танеев, С. — Из воспоминаний, 127, 129.
Толстая, О. — Дождь и солнце, 134.
Ульянов, Н. — С. Ф. Платонов, 126.
Ходорович, Т. — Что делают с Л.И. Плющем в психбольнице, 118.
Письма Марины Цветаевой к Л. Е. Чириковой, 124.
Письма М. Цветаевой к В. Рудневу (публ. Г. Лимонт), 133.
Чернова, О. — Холодная зима (Москва, 1919-1920), 121, 122, 124.
Письма М. А. Чехова, 132.
Чуковская, Л. — Памяти детства, 128.
Шпиллер, Д. — Быт советских людей, 127.
Эф. Эм. — О массовых расстрелах заключенных на Воркуте в 1938 г., 119.
Юрьевский, Е. — Беседы с Плехановым в августе 1917 г., 119.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Авторханов, А. — Европейская политика Кремля, 119. Гло-

бальная стратегия Кремля, 126. Антиконституция СССР, 128. Кузницы мастеров власти, 131.

Агурский, М. — Неонацистская опасность в СССР, 118.

Архангельский, М. — О символике ранних христианских и православных храмов, 129.

Афанасьевский, Б. — Четвертая волна? 134.

Бетаки, В. — "Ремонтники", 114.

Берлин, П. — Еврейский вопрос в русском дореволюционном движении, 128.

Бернштам, М. — Понятие демографической революции и социализм, 134.

Бровкин, В. — П. Ткачев и революционный экстремизм, 128.

Валентинов, Н. — Опасность мессианизма, 119.

Валин, Е. — "Из-под глыб", 120. В какой мере "русский коммунизм" — не русский, 127.

Варшавский, В. — Родословная большевизма, 125, 128. Уроки Нюренбергского процесса, 118. Открытое общество и тоталитаризм, 120. "У нас коммунизм будет другой", 115. "Чевенгур" и "Новый град", 122.

Вейдле, В. — Поздний ропот, 118. Родная чужбина, 126.

Войцеховский, С. — Новое о Тресте, 132. Неудачное совпадение, 133.

Габричевский, Г. — Записи, 114.

Гардер, М. — О международном положении и тенденциях его развития, 131.

Игумен Геннадий — О метафизических предпосылках утопизма, 124. Возможен ли христианский социализм? 126. Евразийство как пореволюционное славянофильство, 132.

Григорьев, В. — Обращение к мировой общественности, 118.

Гуль, Р. — Джордж Кеннан, 114. Ленин и "Архипелаг ГУЛАГ", 115. А. Солженицын в СССР и на Западе, 120. Все ли было благополучно в Датском королевстве? 121.

Ефимов, И. — Гагарина знаем, Армстронга — нет, 134.

Зубов, В. — Киноманы и киноклубы в СССР, 122. О со-

циологии о социологах в СССР, 124. Технократы и власть в СССР, 129. Собаки в СССР, 130.

Иванов, А. — Причины нового экономического районирования, 114. К 250-летию Академии наук, 116. Кто автор "Катехизиса революционера"?, 123.

Ижболдин, Б. — Школа экономического синтеза, 127.

Ильин, В. Судьба людей элиты в нашу эпоху, 126. Религия и искусство, 128. О "Вавилонской блуднице", 130.

Ильинский, О. — Неудачные обобщения, 118.

Кеннан, Джордж — Между землей и адом, 115.

Круг, Г. — Трисолнечный свет православия, 127.

Левицкий, С. — Бердяев: пророк или еретик, 119. О смысле раскаяния, 121. Воскрешаемость Ренессанса, 129.

Мацкевич, И. — Дело не в средствах, а в принципе, 125. *Медведев, Рой* — О книге Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", 115. Н. Хрущев на пенсии, 133. *Михайлов, М.* — Не глубоко, но правдиво, 133. *Нелюбов, А.* — Антей и Геракл, 116. Памятник Михаилу Ильичу, 121.

Павлов, К. — Треугольник — "США — СССР — КНР", 134.

Пирожкова, В. "Из-под глыб" (Нация — соборная личность?), 119. Диссиденты и коммунизм, 127. "Народный фронт" в эмиграции из СССР, 127.

Плетнев, Р. — Закат демократии, 123.

Прянишников, Б. — Куда идет Америка? 124. Маршал Василевский и Сталин, 132. Незримая Паутина, 134.

Пушкарев, С. — Столыпин и Кривошеин, 117.

Раев, М. — "Из-под глыб" и история русской общественной мысли, 119. О книге А. Безансона, 130.

Рутман, Роман — Кольцо обид (еврейский вопрос и А. Солженицын), 117.

Приветствие академику А. Д. Сахарову (Редакция), 121.

Сахаров, А. Д. — Проблемы разоружения, 121.

Седых, Андрей — "Милая дочь и друг", 115.

Сечкарев, В. — Н. Ульянов — эссеист и ученый, 119.

Силницкий, Ф. Существует ли "доктрина Брежнева"?

121. Ленин и боротьбисты, 118. Коммунистический блок, 122. Как происходило порабощение, 126. К шестидесятилетию Октября, 129.

Синявин, И. — Ленинградские художники за свободу творчества, 127. Потуги сатанизма, 127.

Солженицын, А. — Слово на приеме в Гуверовском институте, 123. Расколотый мир. Речь на ассамблее Гарвардского университета, 131.

Тарасюк, Д. — Фехтовальщики пушкинского времени, 133.

Тетерятников, В. — Старообрядцы — создатели русского народного искусства, 126. Древнейшая русская святыня, 128. Медные кресты и иконы в народной жизни, 129.

Толстая, А. — О радости смерти, 121.

Ульянов, Н. — Соблазны истории, 117. Роковые войны России, 125.

Федосеев, А. — Очень краткая, но достаточно исчерпывающая история Советского Союза, 125. Советский уровень жизни через полвека, 126. Наука, техника, общество, социализм, 129. Национализация и свобода, 132. Заботы члена английского парламента Ф. Пима, 128.

Хабе, Г. — Интеллектуалы и власть, 126.

Шарп, А. — Б. С. Ижболдин как экономист, 117.

Шестов, Л. — Последний привет (Памяти Жака Ривьера), 128.

Шварц, А. — Две судьбы, 121.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. Б. — Издательство Вильгельма Финка, 114.

Аренский, К. — Н.К. Печковский, 133.

Библиотека имени Гоголя в Риме, 131.

Бровкина, Д. — Письмо в редакцию, 129.

Бурова, Н. — Григорий Сковорода, 132.

Д-р В.Д. — Книга русского ученого д-ра Е. Т. Федукович, 131.

Гинзбург, А. И. — Биографическая справка, 131.

Горький о Ленине и революции, 124.

Гуль, Р. — К вопросу об "автокефалии", 114.

Р. Г. — О неприличии и оглоблях, 131.
Дубчек обвиняет, 123.
Евреинова, А. — О Г. И. Гюрджиеве, 128.
Иваск, Ю. — О смерти кн. Святополк-Мирского, 127.
Иртышева, О. — Солженицын в Стокгольме, 118.
Каган, В. — Письмо Короленко, 127.
Караватский, Б. — Я вас обвиняю г-жа Шаховская, 122.
Кочевицкий, Г. — Образное ассоциативное мышление в музыке, 126.
Кузнецов, А. — Вместо рецензии, 125.
Майдачевский, Г. — Ответ Н. Ульянову, 127.
Мацкевич, И. — О некоторых затруднениях в дискуссии, 128.
Медведев, Ж. — Лживый детектив в газете "Советская Россия", 114.
Международное слушание Сахарова, 123.
Натова, Н. — Второй международный симпозиум, посвященный Ф. Достоевскому, 117.
Николаев, А. — О пресловутом "Аполлоне-77", 129.
Первушин, Н. — Гоголь и Достоевский, 121.
Плетнев, Р. — О времени в древнерусской письменности, 114. О споре Первушина и Седуро. Об А.Ф. Лосеве, 121. О сопротивлении злу, 126. О М. Шолохове, 128.
Пушкарев, С. — О судьбе Тайваня, 132.
Рудинский, В. — Источник одного стихотворения Пушкина, 115. Пушкин о Булгарине, 127.
Письмо в редакцию Н. Набокова —Об Аскания Нова, 122.
Письмо в редакцию Н. Нефедова, 125.
Письмо в редакцию В. Рудича, 125.
Приветствие А. Л. Толстой от "Нового Журнала", 115.
Б. С. — Кто автор "Катехизиса революционера"?, 121
Смерть И. В. Морозова, 133.
Солженицын, А. — Всероссийская мемуарная библиотека, 129.
Соловьев, А. — Русская музыка до начала XX-го века, 117.
Сотрудники "Нового Журнала", 129.
Чуковская, Л. — К исключению из ССП, 114.
Эсам-Зораб, И. — Письмо в редакцию, 121.

Эстергаз, Э. и Андресен — О слушании Сахарова, 122, 123.

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Авторханов — Загадка смерти Сталина, 127. (В. Зубов)
В. Андреев — На рубеже, 132. (Б. Нарциссов)
О. Анстей — На юру, 126. (О. Ильинский)
В. Ант — Песни Космоса и Земли, 117. (В. Рудинский)
Н. Арсеньев — Дары и встречи жизненного пути, 117. (Р. Плетнев)
А. Бадмаев — Самоучитель старокалмыцкой письменности, 126. (С. Кульдинов)
Н. Белавина — Утверждение, 119. (И. Одоевцева)
С. Белов — Книгоиздатели Сабашниковы, 117. (Р. Плетнев)
В. Богдан — Студенты первой пятилетки, 117. (Т. Фесенко)
В. Босс — Ньютон и Россия, 124. (Н. Лупинин)
Устами Буниных, под. ред. М. Грин, 131. (С. Крыжицкий)
З. Ватникова-Призэл — О русской мемуарной литературе, 133. (Л. Ржевский)
В. Вейдле — Зимнее солнце, 123. (Ю. Иваск)
А. Величковский — С бору по сосенке, 119. (Е. Таубер)
М. Визи — Голубая трава, 114. (В. Перелешин)
С. Войцеховский — Трест, 119. (Ю. Сречинский)
ВСХСОН. — Сборник материалов, 130. (С. Женук)
Р. Вурмбранд — Был ли Маркс сатанистом? 126. (С. Женук)
И. Гарднер — Система и сущность богослужебного пения, 129. (М. Ледковская)
Брюс Гершензон — Боги антенны, 128. (Г.М.)
Игорь Голомшток и А. Глезер — Советское искусство в изгнании, 131. (Дж. Болт)
И. Грабарь — Письма, 121. (Е. Климов)
В. Гращенков — Рафаэль, 122. (Е. Климов)
Д. Гришин — О Достоевском, 114.(Р. Плетнев)
Д. Гришин — Речь Достоевского о Пушкине, 117. (Р. Плетнев)
Р. Гуль — Дзержинский, 117. (Б. Прянишников)
Р. Гуль — Конь Рыжий, 119. (В. Вейдле)
Р. Гуль — Бакунин, 119. (Л. Ржевский)

Р. Гуль — Конь Рыжий, 120. (Я. Горбов)
К библиографии Дальневосточной прессы, 114. (А. Лукашкин)
Н. А. Дмитриева — Краткая история искусства, 126. (Е. Климов)
М. Добужинский — Воспоминания, 130. (Е. Климов)
В. Ерофеев — Москва-Петушки, 129. (Ю. Иваск)
Женский портрет в русск. искусстве, 121. (Е. Климов)
О. Жигалова — Шалая Кассандра, 117 (Т. Фесенко)
Записки РАГ в США, 119. (Т. Калинина)
Н. Зернов — Русские писатели в эмиграции (1921-1972), 116. (С. Пушкарев)
Окрыляющая книга (второй сборник Зерновых), 117. (Н. Андреев)
И. Зильберберг — Необходимый разговор с Солженицыным, 126. (Р.Г.)
А. Зиновьев — Зияющие высоты, 126. (Р. Г-ль)
Георгий Иванов — Собрание стихотворений, 125. (Ю. Иваск)
Вяч. Иванов — Собрание сочинений, том II, 122. (Ю. Иваск)
Ю. Иваск — Константин Леонтьев, 129. (С. Левицкий)
О. Ивинская — В плену времени, 132. (Ю. Иваск)
М. Каратеев — Ярлык великого хана, 119. (Б. Нарциссов)
М. Каратеев — Белогвардейцы на Балканах, 129.(Б.Нарциссов).
С. Карлинский — Сексуальный лабиринт Гоголя, 127. (В. Сечкарев)
В. Карпович — Трудные слова у Солженицына, 128. (М. Ледковская)
Прот. А. Киселев — Чудотворные иконы Божьей Матери в русской истории, 128. (С. Женук)
Прот. А. Киселев — Облик генерала Власова, 127. (Р. Гуль)
Д. Кленовский — Теплый вечер, 119. (Е. Таубер)
О работах Е. Климова, 120. (Ник. Андреев)
Эйс Криге — Баллада о великом мужестве, 132. (В. Перелешин)
А. Кторова — Экспонат молчащий, 119. (В. Завалишин)

А. Крученых — Избранное, 117. (Ю. Иваск)
С. Крыжицкий — И. Бунин. Под серпом и молотом, 124. (Б. Бровцын).
Эд. Кузнецов — Дневники, 115. (Вадим Крейденков).
Р. Купчинский — Национальный вопрос в СССР, 122. (Ф. Силницкий).
М. Левитов — Корниловский Ударный полк, 117. (Б. Иванов).
Д. Левицкий — А. Аверченко, 117. (Б. Прянишников).
В. Максимов — Прощание из ниоткуда, 119. (Л. Ржевский)
О. Мандельштам — Стихотворения, 115. (Алла Климова).
И. Мацкевич — Ватикан в тени красной звезды, 120. (С. Войцеховский).
Рой и Жорес Медведевы — Хрущев. Годы у власти, 123. (Ф. Силницкий).
Три книги Ю. Миролюбова, 130. (Б. Нарциссов).
Р. Муди — Жизнь после жизни, 127. (С. Женук).
П. Муравьев — Время и день, 117 (И. Одоевцева).
Б. Нарциссов — Шахматы, 125. (И. Одоевцева).
И. Одоевцева — Златая цепь, 120. (Я. Горбов).
О рисунках в детских книгах в СССР, 128 (Е. Климов).
Д. Панин — Записки Сологдина, 117. (В. Рудинский).
Р. Пейн и Н. Романов — Иван Грозный, 124. (Н. Первушин).
В. Перелешин — С горы Нево, 121. (Ю. Иваск)
В. Петров — «Камергер двора», 114. (Т. Фесенко); Завершение цикла, 123. (Т. Фесенко)
Н. Попович — Пути жизни, 114. (В. Перелешин)
Португальская поэзия, 121. (В. Перелешин)
Алэн Прешак — Советская литература, 131. (Ю. Иваск)
Проф. С. Пушкарев — Ленин и Россия. 133. (С. Женук).
Пушкинский Петербург, 131. (Е. Климов)
А. Раннит — Donum Estonicum, 129. (Б. Нарциссов)
Повести В. Распутина, 132. (Р. Плетнев)
Л. Ржевский — Три темы по Достоевскому, 117. (Крейденков)
Л. Ржевский — Две строчки времени, 130. (С. Крыжицкий)
В. Робсман — Персидские новеллы, 126. (Б. Нарциссов)
В. Розанов — Люди лунного света, 128. (В. Перелешин)

В. Роу — О Гоголе, 123. (О. Ильинский)
Русская литература в эмиграции — 114. (С. Зеньковский).
Русская поэзия XX века — 119. (В. Крейденков)
"Русское Возрождение" (1, 2) — 133 (С. Женук)
И. Сабурова — Королевство, 131. (Т. Петровская)
А. Седых — Звездочеты с Босфора, 117. (Р. Гуль)
А. Седых — Крымские рассказы, 130. (Л. Ржевский)
В. Скорняков — Дверь с фокусами, 125. (Ек. Филипс)
С. Смоленский — Палеографический атлас древнерусских певчих рукописей, 129. (М. Ледковская)
С. М. Соловьев — Жизнь и творческая эволюция Вл. Соловьева, 132. (Н. Зернов)
В. Стивенсон — Человек, названный бесстрашным, 130. (С. Женук)
Ю. Сречинский — Как мы покорялись, 117. (Б. Прянишников)
П. Тигрид — Политическая эмиграция в атомном веке, 124. (Ф. Силницкий)
Творческие работы учеников Толстого, 119. (С. Крыжицкий)
Дж. Тревин — Дом специального назначения, 127. (С. Войцеховский)
В. Тэррас — Алексис Раннит, 123. (Б. Нарциссов)
М. Уилер — Оксфордский русско-английский словарь, 114. (В. Филипп)
Українська муза, под ред. А. Коваленка, 124. (Т. Фесенко)
Н. Ульянов — Сириус, 130. (Н. Андреев)
А. П. Федосеев — Социализм и диктатура, 125. (В. Зубов)
Т. Фесенко — Пропуск в былое, 121. (Б. Нарциссов)
Г. Хетсо — Е. Баратынский, 119 (Ю. Иваск)
В. Чалидзе — Права человека и Сов. Союз, 117. (Б. Константиновский)
Ш. Черниховский — Стихи и идиллии, 126. (Х. Гамбург)
И. Чиннов — Пасторали, 123. (В. Вейдле)
Л. Чуковская — Записки об А. Ахматовой, 126. (В. Зубов)
Л. Шапиро — Коммунистическая партия Советского Союза, 120. (Ю. Сречинский)
З. Шаховская — Отражения, 121. (И. Одоевцева)
Архиеп. Иоанн Шаховской — Биография юности, 132. (Т. Фесенко)

По поводу "Апофеоза безпочвенности" Л. Шестова, 114. (В. Ильин)
Дж. Т. Шоу — Рифмы Пушкина. Рифмы Батюшкова. Рифмы Боратынского, 123. (Ю. Иваск)
Э. Штейн — Поэзия русского рассеяния, 131. (Г. Струве)
Дж. Эпштейн — Операция килевания, 126. (Б. Прянишников)
Милтон Эре — Обломов и его создатель. Жизнь и творчество И. Гончарова, 116. (В. Сечкарев)
Цюй Юань — Ли Сао, поэма в стихотворном перев. В. Перелешина, 121. (П. Ляпикен)
Цюй Юань — Ли Сао в перев. В. Перелешина, 121. (Ю. Иваск)
З. Юрьева. — Иосиф Виттлин, 114. (И. Шведе)
Юбилейный сборник в честь Романа Якобсона, 114. (Л. Фостер и М. Заречняк)
I. Babel — Russian Master of Short Story, 119. (П. Клейнпоппен)
S. F. Cohen — Bukharin and the Bolshevik Revolution, 115. (Марк Раев)
*Foreign Words in Russian,*114. (П. Лапикен)
N. Ingham — E. T. A. Hoffman's Reception in Russia, 122. (И. Бэр)
J. Kayaloff — The Battle of Saradarbad, 119. (А. Тарсаидзе)
D. Koubourlis — A Concordance to the Poem of O. Mandelstam, 119. (Ю. Иваск)
G. Putnam — Russian Alternatives to Marxism, 131. (М. Раев)

Queens Slavic Papers, 114. (В. Филипп)
Eleanor Rowe — Hamlet: a Window on Russia, 133. (Л. Ржевский)

Vladimir Seduro — Dostoevsky in Russian and World Theatre, 133. (Л. Ржевский)
The Soviet Censorship, 119. (С. Крыжицкий)
Elisabeth Stenbok-Fermor — The Architecture of Anna Karenina, 133. (Л. Ржевский)
R. C. Tucker — Stalin as Revolutionary, 115. (Марк Раев)

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

А. Н. Анцыферов как экономист, 124. (Б. Ижболдин)
Проф. Н.С. Арсеньев, 131. (Н. Балуев)
К. Г. Белоусов, 130 (проф. кн. А. Щербатов)
В. С. Варшавский, 131. (прот. К. Фотиев)
М. В. Вишняк, 126. (Р. Гуль)
А. Галич, 130. (Ю. Кротков)
Д. В. Гришин, 126. (И. Гапанович)
Монах-иконописец Г.И. Круг, 124. (Л. Зуров)
А. С. Лаппо-Данилевский, 129. (И. Гапанович)
Е. М. Мицкевич, 125. (А. Раннит)
Светлой памяти И. В. Морозова, 133. (прот. А. Киселев)
О. А. Мочалова, 131. (Ю. Иваск)
В. В. Набоков, 128. (Ю. Иваск)
Исчезновение Набокова, 129. (В. Вейдле)
Памяти С. А. Сатиной, 119. (К. Аренский)
Элизабет Рейнолдс Хапгуд, 115. (Роман Гуль)
М. С. Цетлина, 125. (Р. Гуль)
Д. И. Чижевский, 128. (Р. Плетнев)
О. А. Шор, 132. (Д. Иванов)
Б. И. Ярров, 115. (Роман Гуль)

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА

РОМАНА ГУЛЯ

«Я УНЕС РОССИЮ»

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

Книга охватывает литературную, артистическую, церковную и общественно-политическую жизнь первой, второй и третьей эмиграций с 1920 г.г. по 1970-е г.г. (Берлин, Париж, Нью-Йорк). Даны зарисовки видных русских зарубежных писателей и общественно-политических деятелей: Бунина, Керенского, Зайцева, Церетели, Цветаевой, Степуна, Милюкова, А. Белого, Маклакова, Станкевича, Николаевского, Гучкова, Вишняка, Ключникова, Лукьянова, Абрамовича, Мельгунова, Карповича, Алданова, Г. Иванова, Вейдле, Адамовича и многих других. В книге — около 600 стр., много фотографий, факсимиле и текстов писем к автору. Также даются зарисовки советских писателей, бывших в Европе: Ал. Толстого, Эренбурга, Пильняка, Федина, Сейфуллиной, Никитина, Есенина, Кусикова, Слонимского, Груздева и др.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

■

В 1979 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1979 год 24 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня